

ЧЕРНОВИК ПРОЩАНИЯ



МАЙЯ
КАГАНСКАЯ

ТОМ 3



Salamandra P.V.V.

МАЙЯ КАГАНСКАЯ
Собрание сочинений

III

Майя Каганская

ЧЕРНОВИК ПРОЩАНЬЯ

Избранное 1977-2009

Salamandra P.V.V.

Каганская М.

Черновик прощанья: Избранное 1977-2009. Послесловие И. Гомель. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2012. – 335 с. – (Собрание сочинений, т. 3). – PDF.

Интеллектуальное мужество, блистательный стиль, головокружительная пляска культурных образов, пронизательный литературоведческий анализ в сочетании с неизменным остроумием и пристальным вниманием к мифологическим основам истории и культуры – таковы тексты выдающейся израильской эссеистки, литературного критика и публициста, уроженки Киева Майи Каганской.

Почти половину жизни М. Каганская прожила в Иерусалиме, где скончалась после тяжелой болезни в 2011 г. При жизни ею восхищались, ее любили и ненавидели, с нею спорили, ее цитировали, переводили и награждали премиями – однако она так и не дождалась выхода собственной книги на русском языке, будь то в Израиле или в России.

Разбросанные по многочисленным и часто малодоступным журналам, газетам и альманахам, сочинения М. Каганской впервые предстают перед читателем в виде единого, хотя и далеко не полного собрания. В издание вошли статьи, эссе, проза и воспоминания, написанные М. Каганской за многие десятилетия литературной деятельности.

Третий, заключительный том собрания включает статьи о Ф. Сологубе, А. Чехове, М. Цветаевой, О. Мандельштаме, А. Солженицыне, автобиографические эссе, размышления о смысле еврейской истории и израильской экзистенции, критические заметки и рецензии, некрологические тексты о безвременно ушедших поэтах и писателях (М. Генделеве, А. Горенко, И. Рубине) и другие произведения.



РУССКИЙ БЕС

ВАШ ЧЕХОВ

(Глава из «Книги о Чехове»)

Чехова сегодня любят, как природу средней полосы России. Это любовь без риска: в отличие от романов Толстого и Достоевского, требующих духовного напряжения, чеховская проза как будто предлагает спокойную и удобную позицию зрителя, соглядатая чужих жизней и судеб.

За Чеховым прочно утвердилась слава художника только, прежде и превыше всего.

В этой почетной репутации не затихает тон полемики или злорадного намека по адресу Достоевского и Толстого, бывших еще идеологами, мыслителями, «учителями жизни».

Убеждение это давнее, всеобщее, стало быть, имеющее основание. Но есть здесь одно странное обстоятельство: идеология как момент и даже объект повествования занимает в чеховском творчестве едва ли меньшее место, чем у Толстого и Достоевского.

В таких произведениях позднего Чехова, как «Дуэль», «Палата № 6», «Моя жизнь», «Дом с мезонином», «Убийство», «Огни» – идеология прямо оспаривает первенство у изобразительно-повествовательного (то есть как бы собственно чеховского) момента.

В «Доме с мезонином», например, трудно решить, что от чего «лирически отступает»: настроение, пейзаж, психология – от идеологической полемики художника и Лиды Волчаниновой, или же их мировоззренческий поединок только обрамляет эту «смесь пейзажа с жанром в духе Поленова».

В «Моей жизни», «Доме с мезонином», «Огнях» идеология носит еще сравнительно невинный характер, напоминая либо тургеневский мир с его умными, рассуждающими героями, либо мир толстовской прозы, где образ мыслей персонажа способен изменить его образ жизни.

Но уже в повести «Убийство» мы сталкиваемся с огнеопасной идеологической сферой Достоевского: идея здесь – мотив преступления.

Да и вся эта чеховская повесть тяготеет к структуре «Преступления и наказания»: кризис идеи (религиозные колебания Якова), испытание идеи преступлением, наказанием (каторга) и там, на каторге – моральное очищение и обновление.

И все-таки суждение о «чистой художественности» Чехова победило в хоре разноголосых оценок его дела: «не учит, а изображает», «не доказывает, а показывает».

Возникает необходимость внимательней всмотреться в чеховскую сферу идей, заново произвести ее инвентаризацию...

Вопрос в следующем:

– Определяет ли чеховского героя та идеология, которую он исповедует?

Если определяет – мы окажемся в хорошо знакомых, изученных пределах классического мира, где персонаж всегда опознается по идее, а идея всегда дискредитируется или возвышается провозглашающим ее персонажем. Так у Бальзака сюжетный образ Вотрена полностью совпадает с его «идеологическим» образом, а герой Достоевского, как нам объяснил М. Бахтин, есть чистое «слово о мире».

Если у Чехова идея и персонаж связаны аналогично, тогда между ним и предшествующими художественными системами разность не в способе бытия идеи, но лишь в меньшей – у Чехова – интенсивности этого бытия.

Идеологически значимого *авторского слова* в чеховских произведениях практически не существует, – идея живет только в персонаже, его голосе, слове, реакции на мир.

Стало быть, только персонаж и способен указать, какой из идеологий-соперниц отдает предпочтение автор.

Как же, в зависимости от выбранной персонажем идеологии, распределяются у Чехова акценты авторской симпатии?

А никак.

Идеология равнодушна к персонажу, не оценивает его.

Идея и провозглашающий ее персонаж находятся у Чехова в таких же диалогических отношениях, как Елена Андреевна и Соня в одной из сцен комедии «Леший»:

Елена Андреевна: ...Нет мне счастья на этом свете! Нет! Что ты смеешься?

Соня (смеется, закрывая лицо): Я так счастлива! Как я счастлива!

Елена Андреевна (ломая руки): В самом деле, как я несчастна!

Соня: Я счастлива... счастлива.

Если идеология ориентирована на счастье, всемирное и всемерное блаженство, заявляя о себе, подобно Соне, «я так счастлива! Как я счастлива!» – то персонаж, ей поверивший, в своем эмпирическом, сюжетном бытии безутешен, как Елена Андреевна: «В самом деле, как я несчастна!»

И напротив, персонаж, избравший своим жизненным аккомпанементом какое-нибудь трагическое мирозерцание, с удивлением обнаруживает, что он незаконно, так сказать недозволенно счастлив!

Отстраненность образа мыслей чеховского персонажа от его образа жизни, слова от голоса, не может и не должна быть трактована в духе экзистенциалистского «отчуждения» личности от мира, поскольку художественные принципы Чехова вообще ставят под сомнение существование идеологии.

Рассмотренная без гипноза предшествующих художественных систем, чеховская сфера идей обнаруживает одну удивительную особенность: она *извне* дана чеховским персонажам, неподвижно-объектна по отношению к ним. Ни одна идея (как цельное мировоззрение персонажа) не возникла в чеховском мире, все идеологии взяты, что называется, «напрокат», «в рассрочку», «в кредит».

Стремление извлечь идеологический экстракт из Чехова похоже на то, как если бы мы, желая получить обыкновенную воду, сначала заморозили ее, а потом растопили. Процесс потому и абсурден, что в результате, «на выходе», хотят получить именно то, что уже есть в наличии.

И когда из Чехова все же извлекают «мировоззрение», получают правила хорошего тона, пригодные для стен общественной столовой или ателье индивидуального пошива:

«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»

«Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соус на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделал кто-то другой».

Оно и понятно: если мир разобъяснен и осмыслен, остается лишь не толкаться в нем и не наступать друг другу на ноги.

В сознании чеховских персонажей культура реализуется по формуле «кто-то-где-то-когда-то», Достоевский легко замещается Вольтером, а в Толстом уже слышится «что-то историческое, из древнего мира».

Чеховский персонаж обзаводится мировоззрением, чтобы почувствовать себя приобщенным к классической культуре, признаком которой когда-то и было совпадение образа жизни с образом мыслей.

Идеология для чеховского героя – инерция этой культуры, зудящая привычка, нечто вроде боли в ампутированной ноге.

Такому персонажу идея (какая бы она ни была содержательно) необходима для душевного комфорта, духовного уюта. Он не обретает идею, а приобретает ее – как вещь. Идеология определяет не духовный облик чеховского персонажа, но деталью, «особой приметой» входит в его «словесный портрет». В контексте чеховского мироощущения «толстовец», например, звучит как «брюнет» или «блондин» у дочеховских авторов.

Идеи «отвердели», опредметились, стали в один ряд с явлениями быта. Здесь нет одухотворенности быта за счет «обывования» идеи. Процесс направлен только в одну сторону: идея растворяется в быте, поглощается им без остатка.

На фоне дочеховской русской классики, с ее постоянным и взвинченным противопоставлением духовных стремлений – быто-

вой рутине, такая омертвелость, застылость духовных форм воспринимается особенно остро.

Для того, чтобы идея так прочно вошла в быт, укоренилась в нем, как это произошло у Чехова, потребовалась решительная трансформация самого быта.

Речь, естественно, идет не о повсеместном опыте массового человека и массового сознания, но о быте как объекте изобретения, предмете художественного слова.

Если для массового сознания быт есть самый твердый, прочный и устойчивый уровень бытия (скажем и так: единственно возможный для массового сознания образ бытия), то для слова, для сознания художественного быт аморфен, собственного лица и образа не имеет.

Для того, чтобы стать словом, быт нуждается в онтологическом осмыслении и утверждении.

Так Л. Толстой канонизировал семейно-дворянский и крестьянский быт, эпически утверждал его как бытие.

Быт у Достоевского – тонкий и зыбкий слой, непрочная грань, отделяющая трагедию от мистерии, психологический опыт – от опыта религиозного и мистического.

То вытеснение бытия – бытом, та чудовищная экспансия повседневности, которые осуществились в художественном мире Чехова, могли возникнуть только за счет резкого торможения классического слова.

Быт у Чехова – усеченное бытие классической культуры. «Малые формы» чеховской прозы – усеченные формы старой эпической письменности.

Известно, например, что А. П. Чехов не написал ни одного романа. Но Антоша Чехонте своей романической плодовитостью может посрамить любого маститого классика. «Ниночка» с подзаголовком «роман»; «От нечего делать» с подзаголовком «дачный роман»; «Зеленая коса» с подзаголовком «маленький роман»; «Женщина без предрассудков» – «роман»; «Дочь коммерции советника» – «роман», «Брак по расчету» – «роман в двух частях», «Роман с контрабасом» и т. д.

Все эти «романы», понятное дело, соотносятся не с особо почитаемым в прошлом веке жанром литературы, но с неким заурядным житейским жанром, восходящим к мещанской фразеологии: «У него с ней роман», то есть – любовь.

Но эти жанровые уточнения имеют еще один обертон, еще одну

сверхзадачу – они создают пародийного двойника традиционной нормативной классификации романа. Там были – роман-хроника, комический роман, семейный роман, роман исторический, психологический и так далее. В дополнение к ним чехонтовская словесность предлагает свои разновидности романной формы: «дачный роман», «маленький роман», «роман с контрабасом».

Чехонте создает продуманную, разнообразную и разветвленную систему профанации классической культуры.

Его неистощимая сюжетная изобретательность имеет четко выраженную целевую установку: создание такой реальности, внутри которой классический объект приобрел бы максимально загубленный, затравленный и неприкаянный вид.

Из сложившейся ситуации: кризиса классической культуры – Чехонте извлекает немалую художественную прибыль.

Он предвосхищает современный поп-арт, работающий на границе небытия материи и бытия формы, создающий эту форму прямо из продуктов распада, из тех вещей и материалов, которые цивилизация выбрасывает на мусорную свалку.

Так же строит свой мир и чеховское слово, пользуясь «свалкой» классической культуры, тем, что осталось от ее распада или не успело пойти на возведение ее храма.

Установка на профанацию классического наследия так мощна у раннего Чехова, что хрупкая оболочка сюжета зачастую не выдерживает ее: сюжет раскалывается на глазах, а персонаж становится чистым носителем профанирующего слова:

– Да что вы мне говорите! – оппонировал контрабас. – Сам я не знаю, что ли? Какой образованный нашелся! Тургенев. Тургенев... Да что Тургенев? Хоть бы его и вовсе не было.

Рассказ «Контрабас и флейта» снабжен подзаголовком «Сценка», начисто лишен всякого обличительного пафоса и «социальной направленности» и, в сущности, вообще написан ни о чем.

Персонажи позднего Чехова могут сколь угодно долго, умно и серьезно рассуждать о смысле жизни и назначении человека – на них всегда найдется управа: персонаж чехонтовский. Мир Чехова существует только в паре с антимиром Чехонте. Всякому положительному, серьезному чеховскому слову соответствует равное по величине профанирующее слово чехонтовское.

Как ни тонки и парадоксальны рассуждения героя «Скучной истории» о преимуществах французской беллетристики перед русской, они подготовлены идиотской болтовней барона из рассказа «В лан-до»:

...Есть и лучше (Тургенева. – М К.) – Жан Ришпен, например. Что за прелесть. А Тургенев... Все с иностранной почвы! Ничего оригинального, ничего самородного!

Жанрово и хронологически разделенные, Чехов и Чехонте доказывают и демонстрируют свое тождество в драматургии.

«Мыслящие» персонажи чеховских повестей и рассказов на сцене лицом к лицу сталкиваются со своими «отцами по плоти и духу»*, персонажами чехонтовской дьяблерии – Чебутыкиными, Солеными, Вафлями, Епиходовыми и т. п.

– Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!

– Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. Здоровье-то у меня лошадиное («Вишневый сад»).

Чехонтовские персонажи *не пародируют* персонажей чеховских. Пародия возможна только в том случае, если за пародируемым закреплена некая стабильная общезначимая ценность – идеологическая или художественная. Но такая ценность закреплена лишь за классическим Словом мировой культуры. На его-то пародийное разрушение и направлен художественный гений Чехова.

Чеховские же герои и чехонтовские антигерои его театра всего лишь дублируют друг друга в качестве этих пародий на классическое слово: «Сюжет, достойный кисти Айвазовского»; «Ницше... философ величайший, громадного ума человек, говорит в своих произведениях, будто фальшивые бумажки делать можно». Так говорят Вафля и Симеонов-Пищик. Но тот же перевод европейской философии на язык конотопских страстей звучит и в жалобах дяди Вани, и в патетических извержениях Пети Трофимова: «Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд...»

Разрушение классического образа осуществляется Чеховым не только с помощью гротеска, пародии или профанации. Сами контуры чеховского мира как будто повторяют мир русской классики, но с громадной разницей в масштабах, с очевидной тенденцией к измельчению, уменьшению классического прообраза.

Русская классическая культура (как и русская государственность) была экспансионистской, империльной. Русское слово подчиняло себе и старые жанры европейской литературы, и новые, еще неизвестные географические и духовные пространства. «Чухонский» север воспел Баратынский. Украинский хутор открыл для культуры Гоголь. Пушкинское, лермонтовское и толстовское слово колонизировало Кавказ. Европейский романтизм был пережит на русский лад. Религиозно-нравственная проблематика Достоевского и культурный нигилизм Толстого использовали европейскую словесно-жанровую культуру (от конфессиональной христиан-

* Слова Лаевского из «Дуэли».

ской литературы до позднеевропейского романа), хотя содержательно, идеологически они во многом были чужды, даже враждебны Европе.

Русская культура представляла собой редкий сплав государственного деяния и духовного творчества. Империя заботливо представляла высокосортные реальности, пробуждавшие художественный аппетит молодой русской литературы. Даже неудачная схватка с Европой в Крымской войне обернулась для русской культуры выигрышем – «Севастопольскими рассказами» Л. Толстого.

Конфликты творцов русской культуры с государством тоже входили в общий ритм и образ культуры. Трагические судьбы русских поэтов в конечном счете стали таким же ее достоянием, как их собственные творения: гибельные дуэли Пушкина и Лермонтова, каторга Достоевского, отлучение от церкви и обстоятельства смерти Льва Толстого – все это формально завершенные и совершенные сюжеты, созданные как бы самим потоком русского бытия и стоящие в одном ряду с произведениями Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого.

Имперские бури затихают в мелководье чеховской провинции.

У самого Чехова уже не было судьбы как жанра бытия, – у него была только биография. Чехов, правда, пытался придать ей черты сходства с судьбой: его поездка на Сахалин, в сущности, имитирует канонический сюжет русской культуры: изгнание, ссылку и – как ее творческий результат – завоевание новых духовных областей. Но художественный итог поездки не очень значителен. Очерки о Сахалине не стали для русской литературы новыми «Записками из мертвого дома», они жанрово чужды чеховскому мышлению и потому остались на периферии его творчества, больше проходя по разряду гражданских добродетелей писателя.

Чехов честно и добросовестно пытался «врасти» в классическую почву: покупка Мелихова, налаженный прочный быт со всеми чертами помещицкой филантропии (постройка школы, больницы) дублируют «дворянское гнездо» как одно из необходимейших условий жизнедеятельности русского классика.

Но попытка успехом не увенчалась: имение пришлось продать и вернуться к жизни, не обеспеченной классической традицией, – к жизни культурного разночинца, «приживала и подкидыша».

У «дворянского гнезда» в чеховском художественном мире есть свой провинциальный эквивалент: *дача*.

Покупка и продажа дачи, переезд и приезд на дачу, приспособление имения под дачу, дачи – под имение – один из самых ход-

ких сюжетных мотивов и Чехонте, и Чехова («Дачница», «Дачники», «Новая дача», «Чужая беда», «У знакомых» и др.).

Как и следовало ожидать, чехонтовская дача претендует на свое родство с «дворянским гнездом», прежде всего, по литературной линии.

На чеховских дачах всегда тесно, людно и места не хватает – в первую очередь самим хозяевам. Засилье гостей и родственников так же «гнетет и душит» хозяев, как героев русской классики душила и угнетала николаевская реакция 40-х годов. Отчего один из чехонтовских «дачных» рассказов так и называется: «Лишние люди».

Мотив «лишнего дачника» обнаружил удивительную стойкость и почти без изменений перекочевал из чехонтовского лубка в станковую психологическую живопись позднего Чехова.

На второй день троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу... Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было глядеть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.

– Ох, как мне жаль тебя отпускать, — сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. — И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.

Свое дачное литературное хозяйство Чехов ведет по-плюшкински: из рассказа в рассказ, из «периода» в «период», из жанра в жанр, от персонажа к персонажу переходит одна и та же закуска, тот же чай, та же водка и та же «пицца духовная»: «Грешница» из «Лишних людей», потерянная (или пропущенная) в «Попрыгунье», пристроилась в «Вишневом саде».

Начальник станции останавливается среди залы и читает «Грешницу» А. Толстого.

А вишневый сад, всем известно, с минуты на минуту пойдет под *дачные участки* – и все возвратится на «круги своя»: икра, сыр, сардины, водка, белорыбица, «лишние люди», «Грешница» А. Толстого...

Чехов «впадает» в Чехонте с такой же неизбежностью, с какой Волга впадает в Каспийское море.

Культура, разменянная на цитаты и, вместе с водкой и калачами, вывезенная в авоське на дачу, уже не пародирует, а прямо отрицает почвенно-органический характер культуры прежней.

Дача – вот почва чеховского персонажа, земной предел его укорененности в бытии; христианство в переложении Ал. Конст. Толстого, по «Чтецу декламатору», – его верх, его небо...

...Четко централизованным, иерархичным было пространство русской классической литературы. Оно знало столицу и провинцию, город и деревню как идеологические, духовные полюса. Классический конфликт словно выстраивался на притяжениях и отталкиваниях столицы и провинции, различно-бюрократического города и патриархальной деревенской усадьбы.

Столица в лице своих хлестаковых, онегиных, рудиных и райских обольщала, соблазняла и разрушала провинциальный и усадебный мир. Провинция мстила столице созревшей в ее тиши нигилистической страстью, отрицанием всего «столичного», то есть цивилизованного, исторически сложившегося мира.

Чехов *децентрализует* классическое пространство. В его мире столица исчезает как идеологическая значимость, и даже в географическом смысле она существует на равных правах с любым провинциальным городом:

«Ехать в Париж с женой все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром».

«Мне положительно все равно, куда ни поехать – в Харьков, Париж или Бердичев».

«Бальзак венчался в Бердичеве».

Тула, Париж, Бердичев, Харьков в чеховском мире так же уравнены в пространстве реальном, как Анна Картина и «что-нибудь историческое из древнего мира» – в сознании чеховских персонажей.

Образ России, созданный русской культурой, выстраивался как антитеза Западу; всякое значительное «здесь» переживалось и осмыслялось лишь в оппозиции к западному «там»; хорошее или дурное «у нас» – всегда в паре с хорошим или дурным «у них».

В русском сознании антитеза Россия-Запад тождественна антитезам «город-деревня», «столица-провинция». «Столичный город» – Запад обольщает, смущает, развращает и разрушает, а все нравственные, духовные и даже эстетические преимущества, конечно, на стороне «провинции» и «деревни», то есть России.

Русская футурология покоится на незыблемой уверенности во вселенском вытеснении столицы – провинцией, города – дерев-

ней. Альтернативой такому будущему мыслится только апокалипсис.

Чехов распространяет свою децентрализацию и на эту, заповедную для русской культуры, область.

Он не просто не подхватывает эстафету «великого спора» – Европа как художественная данность попросту отсутствует в его мире, воистину «вдруг пропала, будто вовсе не бывала».

И только одному жанру Чехов доверил свои европейские впечатления – эпистолярному.

Письмо по праву почитается больше фактом биографии, чем Слова, жанром бытия, а не искусства, и потому привлечение писем для уяснения проблем и закономерностей формостроительных почитается как бы и некорректным.

Но все явственней обнаруживается у Слова еще одно измерение – надличностное. Как если бы некая творческая воля, попирая обыденную дуалистическую этику («биография» и «собрание сочинений»), равно и на равных подчиняла себе и автора и созданное им.

В каждом индивидуальном творчестве можно проследить эти моменты надличного опыта – как будто тут действует некий сознательный принцип, заявляющий о себе и через художественно-словесное, и через биографически-бытовое.

И потому биография художника должна рассматриваться не перед его произведениями и не вне их, а *наряду с ними*.

С такой точки зрения эпистолярный жанр (переписка, попросту говоря) – если, конечно, это не литературная имитация – более других жанров обнажает «персонажность» автора, подневольное участие в «литературном процессе», носящем его имя.

Европа, по чеховским письмам, – это какой-то сплошной Pension Russe.

Дамы, живущие в Pension Russe – это такие гады, дуры. Рожка на рожке, злоба и сплетни, черт бы их побрал совсем. Что великолепно в Ницце, так это цветы, которыми здесь запружены все рынки. Масса цветов, и дешевизна необычайная.

Все так же тихо, как и при Вас. Впрочем, была и революция. До моего сведения дошло, что живущие в том же пансионе шпион (варшавский молодой человек оказался таковым в конце концов) и земский начальник платят Вере Дмитриевне по 9 франков, я же плачу 11. Меня это немножко покорило, я стал бунтовать, и мне сбавили 1 франк. Плачу теперь 10.

Погода все еще чудесная, лучше и не нужно. Не приедете ли Вы? Поехали бы вместе в Монте-Карло, в Корсику, в Алжир. Подумайте-ка!

Сегодня я видел английскую королеву. Около лилий и пионов поставь палочку, чтобы не растоптали.

В Париже тепло, уже распускаются каштаны; и если в России будет очень дурная погода, то придется пожить в Париже подольше.

Сегодня я уезжаю в Алжир, побуду там недели две, а потом в Россию.

Здесь жара невыносимая, просто хоть караул кричи, а у меня легкого платья нет, точно в Швецию приехал. Говорят, везде очень жарко – по крайней мере, на юге. ...Что за отчаянная скучища этот немецкий город Баденвейлер!

Чеховского Запада, как «того берега», как идеологического, литературного факта, который можно было бы поставить в один ряд с герценовскими «думами» о Европе, щедринским «зарубежным циклом» или «Зимними записками о летних впечатлениях» Достоевского – не существует.

Чехов не перебирает струны «варварской лиры», не обличает западный капитализм, буржуазный индивидуализм и мещанскую цивилизацию Запада, противопоставляя им инстинктивное братство русской общины; не вычисляет дату грядущей гибели Европы и не предлагает русских вариантов ее спасения.

Сохранилась европейская география – нет больше русской трагедии на темы европейской истории. Сообщение о «революции» в Pension Russe – пародия хорошо отработанных и обкатанных к тому времени социально-исторических антонимов: европейская революция и русский бунт («Я взбунтовался...»).

Чехов прекрасно знает содержимое идеологического багажа, который он в качестве русского писателя обязан взять с собой в Европу и, при случае, с «коварством и любовью» достает оттуда необходимые в таком путешествии запасные идеи: «Да, великие мы таланты, мы “всечеловеки”, и из нас “прет”, но умри Лев Толстой и написать статью некому...» В славянофильско-почвеннический огород заброшен крупный камень, но он вовсе не свидетельствует о «западничестве» Чехова. Чехов не западник по той простой причине, что не видит в Западе антитезу России. В рамках этой классической оппозиции он не воспринимает и Россию. «Нет Востока и Запада нет», нет заграницы, потому что нет духовных границ, идеологических рубежей, преграды рухнули – и «стало видно во все концы света... с одной стороны – море, с другой – Италия; вон и русские избы виднеют... А знаете ли вы, что у алжирского бея под самым носом шишка?»

Для Чехова Европа нигде не начинается и Россия нигде не кончается: в Париже «скучно без Потапенки», и тот же Потапенко доставляет письмо из Биаррица в Лопасню.

В Ницце смешат киевские профессора. Немцы безвкусны и вульгарны, но «по хозяйственной части они молодцы, достигли высот для нас недостижимых». Тем самым предполагается, что и «для нас», то есть для русских, комфорт и порядок – высота, хоть и недостижимая, но желанная, – мысль, кощунственная и чудовищная для Достоевского: вспомните хотя бы «Игрока» Алексея Ивановича, установившего демаркационную линию между немецким и русским национальными характерами как раз «по хозяйственной части».

Можно печататься в «Cosmopolis», можно – в «Новом времени». Какая разница? Антисемитами богаты и Франция, и Россия. В Париже тепло, в России холодно: лучше пожить в Париже. В Италии холодно, в Ялте тепло – лучше ехать в Ялту. «...С одной стороны – море, с другой – Италия, вон и русские избы виднеют...»

Если судить по письмам, Чехов, живя в Европе, бредил Алжиром, как три сестры, жившие в провинции, бредили Москвой. Три сестры не попали в Москву, Чехов – в Алжир.

«Сегодня я уезжаю в Алжир, пробуду там недели две, а потом в Россию», – сообщает он М. Ф. Андреевой в письме из Рима и в тот же день действительно уезжает... в Ялту.

Здесь какая-то мистическая загвоздка, заколдованное место: из Южной Европы до Алжира добраться было легче и проще, чем из Москвы до Сахалина.

Но в том-то и дело, что в чеховском мире с его абсолютным несоответствием внешнего и внутреннего, явления и сути, Африка или Москва – не географическая реальная данность, но данность символическая. А природа символа такова, что он может быть только явлен, воплощен, но не достигнут. Чехов попадает в ловушку собственной художественной структуры и постоянно оказывается в положении своих же персонажей.

Классическая культура, кроме столицы-метрополии и провинции-периферии, знала еще и экзотику – тайну не освоенного, не захваченного и не захваченного культурой пространства.

В рассказе «Мальчики» экзотически-таинственную координату классического мира Чехов «одомашнил», сместил в «детскую». Сюжет рассказа прагматически оправдал недостижимость «краснокожей» Америки для русских подростков. Метафизический же «отвес» к этой реально-сюжетной недостижимости экзотического пространства – Алжир чеховских писем, Африка «Дяди Вани», Москва «Трех сестер», Париж «Скучной истории» или рассказа «В Париж!».

Для взрослых персонажей Чехова закрываются мировые и отечественные столицы, для детей – континенты, а мальчикам Дос-

тоевского еще был открыт и доступен космос: вспомните анекдот Алеши Карамазова о русских мальчиках, которые, впервые увидев карту звездного неба, на следующий вернули ее исправленной. Ирония здесь неотличима от дифирамба: достижимость для «русских мальчиков» запредельных миров представлялась Достоевскому несомненной. И могло ли быть иначе в его мире, где люди обедали, чтобы порассуждать о Боге?

В чеховской провинции экзотика отменяется, ибо исход оттуда невозможен: по форме и размерам Pension Russe совпал с земным шаром.

Чехов, творивший свой мир на границах, точнее – на развалинах мира классического, использовал его структуры в качестве координат и негативных данностей мира своего. Чеховская реальность отрицательна, ибо чеховское «так есть» означает «уже нет» по отношению к классическому «так было».

РУССКИЙ БЕС

I

В городе, который еще совсем недавно был столицей Империи – Петербургом, а теперь назывался «колыбелью Революции» и Ленинградом, – в этом городе в декабре 1927-го года одиноко и мучительно умирал один очень старый человек – писатель Федор Сологуб.

В сущности, очень старым он не был, а по нынешним часам не был даже и просто старым: всего шестьдесят четыре года.

Но: когда исторический катаклизм необратимо разламывает материк эпохи на два несообщающихся острова – «до» и «после» – тогда драма старости оборачивается трагедией устарелости.

Федор Сологуб умирал очень старым человеком, потому что оказался устаревшим писателем.

«Некуда было ему идти. Его никто не звал. Его нигде не ждали... Жизнь отвергала его...»

Так о Сологубе 20-ых годов вспоминает его молодой современник, будущий классик советской литературы, ныне покойный Константин Федин.

Вслушаемся в язык победителей. Не просто молодое поколение, как ему от века положено, теснит к могиле старое. Не просто это новое поколение обзавелось новой, советской литературой (героизм – оптимизм – энтузиазм – маузер – фраза, короткая, как приговор или команда); не просто эта новая литература не зовет к себе в гости Бога, Дьявола, мировую тоску, гимназистов с кокардами, уездных барышень с воланами, – словом, ничего из того, что составляло реальный и художественный мир писателя Сологуба... Всего этого, оказывается, недостаточно. Оказывается, сама жизнь, т.е. земля и небо, дождь и снег, папиросы и чай, издательства и журналы, пиджаки и пальто, – отвергали автора «Мелкого беса».

Прибавь Константин Федин к слову «жизнь» эпитет «советская», – он был бы прав. Но в этом случае между жизнью и Сологубом устанавливается равенство: советская жизнь отвергала его, он – отвергал ее.

Федор Сологуб, символист и мизантроп, автор учебника геометрии и стихов о круговороте душ в ледяных безднах космоса, несуществующей земли Ойле и небывалой звезды Маир, вопреки всему, что принято думать о художниках такого склада, был писателем политически чутким и общественно возбужденным.

По словам Ходасевича, «“певец порока” и “мутной мистики” не чуждается реальнейших вопросов нашего века». А «реальнейшим вопросом нашего», т. е. того (т. е. нашего) века был (и остается) один: политическое будущее России, когда (если) рухнет самодержавие («самовластье»).

«Певец порока» и «мутная мистика» – отнюдь не характеристики самого Ходасевича, но шаблонные суждения о Сологубе до-революционной критики, почему и взяты в кавычки.

Шаблонность, однако, не противопоказана истине, хотя бы частичной: была у Сологуба мистика, имелся и «порок» – пристальный интерес к «ночному человеку», эротическому подполью, каковое подполье для той пугливой эпохи начиналось сразу с брюшной полости. Сочетание мистики и порока в поэтике приводит обычно к радикализму в политике, все равно – правому или левому. Что и произошло со всеми почти литературными современниками Сологуба, особенно – с коллегами-символистами. Одна мысль о том, что, уничтожив твердыню монархии, Россия втиснется в скучные рамки европейского парламентаризма – была для них невыносимой. На голову «прогнившей буржуазной цивилизации» призывались: «грядущие гунны», мессия-пролетариат, «дионисийские» извержения крестьянской и босяцкой Руси.

Всею этой революционно-эсхатологической мистике «певец порока» скромно и до неприличия трезво предпочитал западную буржуазную демократию. Поэтому Федор Сологуб восторженно приветствовал Февральскую революцию и проклял Октябрьскую, в которой победили, по его выражению, «вчеловеченные звери».

II

В сущности, он должен был умереть (а, возможно, и умер) не в 1927-ом году, а шестью годами раньше, когда его жена, Анастасия Чеботаревская, покончила жизнь самоубийством. Причины, обстоятельства и последствия ее гибели, – это самое значительное из всего, что создал Сологуб в послереволюционные годы. Создал, правда, не один, а в соавторстве с советской властью.

...В 1921-ом году Сологубы начинают хлопотать о выезде за границу; предлог – вконец разрушенное здоровье писателя. Просьбу поддерживает Луначарский. В это же время о выезде за границу – на лечение – просит Александр Блок. Просьбу поддерживает Луначарский. Политбюро выносит решение: Сологуба выпустить, Блока – оставить.

Луначарский, впад в страшный гнев, отправляет «наверх» письмо такого, примерно, содержания: «Товарищи, что же вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба,

меж тем, как Блок – поэт революции, наша гордость, о нем была даже статья в Times, а Сологуб ненавидит пролетариат, автор контрреволюционных памфлетов...» и т.д.

Меж тем, судя по решению, Политбюро было осведомлено об истинном положении дел несравненно лучше Луначарского. От «музыки революции», под вагнеровские раскаты которой Блок написал «Двенадцать», к 1921-ому году остались только шум в ушах и звон в голове из-за постоянного недоедания.

Как заурядный обыватель, Блок страдал от отсутствия вина, папирос, еды; как последний «гнилой либерал», ужасался разгулу жестокости и хамства; как поэт, – очень быстро почувствовал тяжелую руку новой власти и ее бескомпромиссную враждебность тому, что еще недавно казалось безнадежно устаревшим, а сейчас оказалось единственно нужным, – личной свободе.

Свои разочарования певец «Прекрасной дамы» подытожил словами: «Доконала меня Россия». И – с почти передоновской грубостью – прибавил: «Сожрала, как чушка поросенка».

Понятно, что если автор «Двенадцати» и «Скифов», оказавшись в Европе, объявит русскую революцию всемирным свинством, – это будет большой урон и непоправимый скандал. Луначарский не случайно поминает Times: Россия всегда тем больше от Запада зависит, чем больше его поносит. Что ж до Сологуба, – кого удивят разоблачения «ненавистника пролетариата», «автора контрреволюционных памфлетов»?..

Но тут в естественный ход событий вмешивается Горький, – и Политбюро принимает противоположное решение: Блока выпустить, Сологуба – оставить.

Воспользоваться разрешением Блок не успел, – умер в августе 1921-го года. Напуганный перспективой вымирания русской литературы, – (что скажут в Европе?), – Горький нажимает на все правительственные педали, – и Сологуб получает разрешение.

После чего начинается чепуха и бред, сравнимые только со сватовством Передонова к девицам Рутиловым: уже полученный заграничный паспорт у Сологуба вдруг отбирают, потом возвращают, опять отбирают, возвращают...

Между очередным разрешением и возможным отказом Анастасия Чеботаревская, не выдержав напряжения и во всем разуверившись, бросилась в Неву с Тучкова моста.

В течение 7-и последующих месяцев, пока тело ее не извлекли из воды, Сологуб ежедневно ставил на стол лишний прибор, – на случай, если жена вернется. Она не вернулась, и мысль об эмиграции сама собой испарилась: отъезд – это движение, жизнь, а жить не хотелось.

5-го декабря 1927-го года Сологуба похоронили в Ленинграде, на Смоленском кладбище, неподалеку от могилы Блока: смерть

сделала то, на что никак не могла решиться власть, – совместила обоих в одном и уже навсегда заграничном пространстве.

А за два года до смерти Сологуба и через четыре после самоубийства Анастасии Чеботаревской, в феврале 25-го, ее родная сестра, жившая в Москве Александра, тоже переводчица и писательница, взшла на большой Каменный мост, перекрестилась и бросилась в полынью. Ее вытащили, но час спустя она скончалась от разрыва сердца.

Отодвинем повествование еще лет на двадцать назад...

До встречи с Анастасией Чеботаревской в жизни Сологуба была лишь одна женщина, к которой испытывал он привязанность сильную и нежную, – его родная сестра Ольга. Девушка тихая, кроткая, безмужняя, как бы отродясь немолодая, ходила всегда в черном и умерла от чахотки в 1907-ом году.

Всю оставшуюся жизнь Сологуб стихами пытается удержать и продлить ее кратковременное бытие.

Само понятие «сестра» становится для него сакральным и символически напряженным: недостигаемость мертвой означает то же, что недостижимость живой, смерть – синоним морального запрета...

III

...По роману упорно гуляет слух, что Варвара не то троюродная, не то и вовсе двоюродная сестра Передонова. Володин прямо заявляет: «Я, может быть, не хочу на чужих сестрицах жениться».

Или возьмем трех обольстительных сестер Рутиловых: визги, плясы, песни, запах духов, шелест юбок... Казалось бы, и без посторонней помощи они могут втянуть в свой водоворот не только весь мужской состав города, но и саму фабулу романа, отняв ее у Передонова.

Однако ж, к ним почему-то приставлен родной брат, коллега Передонова, гимназический учитель Рутилов. Именно он, Рутилов, провоцирует матримониальные отношения между сестрами и Передоновым и, тем самым, романную фабулу. Рядом с Мартой, еще одной несостоявшейся невестой Передонова, мы, как и он, каждый раз с неудовольствием обнаруживаем младшего брата Марты гимназиста Владю.

У несостоявшейся невесты Володина, Надежды Васильевны, тоже есть и тоже с ней неразлучен младший брат – гимназист Миша. Если же какому-либо другому гимназисту, Саше Пыльникову например, судьбой или авторской ревностью в сестре отказано, тут же появляется заместительница – Людмила: «Как она нежно целует! – мечтательно вспоминал Саша. – Точно милая сестрица. Если бы она была – сестрою»!.. «Сашино лицо мучило и соблаз-

няло Передонова. Чаровал его проклятый мальчишка своею коварною улыбкой. Да и мальчишка ли?.. Или, может быть, их два: брат и сестра. И не разобрать, кто где».

Брат – собирательное мужское лицо романа, сестра – собирательное женское. Для Сологуба мужчина не любовник, но – Брат. И женщина в его мире – не Мать, не Жена, не Любовница, но – Сестра.

Брат при сестре либо сводник, либо помеха, а чаще и то и другое: Рутитов сводит сестер с Передоновым, Передонов непрочь переадресовать Варвару – Володину; Владя путается в ногах Передонова и Марты, Миша отказывает Володину в руке своей сестры Надежды Васильевны. Из всех братьев Передонов самый «братский», он, так сказать, «Большой брат», поскольку претендует на весь гинекей романа, – от своей сестры Варвары до сокровенно пребывающей в Саше его сестры.

Мужская эротика в романе – «частно-собственническая», индивидуалистическая и агрессивная. В противовес ей женская норовит раствориться в безличной любовности, во всеобщем «сестринском братстве», где одна женщина подменяет себя другой, чтобы хоть через ту, другую, пробиться к «вечной мужественности». Вдова Вершина уступает Марте сперва Передонова, потом Мурина; сестры Рутитовы, лишь слегка досадуя, но не ревнуя, не ссорясь, поочередно высылают друг друга на смотрины к Передонову; они же, Валерия и Дарья, дуются на Людмилу не оттого, что Саша Пыльников достался ей, а потому, что сестра не приняла их в свои любовные игры с хорошеньким гимназистом.

Что ж до отношений между конкретными братьями и сестрами, – их озаряет неприглядным светом сцена между самой, казалось невинной парой – Надеждой Адаменко и братом ее Мишей: «Он опустил на колени у сестриных ног, и положил голову на ее колени*. Она ласкала и щекотала его. Миша смеялся, ползая коленями по полу. Вдруг сестра отстранила его и перешла на диван».

Гнилостный дух инцеста висит над романом. К нему прибавим еще и развращение малолетнего, до-лолитную «Лолиту навыворот» (опыт, видимо, учтенный Набоковым), зримые ростки педофилии и свального греха, нерушимое единство садо-мазохистской эротики, некрофилию....Обвинение легко продолжить, но мы этого делать не станем, поскольку каждый новый пункт все бесповоротней загоняет нас в тупик имени Зигмунда Фрейда.

* Поза эта, несомненно, цитатная: голова Гамлета на коленях Офелии. Случайность исключается: именно в Гамлете, – и только в нем, – единицей измерения любви мужчины к женщине положена братская любовь: «Но я любил ее, как сорок тысяч братьев любить не могут».

IV

Не то, чтобы этот тупик был безысходней или тупее других – нет, просто к психоанализу обращаются те и тогда, кто и когда не способен обращаться с литературой.

«Мелкий бес» – прельстительная, но и коварная ловушка психоаналитических «Золушек»: все, что по фрейдистской вере должно прятаться в подсознании романа (и романиста): извращенная сексуальность, незаконная эротика, страхи и неврозы – все это в «Мелком бесе» демонстративно вынесено наружу, размещено на самых верхних этажах текста (сюжет, фабула, психология героев). Но тогда: что образует романное подсознание? тайну романа?.. – Литература: аллюзии, отсылки, прямые и косвенные цитаты в диапазоне от великих предшественников – Пушкина, Гоголя, Достоевского – до современника и сверстника А. П. Чехова.

Кроме «Бесов», слишком назойливо лезущих в глаза для того, чтобы хотелось их из «Мелкого беса» изгнать, находим: Гоголь «Женитьба», – безумное вспухание сюжета вокруг сватовства и женитьбы Передонова; Гоголь, «Мертвые души», – чичиковские визиты Передонова «по начальству»; Достоевский периода «ранней готики», «Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка»... Именем зловещего героя «Хозяйки» – Мурин – Сологуб одарил весьма третьестепенного и очень простодушного персонажа... Стало быть, и в этом тихом омуте завелись черти.

С игральных карт подмигивает Передонову «Пиковая дама» – старая графиня обернулась старой княгиней Волчанской, каковая фамилия удостоверяет ее действительную, а не выдуманную Варварой связь с Передоновым.

Происхождение Волчанской прозрачно: волк. Но в романе волк-двойник Передонова в мире животных, его «тотем». Как показывает остроумнейший передоновский разбор «волчьего» отрывка из «Евгения Онегина» («... с своей волчицею голодной выходит на дорогу волк»), только в волчьем облике удалось Передонову осуществить свою мечту об идеальном браке.

Разоблачив в Передонове волка, вынуждены мы теперь с опасным подозрением приглядеться к его постоянному спутнику и собеседнику – Володину.

Сходство Володина с барашком, ягненком автор вколачивает в читателя при каждом появлении персонажа. Володин, впрочем, и сам о себе это знает и то и дело переходит с языка человеческого на язык овечий – бляенье.

Все эти несуразности означают только одно: перед нами волк и ягненок из хрестоматийной басни Крылова с ее всем известной драматической развязкой: «“Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать”. Сказал и в темный лес ягненка поволок».

Передонову тоже захотелось «кушать», и он зарезал Володина, как волк – овцу: в русском словоупотреблении в паре с волком, поживившимся овцой, ходит не глагол «сожрал» или «задрал», но исключительно «зарезал», – «волк овцу зарезал».

Так незаметно и неизбежно мы соскользнули с уровня человеческого на уровень тотемистический. А здесь, на этом уровне, двойник – уже не реализованный в образе символ душевной раздвоенности (как у Достоевского, к примеру), здесь двойник – это оборотень.

Но внешне отношения Передонова и Володина развиваются вполне нормально, т. е. – по Достоевскому: Передонов зарезал Володина, как Рогожин Настасью Филипповну, после чего окончательно сошел с ума, точь в точь, как князь Мышкин: «Передонов сидел понуро и бормотал что-то несвязное и бессмысленное».

Теперь самое время припомнить и фамилию Настасьи Филипповны: Барашкова!.. Что Н. Ф. «жертва», – о том она сама кричит на каждой странице романа, князь Мышкин, автор и многие читатели с ней согласны. Да, Н. Ф., – эта женская ипостась Христа Мышкина, есть жертва искупительная и очистительная. И, следовательно, «барашек» Володин тоже жертва очистительная и искупительная.

В христианской мифологии Достоевского языческий опыт человечества ушел в сравнивающую часть метафоры: человек заклан как агнец. У Сологуба метафора совершает обратный ход: заклан агнец в облике человека. Но это не только обратный ход метафоры, – это и регресс мифа: от христианского – к языческому.

V

Барышня Адаменко спрашивает Передонова, читал ли он модную новинку – рассказ писателя Чехова «Человек в футляре»?..

Ответ Передонова: «...я не читаю пустяков. В повестях и романах все глупости пишут», – поражает не столько скотством, сколько сходством с репликой Рахметова по аналогичному поводу.

Свое родство со «святым семейством» революционной демократии по базаровской линии Передонов подтверждает в манере, только и свойственной бесу отрицания, т.е. – отрицая:

«– Какой же я нигилист?.. даже смешно. А что у меня Мицкевич висит, так я его за стихи повесил. А я и не читал его Колокола».

Напрасно прокурор Авиновицкий исправляет Передонова: «Колокол Герцен издавал, а не Мицкевич».

Передонов издевается над прокурором, демонстрируя как раз очень хорошее знакомство и с герценовским «Колоколом», защищавшим «польское дело», и с обстоятельствами самого «дела». Мицкевич «висит», т.е. повешен.

Чего не сделало русское правительство, – не казнило Мицкевича, – доделывает Передонов: «...я его за стихи повесил». Убийство невидимого соглядата за обоями, – прямой плагиат из «Гамлета», эпопея с черным котом – из Эдгара По.

Все такие же половецкие набеги на горячо любимые автором западные литературы редки и принесены в жертву профессиональным интересам героя – учителя русской словесности. С учебной точки зрения роман «Мелкий бес» – это собрание заготовок к школьному сочинению на тему: «Образы трех сестер в русской литературе».

Далекий, но различимый отсвет трех великосветских барышень Епанчиных лежит на их провинциальных дублершах – трех девицах Рутиловых. Сватовство Передонова – адаптированная для взрослых «Сказка о царе Салтане».

Салтан-Передонов стоит у забора, три сестрицы сидят в горнице, и каждая сообщает, как и чем она станет угождать «царю», буде он на ней женится.

И уж, конечно, не обошел Сологуб трех самых знаменитых сестер русской литературы – чеховских.

Правда, приглашены в роман не они, а их тоскующие поклонники, приглашены в чужом облике, не под своими именами, и все-таки – они: «Ну, да, – возразил Передонов, – ты думаешь, через двести или триста лет люди будут работать?»

– А то как же? Не поработаешь, так и хлеба не покушаешь. Хлеб за денежки дают, а денежки заработать надо.

– Я и не хочу хлеба.

– И булочек, и пирожков не будет, – хихикая говорил Володин, – и водочки не на что купить будет, и наливочки сделать будет не из чего.

– Нет, люди работать не будут, – сказал Передонов, – на все машины будут...

Володин призадумался.

– Да, – сказал он задумчиво, – это очень хорошо, что будут. Только нас тогда уже не будет.

Передонов посмотрел на него злобно и проворчал:

– Это тебя не будет, а я доживу».

Сравниваем:

Вершинин. Давайте помечтаем... Например, о той жизни, какая будет после нас, лет через двести-триста.

Тузенбах. Не то что через, двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была...

Вершинин. Через двести, триста жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной...

Тузенбах. Через много лет, вы говорите, жизнь будет невообразимо прекрасной, изумительной. Это правда. Но, чтобы действовать в ней теперь... нужно работать.

Вершинин. Через двести-триста лет... настанет новая счастливая жизнь. Участвовать в этой новой жизни мы не будем, конечно, но для нее живем теперь, работаем и т.д.

Не будем себя обманывать: это не хам Передонов в дуэте со жлобом Володиным куражится над русской интеллигенцией, – это известный русский писатель Ф. К. Сологуб издевается над известным русским писателем А. П. Чеховым.

VI

...«Колдун, ведун, чародей». Так, в соответствии с принятыми в начале века правилами хорошего тона, величали Сологуба – коллеги-литераторы.

В переводе на нормальный язык это означало, что автор «Мелкого беса» подозрителен, холоден, крайне неуживчив и тягостно злопамятен.

Более мягкий штрих в эту жесткую графику вносит Владислав Ходасевич: «О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее – он только не любил прощать». Чего же не простил Сологуб Чехову? Чехову, на всю русскую словесность, от Пушкина до наших дней, прославленному своими джентльменскими манерами и непостижимой в русском литераторе корректностью?!..

Ответ в двух датах: 1901-ый, год рождения «Трех сестер» (первая публикация и первая постановка), и – 1902-ой, год завершения «Мелкого беса».

Если учесть кропотливую работу над романом в течение целого десятилетия, – (начат в 1892-ом), – можно смело предположить, что к 1901-му году уже дошел до кульминации немислимый роман между подростком Пыльниковым и младшей Рутиловой, – (Саша начинает Людмилу поколачивать), – и кульминацию перешел (уже называет Саша Людмилу – Людмилкою); сад вдовы Вершиной уже покрыт «темными, палыми, истлевающими листьями» и, главное, уже лег в кожаные ножны небольшой садовый нож, которым Передонов прирежет Володина... Короче: в 1901-ом году, – я полагаю, – роман уже был готов. Еще десяток-другой новых тире (до них Сологуб большой охотник), вычеркнутых запятых, освеженных эпитетов, – и к лику России вплотную придвинется сологубовское «зеркало, сделанное искусно», и в ужасе отшатнется Россия от своего передонова рыла.

И вдруг, в это именно время, Сологуб читает (или видит на сцене) новую пьесу знаменитого коллеги, в которой незамедлительно опознает... плагиат.

Судите сами: место действия – провинция, время действия – сейчас, центр действия – гимназия; у чеховских трех сестер, точь-в-точь, как у сестриц Рутиловых, единственный брат; фамилия обаятельного полковника – Вершинин – дерзко напоминает о чудаковатой вдове Вершиной, сама же вдова – о взбалмошной супруге полковника: обе курят; в пьесе, как и в романе, охотно цитируется гимназический курс русской словесности...

Гипотеза моя, надеюсь, ясна: разговор Передонова и Володина про будущую жизнь через двести-триста лет, откровенно пародирующий диалог Вершинина и Тузенбаха на ту же тему, был вписан в рукопись романа только в 1901-ом году, точнее – только после появления «Трех сестер». Но, чтобы позволить себе столь brutальный выпад, нужно было, в свою очередь, саму пьесу «Три сестры» (а то и вообще чеховское творчество), – рассматривать как пародию на «Мелкого беса». (Что, видимо, и произошло). Речь идет не о литературной пародии, априорно невозможной, – с рукописью сологубовского романа Чехов знаком не был, – но о пародии (или иронии) как художественной позиции Чехова ко всей новейшей, т.е. декадентской русской литературе, с ее безднами, бесами, беспроектным трагизмом и стилистическими истериками:

– А с чего это вы, судари, раскудахтались, как куры на рассвете? Раскричались, как голодная чайка?.. Какие-то Передоновы, убийцы, безумцы, прости Господи, развратники... Нет-с, милостивый государь, жизнь проще и сложнее ваших декадентских выдумок.

А уж если захотелось разоблачать, то надо поумнее, потактичнее и не забывать, что тысячи развратных канареек или кроликов лучше, чем один благочестивый волк...*

Так или не так представлял себе Сологуб «внутреннюю рецензию» Чехова на его новый роман, – ясно одно: в осторожной палитре Чехова, этого «мученика светотени», Сологуб не мог не увидеть вызов своему босховскому неистовству, вызов тем более неотложный, что ии обоим позировала одна и та же модель: русское захолустье.

И Сологуб ответил... именно эта торопливая и яростная вспышка «литературной злобы» освещает весь хитроумно и тщательно возделанный филологический ландшафт романа, – пушкинские лабиринты, гримасы из Гоголя, вольные пересказы Достоевского...

* Данный монолог, кроме фразы, непосредственно относящейся к Передонову, представляет собой коллаж из подлинных чеховских высказываний, хотм и по другим поводам.

VII

«Прекрасное есть жизнь»

Н. Г. Чернышевский

...В русской традиции глагол «разоблачать» исчерпывающе описывает отношение между литературой и жизнью.

Перед суровым неподкупным взором русской литературы жизнь, – и не только русская, – стоит, как Чернышевский на эшафоте. Стоит с непокрытой головой и не под дождем, как бедный Николай Гаврилович, а под градом обвинений, смиренно и безропотно проходя все этапы гражданской казни.

Вот раздается команда «На караул!» - и на эстраду всходит очередной властитель дум с апостольским ликом (Гоголь – Достоевский – Горький – Солженицын)... Вот он зачитывает обвинительный приговор: «...безнравственная – погрязшая – поддавшийся соблазну – тлетворное влияние – заслуженное наказание...»

Затем осужденную жизнь ставят на колени в угол («Смирись, гордый человек!»), потом поднимают с колен и пригвозждают к позорному столбу, после чего ссылают в какое-нибудь созвучное данной эпохе исправительно-трудовое произведение («Преступление и наказание», «Воскресение», «Раковый корпус»). В результате у русской жизни всегда затравленный, виноватый и бледный вид, русская же литература, напротив, неизменно пребывает в добром здравии, самоуверенна и румяна.

Федор Сологуб был и остается единственным русским писателем, вчинившим встречный иск: он поставил русскую литературу перед судом русской жизни, и – дрогнула, не выдержала, «раскололась» русская литература. Выяснилось: совсем не так страшна жизнь, как ее малюет литература, – на самом деле она куда страшней, гаже, абсурднее, чем это представлялось писателям русским в их самых гневных обличениях, самых беспощадных сатирах.

Стоит девице Адаменко спросить Передонова, – не читал он рассказ «Человек в футляре»? – как даже самый ленивый и нелюбопытный читатель начинает разыскивать разбросанные там и сям по роману калоши, зонтик и страхи учителя Беликова. И, конечно, находит: ведь не случайно Беликов, как и Передонов, преподаватель гимназии и даже родственной дисциплины – греческого языка.

Но не одна девица Адаменко и ленивый читатель, – вся интеллигентная Россия увидела в Передонове доведенного до последнего градуса «футлярности» – Беликова.

Были, конечно, и разногласия: одни считали, что Передонов (как и Беликов) – это сатира на провинциальную гимназию; другие, которые посмелей, полагали, что образом Передонова Сологуб замахнулся на всю систему образования в России. Так, В.И Ленин, например, прямо обозвал «заслуженнейшим Передоновым» некое начальственное лицо из министерства народного просвещения

Как ни трудно себе это вообразить, но раздавались голоса и порадикальней ленинского: «Видеть в Передонове развитие чеховского человека в футляре – значит совершенно не понимать... Не одна провинциальная жизнь, а вся жизнь в ее целом есть сплошная передоновщина».

Но будем справедливы: разве Беликов такой же сексуальный маньяк, как Передонов? Разве можно обвинить его в инцесте?..

Ничего подобного: Беликов целомудрен, скромн, пуглив. Он, правда, сватается к сестре (!), но это совершенно посторонняя, чужая, притом единственная сестра его коллеги по гимназии.

Далее: разве Беликов ходит по начальству доносить? Напротив, он всегда в страхе, «как бы чего не вышло», не дошло до начальства.

Или Беликов кого убил, зарезал?.. Нет, не только никого не убил, не зарезал, а, наоборот, сам умер.

Так что совершенно прав Передонов, обозвав чеховский рассказ «пустяком»: он-то себя знает! И Сологуб своего героя – тоже. Чего и по сей день не скажешь о читателях и критиках романа. Передонов, как недотыкомка, «недотыкаем», т.е. – недостижим, неуловим, непостижим.

Сологуб про свой роман сказал: – «...зеркало, сделанное искусно». Сказал бы просто, – «зеркало», – и все было бы просто: «Роман – это зеркало, с которым идешь по большой дороге» (Стендаль).

Но поднеси такое дорожное зеркало к Передонову, – и он, как вампир, в нем не отразится. Не лучше обстоит дело и с кривым зеркалом сатиры: поставь перед ним Передонова, – сатира останется, Передонов исчезнет.

Сологубовское «искусное зеркало» вообще не отражает (действительность, нравы, эпоху) и не искажает (действительность, нравы, эпоху), оно – открывает «зазеркалье». Там, по ту сторону зеркала, кончается империя и начинается передоново царство – русская провинция. Там вместо столицы – город (губернский, областной, районный, уездный), вместо города – городок, вместо городка – огород, а сразу за огородом – лес, поле, пустошь... Там жизнь продолжается без человека, там беспмятство, русская нирвана, омуты бытия, те самые омуты, в которых черти водятся. Передонов и есть – черт.

VIII

...Он запрещает Варваре пользоваться кулинарной книгой, чтобы не извела его Варвара чернокнижием; пишет донос на барана, что не баран тот вовсе, а самозванец, выдающий себя за Володина; самого же Володина подозревает в том, что хочет Володин обернуться им, Передоновым; и кот, злобный, кусачий, ухмыляющийся, как Варвара, тоже в его глазах не кот, а оборотень...

Но ведь и сам Передонов – волк, оборотень. Он потому и подозревает других, что по себе хорошо знает, как неуверенны и зыбки очертания человеческой личности, как неплотно пригнана к человеку человеческая личина. Этимология русского черта связывает его с магической чертой – границей, отделяющей человека от всякой антропоморфной нечисти, лесной, болотной, домашней...

В русском языке слова «черт» и «бес» – синонимы («Бур черт, сер черт – все один бес»). Этимологические корни беса тянутся туда же, где шевелятся чертовы, – в лесной страх, ночной ужас, в болотную мерзость, во взаимное отвращение человека и природы («бес» – «бойся»).

Разница, которая все же существует между «бесом» и «чертом», не семантическая, а – социальная: православная церковь предпочитает именовать черта – бесом, простой же народ величает беса – чертом.

Для церкви бес – абсолютное зло, с ним надлежит вести войну не на жизнь, а на смерть. И бес Передонов это знает, и отвечает церкви тем же: «Церковная служба Передонову была непонятна. Поэтому страшила... Он злобился... хотел изорвать ризы, изломать сосуды... Церковные обряды и таинства представлялись ему злым колдовством, направленным к порабощению простого народа».

Христианство, победив в мировом масштабе, изгнало веселое племя обитателей лесов, рощ, водоемов, всех этих неумных фавнов, насмешливых сатиров, обольстительных наяд и дриад, за пределы человеческого космоса, загнало их в расщелины и пещеры, все, какие ни есть, подполья земли, короче – в ад, нарекло бесами и прокляло во веки веков.

Но мраморное дело античного язычества не вовсе пропало; свергнутые божества за себя отомстили: то, что отняла у них церковь, с лихвой вернула европейская культура, особенно романтическая. Дьявол (он же демон, сатир, великий Пан и т. п.) обращивался, если того требовал сюжет, обаятельным красавцем, роковой красавицей, философом-скептиком, аристократом-одиночкой, искушенным мастером любого цеха, великим ученым, гениальным артистом. Короче: едва ли не весь обширный штат европейских культурных героев был укомплектован дьяволом и его присными.

От гетевского «Фауста» и до манновского «Фаустуса» европейский бес, даже хромя, победоносно шествовал по векам и странам. Неоднократно гащивал он и в России: пушкинский Мефистофель, лермонтовский (и врубелевский) Демон, граф Сен-Жермен, черт-кантианец в «Братьях Карамазовых», обаятельнейший Воланд – все это бесы-«западники». Но как обстоит дело со «славянофильским» бесом?.. Очень грустно: русский черт культурно обездолен, родственников за границей не имеет, его генеалогическое древо корнями уходит в болото, которое никогда не осушалось и не превращалось ни в английский парк с его эльфами, ни в венский лес с его сказками.

Зато и изгнать русского беса оказалось намного трудней, в сущности – невозможно. Он намертво связался с сезонными циклами и календарными обрядами, с деревней, хутором, слободкой, предместьем, печью, подполом, чердаком, короче – со всей той бедной областью человеческой жизни, где проживало большинство русского народа.

В названии романа слово «мелкий» нужно понимать не как оценочный эпитет морального свойства («мелкий человек», «мелкие расчеты» и т.п.), но буквально: характеристика занимаемой должности, место в служебной иерархии, по-научному – «низшая мифология».

Полемичным название становится лишь в литературном контексте, ехидно противостоя грандиозным «Бесам» Достоевского: у Федор-то Михалыча все такое необыкновенное, возвышенное, и главный бес у него не бес, а – демон, не то принц Гарри, не то принц Гамлет, аристократ, байронический красавец, и даже которые бесы помельче, – и те мыслители, поджигатели, агенты «интернационалки»... А у меня, сами извольте видеть, – так, дрянцо, учительшко поганый, пачкун, вокруг – пыль, грязь, скука, мелочь, мелкота...

Передонов, скорей всего, бес-домовой. По русским поверьям особенно много хлопот с домовым при переезде в новый дом. Уговорить домового покинуть старый надышанный угол – трудно, оставить – опасно: несчастий потом не оберешься.

Если мы вспомним один из самых увлекательных эпизодов романа – переезд Передонова с Варварой на новую квартиру и поиски пропавшего кота, в котором Передонов прозревает своего двойника-оборотня – отпадут последние сомнения: домовый и есть.

«Чур меня, чур, чур! Заговор на заговорщика, – злomu языку сохнуть, черному глазу лопнуть. Ему карачун, меня чур-перечур!» – молится Передонов на своем чертовом наречии.

Кто этот таинственный Чур, способный нечисть спасти от напасти?..

Чур – родовой божок, дух домашнего очага, одним словом домовый.

Варвара – ведьма, злая колдунья, превращается то в карты (карты ухмылялись, как Варвара), то в кота (кот ухмыляется, как Варвара). И сестры Рутиловы – ведьмы: «Сестры были молоды, красивы, голоса их звучали звонко и дико – ведьмы на Лысой горе позавидовали бы этому хороводу».

Но ведьмы они в силу общей их принадлежности «бесовскому племени», более же узкая специализация сестер другая: русалки.

IX

Не следует путать русалку русскую с ее дальней, очень дальней родственницей – русалкой европейской.

Европейская русалка – дочь моря, в крайнем случае – большой реки, имеющей важное стратегическое и мифологическое значение. Дунай. Рейн.

Облик, манеры, образ жизни русалки европейской хорошо известны благодаря обширной иконографии: скульптуры (мраморные бронзовые, гипсовые); книжные иллюстрации, почтовые открытки, ковры, коврики, салфетки и т.п.

Несмотря на разнообразие предметов, функций и материалов, все эти источники информации дают один и тот же устойчивый образ: сидя (лежа) на скале, русалка золотым гребнем вычесывает из распущенных волос лунный свет (вариант: водоросли).

Воспитанница немецких романтиков, русалка европейская слезлива, мечтательна, влюблива и склонна к спасению утопающих.

Куда простоватей русалка русская. Иногда удается подглядеть, как она, взгромоздясь на пень-колоду и ловко закинув за спину облепленный тиной хвост, лушит семечки.

Уроженка плоских и топких средне-русских равнин, она отродясь не видела моря, да вряд ли о нем и слыхала. Живет она где придется – в пруду, ручье, озере, речушке, – лишь бы можно было нырнуть с головой и затаиться.

Потому русалка русская и человечней своих европейских товарищей, что ближе к человеку и местам человеческого обитания – избе, лесу, полю... Существо она, как правило, вредоносное не столько от врожденного коварства, сколько от неизбывной русской скуки. Насмеяться досыта и защекотать до смерти – других радостей у нее нет. Одно слово: «ласкотуха», как называют русалок в некоторых областях и говорах России.

Таковы и девицы Рутиловы: «Смех – тихий смешок, хихиканье да шептанье», а Людмила еще и щекочет: «Людмила опять принялась щекотать Сашу. – Русалка! – крикнул он. А русалка лежала на полу и хохотала».

Не менее подозрительны и другие дамы. Вдове Грушиной, например, как и Варваре, «церковные обряды кажутся нелепыми и смешными»... Стало быть, и сия чернозубая вдовица – ведьма, точнее – кикимора: жуткое существо, близко родственное домовым, лешим, водяным, русалкам, т.е. всей той нечисти, что оккупировала территорию от дома до леса или болота.

Недаром Вершина избегает принимать Передонова в доме и норовит увести в свой запущенный и заглухший, как лес – сад.

Сумрачный полусвет сказанного позволяет точнее разглядеть жанровые очертания «Мелкого беса»: перед нами роман-маскарад, как бывает роман-притча, роман-аллегория, роман-миф.

Психология оказалась маской литературы, но и литература тоже маска, под которой прячется сказка, поверие, заклинание.

Иными словами, как психолог уступил место литературоведу, так последний должен отступить перед превосходящими силами этнографии и фольклористики. Чего так никогда и не произошло.

Х

Современная «Мелкому бесу» критика яростно спорила о том, какой человек Передонов: безвозвратно или возвратно погибший? его ли среда заела или он подъедает среду? реалистический это образ или символический?..

Демократические авторы решали проблему демократично: раз все люди равны, значит, и автор равен своему персонажу. «Для меня ясно: Федор Сологуб – это осложненный мыслью и дарованием Передонов. Передонов – это Федор Сологуб» (А. Горнфельд).

Взбешенный либеральным оппортунизмом. Ал. Блок развил и углубил идею равенства: «Передонов – это не только Сологуб, Передонов – это каждый из нас». Может быть, именно поэтому, по свидетельству того же Блока, «“Мелкого беса” прочитала вся образованная Россия».

В сущности, это было больше, чем слава, – это была популярность: первое издание романа появилось в 1907 году, а уже между 1908-ым и 1910-ым годами потребовалось еще пять переизданий.

«Вся образованная Россия», однако, ухитрялась извлечь из романа то и только то, что отлично знала и без него: русская жизнь, особенно провинциальная – бездуховная и пошлая (читай Чехова), быт российского мещанства беспробуден и прерывается только вспышками жестокости (читай Горького); система народного образования мертвяще реакционна (читай Толстого и опять же – Чехова), короче – «Долой самодержавие!»

Символисты сошлись с реалистами в главном: в начале – передонощина, потом – как следствие, порождение и жертва – Передонов.

В очередной раз русская литература талантливо высекла «проклятую русскую действительность».

Реалистов понять легко, но куда смотрели символисты?..

В том же журнале «Вопросы жизни» за 1905-ый год (номера 6, 7), где был впервые опубликован «Мелкий бес», печаталась статья Вяч. Иванова «Религия Диониса. Ее происхождение и влияние».

Изображая транс, в который впадают участники дионисовых игрищ, предварительно сбросившие с себя двойное бремя личности и одежды. Вяч. Иванов подчеркивает их «счастливое переполнение души», а также «рвущееся из всех пределов цветущее изобилие радостной природы».

В «Мелком бесе» читаем: «Ослепленный обольщениями личности и отдельного бытия, он (Передонов) не понимал дионисических восторгов, ликующих и вопиющих в природе».

Казалось бы: кому, как не Вяч. Иванову, подать свой голос в защиту романа от искажающих его «дионисическую» природу грубых социально-психологических «обольщений».

Но Вяч. Иванов промолчал.

В 1906-ом году для 1-го тома академического издания «Истории русской литературы» Ал. Блок написал главу «Поэзия заговоров и заклинаний», где обнаруживает толковое и свободное обращение с тем самым материалом русского фольклора, на котором, – как на единственно прочном основании, – зыбится свайная постройка «Мелкого беса».

И что же?.. А ничего. Блок по-прежнему считает роман реалистическим, Передонова – «одним из нас», Недотыкомку – воплощением «ужаса житейской пошлости и обыденщины», т.е. даже не символом, а аллегорией.

XI

В русском языке приставка «недо» означает незавершенность, некачественность, недотянутость лица или явления до принятого уровня («недочеловек»).

В простонародно-брутальной лексике приставка «недо» намертво спаяна со словом «недоделанный» в оскорбительном значении жертвы сексуальной неудачи, поскольку слово «делать» в той же лексике – это эвфемизм глагола, описывающего половой акт.

Внешний языковой слой романа – это нормативный до бесцветности русский литературный язык.

Слой этот, однако, не безнадежно плотен и непроницаем – он постоянно размывается подпочвенными водами диалектных и областных речений.

В этой языковой слободе синонимом глагола «делать» в той сексуальной роли выступает глагол «тыкать», а слово «недоделанный», соответственно, заменяется словом «недотыканный». Стало быть: по законам языка «недотыкомка» – это «недоделанная», по законам романа – символ человеческой недовоплощенности Передонова и его окружения.

Все они воистину недочеловеки: лесная, болотная, подпольная, антропоморфная нечисть, чье место в заговоре, заклинании, волшебной сказке, но не в романе, да еще реалистическом.

Нечувствительный, как и прочие его современники, к мифологическим корням сологубовской символики, Блок почему-то резко расходится с ними в оценке одного лишь эпизода в романе – романа меж девицей Рутиловой и подростком Пыльниковым.

Демократические авторы (особенно А. Горнфельд) расценили обстоятельный и компетентный рассказ о развращении несовершеннолетнего как очередное прискорбное доказательство упадка русской литературы с ее некогда высоконравственными идеалами, тематическим целомудрием и благонамеренными сюжетами.

А вот для Блока позорный эпизод «не имеет себе подобных во всей мировой литературе», его «можно прочесть отдельно, перечитывать как стихи», а «когда читаешь, кажется, смотришь в весеннее окно», «это нестрашная эротика. Здесь все чисто, благоуханно и не стыдится солнечных лучей». Что-то очень личное чувствуется в отношении Блока к истории барышни и гимназиста. Это личное – русский символизм.

ХII

Хотя русский символизм французского происхождения, – очень скоро у этого отпрыска парижских бульваров расширились скулы и заузились глаза. И не мудрено: русский символизм возник в прямом отрицании русской же поэзии 70-90-ых годов, – этого первого наброска советской поэзии 30-50-ых. Уныло обличительная, морализаторская, она подменила образ – сюжетом и ввела ритм, общеобязательный, как воинская повинность: от столиц до самых до окраин – сплошной шестистопный ямб.

Как и следовало ожидать, русский символизм восстал не против гражданственности вообще, но лишь против гражданственности устаревшей – социальной, и предложил гражданственность новую – мистическую (мессианскую), он призвал не к обновлению искусства, но к преображению мира.

К счастью, как и следовало ожидать, обновление мира началось с преобразования текстов.

Если бы не символизм, Пушкин так бы и остался зевающей темой гимназических сочинений, а Достоевский с его пухлыми, как семипудовая купчиха, романами, надолго бы застрял в непролазно провинциальных 70-ых годах...

Остро нуждаясь в новом языке, символисты, в отличие от футуристов, не вкладывали энергию в создание новых слов, – нет, они просто «приватизировали» нужные слова и писали (или произносили) их с большой буквы: Бездна – Маска – Отражение – Зеркало – Жизнь – Смерть – Дух – Демон – Дьявол – Сатана – Бес, Черт – Дама – Роза (мистическая) – Я – Он и т. п.

Таков, примерно, символистский словарь-минимум. Между 1890 и 1917-ым годами «вся образованная Россия», от уездных барышень до столичных марксистов, учила символистское наречие, говорила и думала на нем.

Был символистом и Ленин. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить его ленивую гносеологию – теорию отражения (ср. блоковское: «Устал я шататься промозглым туманом дышать, в чужих зеркалах отражаться...»); взгляд на Льва Толстого как на «Зеркало русской революции», а также постоянно преследующий Ленина образ «всяческой» Маски, которую он настойчиво рекомендует со всех «срывать» (ср. в «Мелком бесе» сцену маскарада с ее кульминацией – срыванием масок).

Одним из чужих зеркал, в котором не уставая отражались символизм и символисты, было «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше.

Переписанная кириллицей, культурология Ницше, как до нее французский символизм, приобрела неузнаваемый, но зато безошибочно русский вид: Аполлон и Дионис из двух равно уважаемых божеств превратились в непримиримых классовых врагов. Сердца и умы русских символистов всецело принадлежали Дионису по той простой причине, что, в противоположность аполлоническому культу личности, дионисийская стихия – это стихия коллективистская, народная.

Если по аполлонической линии русские оказывались поздним дичком, привитым (и так до конца и не привившимся) к европейскому дереву, то с простодушно дионисийствующим народом они выходили в прямые наследники древних греков.

Неслучайно поэтому Ал. Блок, зажмурив глаза на фольклорное, истинно русское языческое «мелкобесье» романа, филологически безупречно возводит эпизод с Людмилой и Сашей к «древней», т.е. греческой, идиллии («Разве только в древней идиллии можно отыскать глубокие его корни»), а их самих называет «заоблачными мещанами, небесными обывателями, подобными земным богам», в которых – слава Богу! – нет «ничего интеллигентного».

Так верили символисты. Так думал Блок. Но думал ли так Сологуб?..

ХІІІ

Цикламен (по-гречески «кикламенос», ботаническое название – «*Cyclamen europaеum*») – цветок с древнеэллинским запахом, «сладкая амброзия», любимец богов: на него садятся пчелы, причастные, как известно, культу Персефоны.

На вопрос Людмилы – чем пахнет цикламен? – Саша Пыльников с утробной школьной прямоотой отвечает: «засахаренным клопом».

Людмила в гневе, но тут же неосторожно сообщает Саше русское наименование греческого цветка – «дряква». К сожалению, только русское ухо способно оценить взрывной фонетический комизм этого слова. Неудивительно, что Саша хохочет, Людмила же сердится еще пуще. И напрасно: идиллический (в древнегреческом смысле) колорит сцены изначально запятнан тем обстоятельством, что на самом деле Людмила дает понюхать Саше не живой цикламен, но французские духи того же названия, изготовленные в Париже фирмой Пивера.

Разматывая дальше ариаднину нить романа, выходим на госпожу Грушину, вырядившуюся в маскарад богиней Дианой. Варвара возьми и спроси: «Что же вы, и ошейник наденете?» Она, оказывается, посчитала богиню Диану собакой Дианкой.

...Что означают все эти метаморфозы цветка древнегреческого – в духи парижские? богини – в собаку? вакханалии – в гнусную драку? – Только одно: пародию, а пародия – всегда полемика, в данном случае – полемика с русским дионисийством и его социальной мистикой.

...Жандарм – любезен, скромн, любим в обществе, никому не делает ненужных неприятностей, прокурор – громок и грозен, но это больше служебная маска, в сущности же – незлобив, нежный отец; предводитель дворянства – воспитан, любезен, нежный отец; директор гимназии – подчеркнуто демократичен (вместе со своей красивой изящной женой наносит визит Передонову и Варваре), морально брезглив (не предлагает им нанести ответный визит), спасает Сашу Пыльникова от гнусных подозрений.

Итак: благородный жандарм (жандарм!), обаятельный прокурор, симпатичный предводитель дворянства, интеллигентный директор гимназии. Все вместе – корректны, любезны (фон – жлобство, хамство, злоба «нижестоящих» персонажей), носители членораздельной, осмысленной, логически подтянутой речи (фон – сдвинутый в безумие язык Передонова и «блеяние» его окруже-

ния); нежные и внимательные родители (фон – ад, в который погружены дети передоновского мира. «Пожалуй, их никогда и не стегают», – дивится Передонов, глядя на предводителей сыновей).

В романе «Мелкий бес», впервые в русской литературе, моральная иерархия совпадает с классовой: чем выше, тем лучше речь, быт, вид.

Человекообразность сологубовского персонажа гарантируется степенью удаленности его от народа.

XIV

Две стихии захлестывают роман: доносы и порка.

Передонов живет в страхе и ожидании доносов. Опасно не бывать в церкви – донесут; что Писарева читал, – донесут; с поляками якшается – донесут. Логика передоновского поведения – опередить в доносе, донести самому, пока не донесли на него.

«Передонов, все более погружаясь в свое помешательство, уже стал писать доносы на карточных фигур, на недотыкомку, на барана, – что он, баран, самозванец, выдал себя за Володина, ... а сам просто баран, – на лесоистребителей, – всю березу вырубил, ...и воспитывать детей трудно».

Перед нами не бред, – перед нами здравый магический смысл: донос необходим, потому что люди – оборотни, их нужно разоблачать, срывать человеческую маску с леших, баранов, русалок, волков, пиковых дам... Но и доносчик знает про себя, что он – такой же оборотень, и его тоже можно (нужно!) вывести на чистую воду.

...Принято (и приятно) считать, что донос, равно как и террор – исключительно прерогатива советской власти. Но сравните «Мелкий бес» с языком «Большого террора»: «перерожденцы», «перевертыши», «оборотни», «волки в овечьей шкуре» – это все о «врагах народа».

Сологуб и сегодня единственный писатель, дающий возможность понять причины массовости «Большого террора»: взрыв коллективного, народного магического сознания. «Большой террор» – это истинная поэзия заговоров и заклинаний.

«Перестройка» и «гласность» в Советском Союзе ознаменовались, в частности, переизданием «Мелкого беса» после семидесяти лет литературного небытия. Что не помешало автору предисловия начать с того же заколдованного места, с которого не могли сдвинуться первые критики романа:

«...острый общественно-политический контекст... острая социальная сатира... от типических пороков школьной системы – к общероссийскому социальному злу...» Все не то и не так: «Мелкий

бес» – это не критика системы народного просвещения, это критика основ народного существования.

Зато автор послесловия и комментариев к роману куда искусенней символистов в отыскании мифологических и фольклорных источников романа. Все эти источники, элементы, намеки, переинтерпретации, – от местных суеверий до библейских аллегорий, по утверждению комментатора, входят в изобразительную систему «Мелкого беса», его поэтику, «художественные средства».

Но миф в романе – это не только поэтика: это политика. Только поняв и признав это, мы поймем, что имел в виду Федор Сологуб, сказав: в Октябрьской революции победили «вчеловеченные звери». В рамках его поэтики это политическое заявление следует понимать буквально.

Федор Сологуб родился в Петербурге 17-го февраля 1863-го года. Его настоящая фамилия – Тетерников – происходит от слова «тетерев»: название лесной, большой, встрепанной птицы.

ЦВЕТАЕВА *

Зимой в том городе молоко продавалось кругами. Если просили пол-круга, молоко рубили топором – нож его не брал. В доме круг начинал подтаивать, как здешнее солнце, тоже замороженное, белое и малое, – к весне. Когда температура с сорока градусов мороза падала до двадцати пяти, – на город наваливались метели.

Снег был добрым ангелом этих приговоренных к жизни мест, он покрывал деревянное убожество черных домишек, глубоко ушедших в себя и в землю.

В России поэт не может считаться подлинно русским, если у него нет стихов о Пушкине и снеге. У нее было много стихов о Пушкине и ни одного о снеге. Попади она сюда зимой, – может, и не пропала бы так безоглядно, с головой, – ведь чистый снег завораживает, как белая бумага. Но этого не случилось. А случилось то, что 21-го августа 1941-го года к пристани Елабуга причалил пароходик, выглядевший так, будто его только что подняли со дна и со сна. По сходням, в полную рифму к пароходнику подгнившим и полузатопленным, сошла Марина Ивановна Цветаева, 1892-го года рождения (Москва), дворянка, и даже вдвойне: личная – по отцу и польской княжеской крови – по матери; в детстве (11-12 лет) получила образование в католических пансионах Лозанны и Фрейбурга, в отрочестве (16 лет) – в Сорбонне (средневековая французская литература); бывшая жительница европейских столиц Праги и Парижа (к этому времени тоже бывших), бывшая эмигрантка, а ныне – эвакуированная советская гражданка (в просторечии беженка), поэтесса, не член Союза Советских Писателей. В одной руке она держала перебинтованный веревками чемодан, другой держалась за 15-летнего сына Георгия (домашнее имя – Мур), не по годам высокого, не к месту красивого.

Приземистый, раскоряченный город лениво сползал к реке, полоскал в ней черные подошвы своих амбаров, сараев, складских помещений. Только и было в нем яркого, что имя: «Елабуга» – по-тюркски – «тигр, красный бык».

* Данная статья представляет собой русский оригинал статьи, написанной по просьбе издательницы израильского журнала «Хадарим», г-жи Ешурун, для специального выпуска, посвященного Марине Цветаевой. Это обстоятельство объясняет некоторые странности статьи – например, «монтаж» стихов Цветаевой вместо обычно принятого прямого цитирования: автор статьи не мог связать себя переводами Цветаевой на иврит – их, во-первых, очень немного, и они, во-вторых, не всегда соответствуют замыслу повествования. С другой стороны, представляется, что такой «монтаж» (или «коллаж») стихов Цветаевой уместен и в русской публикации, поскольку он открывает какие-то новые возможности их восприятия – *М.К.*

Не скрываясь, не прикидываясь, Елабуга сразу показалась тем, чем вскорости оказалась: могилой. Впрочем, с могилой вышла неувязка – не нашли могилу, слишком много и многих схоронили в 41-ом году на елабужском кладбище. Вместо могилы – надпись на кресте: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева. 26 сентября (ст. ст.) 1892 – 31 августа 1941 г.»

Надписью Цветаева осталась бы довольна. Язык, в который она верила, как иные верят в Бога, и на этот раз не подвел ее: в русском языке слово «сторона» означает не только направление, это еще и родина, «родимая сторона», край, где родился.

Значит: похоронена в России.

Россия третий месяц воевала. И отступала, откатывалась в Азию. Неподалеку от ее северной (уральской) границы прилепилась Елабуга.

Война в Елабуге чувствовалась меньше, а местным людом, скорей всего, не чувствовалась вообще. Здесь давно уже жили так, будто война никогда не кончалась, – только неба и воды вдоволь, всего остального – в обрез. Вечный недород жизни, вечный урожай вещей. Здесь даже нищая Цветаева выглядела богачкой. Хозяйка дома, где за фанерной перегородкой, обклеенной старыми газетами и «фантиками» от конфет, десять дней прожила Цветаева с сыном, и четверть века спустя помнила, что было у жилички в чемодане в день приезда: два кило муки, крупа, 400 грамм сахару (по другим показаниям – килограмм), несколько серебряных ложек.

И четверть века спустя никак не могла хозяйка понять, как при эдаком-то богатстве вдруг взять и – удавиться: «Вещей у нее было много... могла бы еще продержаться».

И с той жестокостью, которую принято называть народной мудростью, прибавила: «Успела бы, когда бы все съели...».

Еду Цветаева не любила. Не любила и человека едящего. Это больше, чем эстетика – это поэтика: цветаевские стихи пробуют мир на слух, на глаз и никогда – на вкус.

Невозможно, чтобы в ее стихах вдруг свежо и остро запахло морем устрицы, как в стихах Ахматовой; она бы ни за что не зарифмовала сыр с икрой, как поздний Пастернак; у Мандельштама снег пахнет яблоком, у Цветаевой мороз – Флоренцией.

Есть места, в которые Цветаеву не загонишь никаким подвигом воображения. Ресторан, например. Но и музей, картинная галерея, вернисаж – тоже. Живописи в ее поэзии нет. В прозе есть: эссе о художнице Наталье Гончаровой («Наталья Гончарова»), – самая

большая прозаическая неудача Цветаевой. Она даже не потрудилась (или не смогла) утаить, что для нее единственная чара живописи Гончаровой – это совпадение ее имени с именем пушкинской жены. Зато самая большая удача – «Пленный дух»: гениальная проза – воспоминание об Андрее Белом, наиболее голосовом, голосащем из русских поэтов.

В сущности, глаз для Цветаевой – вспомогательный орган, еще одно ухо; главное – не видеть, а слышать, слушать: музыку – язык – речь – слово. Слово же неосвязаемо и невкушаемо.

Совсем девочкой записала в дневнике: «Люди, слишком занятые своим здоровьем, мне противны... После обеда люди всегда глупеют... Разве сытому человеку придет в голову что-нибудь необыкновенное?»

В простодушном начале века еда так же полагалась залогом здоровья, как ныне – гарантией болезней. Уверена: живи Цветаева в наши дни, она бы аплодировала обжоре, с каждым куском пирожного добровольно приближающему свою смерть, а мучеников диеты, что приманывают долголетие, как кролика морковкой – презирала...

(Словно в назидание и насмешку она всю жизнь прометалась между двумя столами – письменным и кухонным.) Столу Цветаева посвятила один из лучших своих циклов. Он так и называется: «Стол».

Стол: вьючный мул, дубовый противовес всем низостям жизни, сосновый в грошовом лаке, с кольцом в ноздрях, садовый, бильярдный, – все равно, лишь бы дал опору двум локтям; самый надежный стол – собственные колени: поэт устойчив: ему всякий стол – престол. Стол: огненный столб для бредущих в пустыне евреев. Стол: четыре ноги упорства.

Стол: конь – бег – в вечность. Стол: человек, самый любимый из всех. Стол: единственное оправдание смерти дерева, из которого он сделан, ибо стол поэта – тот же ствол с корнями до дна земли.

Стол: учит бессмертию и приучает к смерти.

Долг в Цветаевой соседствовал с даром, но не дружил с ним. В письмах она часто жалуется, что еда (читай семья) заедает ей жизнь.

Все же поэту Цветаевой еда претила не как быт, а как знак: сытости, плотности, звуконепроницаемости. Сытый – мертвый; с этой верой жила и писала долгие годы.

В юности была хороша собой необычайно, о чем в один голос твердят воспоминания и фотографии. И уродовала себя, как и чем только могла: стриглась накоротко, брилась наголо, на себя, семнадцатилетнюю, напяливала очки, без которых обходилась и в сорок семь, – что угодно, лишь бы выглядеть бледнее лицом, беднее телом...

Ее молодое ликующее здоровье было тем удивительней, что мать, Мария Александровна, красавица и музыкантша, умерла от чахотки тридцати семи лет отроду.

А чахотка почему-то была у Ахматовой.

О! Как завидовала Марина на всю Россию прославленной ахматовской худобе!.. А это ее чудное легкое покашливание, словно врывающийся в речь язык небытия? А лихорадочный блеск глаз?..

Из Петербурга в Москву гетевой балладой доносились обрывки разговоров:

– Анна Андреевна, вам нездоровится? Вы кашляете?.. У вас – простуда?

– Это не простуда – это чахотка. Не обращайтесь внимания. Да, так о чем это мы говорили?

И – нырком в шаль, уже воспетую Блоком и тем причисленную к лику святых вещей: плащ Байрона, треуголка Наполеона, крылатка Пушкина, веер Кармен...

Ахматова была вся – в профиль. Себя же Марина чувствовала плотью, развернутой анфас.

Подходила к зеркалу и ненавидела свое отражение: румянец во всю щеку, ахматовский мизинец – и тот длиннее ее ладони, пальцы толстые. «У-у!.. Купчиха!..»

С годами ей все же удалось перевоспитать тело, приспособить к душе. Стала худой, прямой, бледно-смуглой, не столько подобранной, сколько напряженной, сжатой... Словом – какой хотела. Обстоятельства ей в том сильно способствовали.

Послереволюционный быт Цветаевой – непомерно тяжелый, но не всегда обидный, не обязательно оскорбительный.

На что она могла жаловаться в страшные московские зимы 18-20 годов, когда буквально вся русская литература вымерзала, в Петербурге умер от голода Александр Блок, а другой великий символист, Андрей Белый, закатил истерику представителям рабоче-крестьянской власти, крича: «Хочу селедку!»?!.. Она и не жаловалась.

Зато в Германии, куда она эмигрировала с десятилетней дочкой Алей в 1922-ом году, было не только не обидно и не оскорбительно, но даже и не трудно.

Каждый день на перроны Потсдамского вокзала поезда выбрасывали русских эмигрантов с узлами, семьями, эмалированными чайниками и неостывшим ужасом в глазах.

Прямо с вокзала каждый второй устремлялся в издательство – пристроить рукопись. Русских издательств в Берлине было столько, что на каждого писателя приходилось по два издателя.

Русская литература заседала в кафе «Прагердиле» на Прагер-плаце. Петербургская – спиной к залу, московская – лицом. Пили вино, кофе, пиво, читали стихи, дружили навеки, ссорились навсегда, читали стихи...

Случалось, по дороге в бильярдную зал пересекал мало кому известный надменный молодой человек с английским пробором в вызывающе невострепанных волосах.

Тогда происходило неземное: литераторы начинали расплываться, терять трехмерность и уходить: одни – в главные, другие – в придаточные предложения. Это Владимир Набоков на ходу создавал свой ненаписанный, но уже гениальный роман «Дар».

В дансингах танцуют фокстрот, чарльстон, шимми... Иногда врывается Андрей Белый – весь в кудрях и сиянии, – и при полном оцепенении присутствующих, включая оркестрантов, заходится в диком танце.

Пишет Марина Цветаева: «На него смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу, после занавеса, бросая его одного, как огромный императорский театр, где остаются одни мыши».

Пишет Андрей Белый: «Глубокоуважаемая Марина Ивановна. Дозвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией Вашей книги «Разлука».

Я весь вечер читаю – почти вслух; и потом распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения».

Роман без влюбленности меж Белым и Цветаевой длится три недели, по страстности превосходя многие любви.

Но даже в этом романе-дружке, редком романе равных (оба поэты, оба – великие) проскальзывает роковое и типичное для судьбы Цветаевой неравенство. Ее вклад – значительней: безоглядная сосредоточенность души и памяти, длинное – в шестьдесят страниц прозы – дыхание, в результате – нетленной красоты, невыцветающий от времени «словесный портрет» Андрея Белого.

У него: проходное, в 13 строк, стихотворение, в котором только одна строка просится в эпитафию: «Неосязаемые угодия Ваших образов».

И все же Андрей Белый, третье лицо в «пресвятой троице» русского символизма (Брюсов – «бог-отец», Александр Блок – «сын», Андрей Белый, конечно же, «дух святой», хоть и «пленный») –

первый и последний из уходящего в прошлое поколения символистов, больше, чем признавший, – услышавший поэта Цветаеву.

Таков реальный итог встречи. Но есть у нее еще и метафизическое измерение. В нем Ан. Белый так же «женится» на Марине Цветаевой, как несколькими годами раньше Ал. Блок «женится» на Анне Ахматовой.

С появлением двух этих великих поэтесс русская поэзия более не однопола. Отныне мужское начало поэтического слова уже не вынуждено отыскивать свою «половину» среди чужого племени обычных земных женщин.

Оставшись молодыми «вдовами» русского символизма, Ахматова и Цветаева в ближайшее десятилетие вступают в новые «браки»: Ахматова – с Мандельштамом, Цветаева – с Пастернаком.

(Не обходилось, конечно, и без земных примесей: Цветаева была еще и влюблена в Пастернака, Мандельштам – бывало – неравнодушен к Ахматовой, чему свидетельство – две книги Надежды Мандельштам. Обе они, в сущности, – яростная попытка ревности, стремление доказать, что не только Ахматова, но и она (или только она) была истинной, в духе и в слове женой Мандельштама. Но именно этот диалог, на самом деле – скандал между нею, еще живущей, и им, уже бессмертным превращает Надежду Мандельштам из автора воспоминаний о поэте в подлинного поэта воспоминающий).

...Отношения с Ан. Белым в жизни Цветаевой должно считать исключением почти счастливым. Дальше было хуже. Она вслушивалась в своих гениальных сверстников и современников – Маяковского, Пастернака, Мандельштама, Ахматову, – куда внимательней и любовней, чем они – в нее.

Но вот что странно: все они (за вычетом Маяковского) тянулись и приближались к Цветаевой по мере приближения к собственной смерти: Мандельштам в стихах второй половины 30-х годов, незадолго до ареста и гибели, Пастернак – в воспоминаниях второй половины 50-х (умер в 1960-ом), Ахматова – в стихах, прозе и разговорах тех же лет (умерла в 1964-ом). Как будто было в Марине нечто такое, отчего быть и жить в ее присутствии становилось неловко. Но когда сохранять и терять уже нечего, когда смерть из условного наклонения переходит в повелительное – ее вспоминают, зовут, впускают в память и в сердце, как ледяной воздух в комнату догорающего в жару больного, которому ничто не мешает и ничего не поможет.

Все тридцать лет, от первой встречи до последней разлуки с мужем своим, Сергеем Яковлевичем Эфроном, Цветаева была – на

«Вы». Дочь Аля, Ариадна, тоже говорила матери «Вы» и обращалась по имени: «Марина». Сын Георгий – тоже.

Это – не каприз и не снобизм, – это граница, установленная именно там, где ее отсутствие почитается нормой, если не идеалом: в семье.

Неуклонно пытавшаяся завоевать чужие души, Цветаева была неумолима в охране и защите собственной.

Покушаются в первую очередь близкие, перед ними в первую очередь и опускается шлагбаум: «Стоп!» – это «Вы», а вместо кровно-безличного: «мама», – имя собственное: «Марина».

К семье вообще, не обязательно своей, но и своей – тоже, относилась холодно, трезво и даже с каким-то неожиданным в ней прагматизмом:

«Семья... Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется... Не лучше ли друг, любовник? Но, поссорившись с братом, я все-таки вправе сказать: “Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат...” (сын, отец). А любовнику этого не скажешь, – ни за что – язык отрежешь.

В крови гнездящееся право интонации». (Из дневниковых записей.)

Но с таким отношением ее же собственное поведение – в вечной разлуке.

Воспоминания и письма неизменно застают Цветаеву с кошелкой, пустой по дороге на рынок и отрывающей тяжестью руку по дороге с рынка домой, в дому, «варка Мурке каши, одеванье и раздеванье, гулянье, купанье» – это когда Георгий маленький, и всегда – керосинка (квартиры с газовыми плитами не по карману), чад, пар, угар: Марина жарит котлеты; мучительная стирка в тазу; утюг, похожий на средневековое орудие пытки, но заржавленное (подобран из жалости на Блошином рынке, как подбирают котенка или скворца с перебитой лапой); глажка с дымом и дырами на одном краю стола, на другом – неубранная посуда, на третьем и четвертом – рукописи...

Единственное оправдание такого ада – бедность: «Большая просьба, м. б., нескромная: не найдется ли у кого-нибудь в Вашем окружении простого стирающегося платья? Я всю зиму жила в одном, шерстяном, уже расползшемся по швам...» (из письма к Алине Тесковой, чешской приятельнице и покровительнице Цветаевой.)

Но есть ли оправдание самой бедности?

Последнее, что напишет Цветаева – это письмо Союзу писателей с просьбой – помочь ей устроиться судомойкой в писательской столовой. А в эмиграции, на Западе, она не соглашалась ни корректировать, ни редактировать, ни рецензировать чужие рукописи и книги, ни переводить с французского на русский, или с русского на немецкий, – и то, и другое было нее одинаково легко.

Первое, почти младенческое словораздельное впечатление – мать, поющая за роялем Шуберта по-немецки. Так навсегда и осталось: немецкий – не просто язык детства, но – детство языка, любого – музыка.

По-французски писала так же свободно, как Набоков по-английски.

В России сейчас издаются, добытые из архивов, ее эссе, очерки, мемуары, против многих указано: «Перевод с французского». Русских издательств в эмиграции всегда было много, нерусских – еще больше. (Муж, Сергей Эфрон, тоже свободно владел европейскими языками, но его до поры, до времени мы выносим за скобки. В скобках остается Марина с детьми.) В чем же дело?

Отвечают воспоминания, письма, живые свидетели парижских лет цветаевской жизни, с которыми я еще успела встретиться и переговорить в Париже в конце 70-х годов:

Не хотела работать – хотела нам всем быть упреком и укоризной – мы не сумели ее оценить – не полюбили – не удержали от губельного возвращения в Россию – толкнули -- никогда не простим – резкая, надменная – ужасный характер – задевала и обижала даже тех, кто хотел ей помочь – выставляла свою бедность напоказ – жила назло всем – все были бедны, но... не хотела работать – хотела нам всем быть упреком и укоризной...

Но не последняя. Правда, причина, разгадка, оправдание – ее стихи, проза, письма, все – от открыток знакомым до многостраничных посланий Рильке и Пастернаку, – тоже проза, всегда блистательная.

...В русском языке достаточно в слове «пишет» заменить «и» на «а», чтобы превратить пишущего – в пашущего, поэта – в землепашца.

В одном из ранних стихотворений Марина Цветаева поддалась фонетическому соблазну и поставила два эти слова рядом: «в поте пишущий, в поте пашущий». Она не сравнивает поэтический труд с крестьянским, – она их уравнивает (в правах). О себе прямо говорила: «Я деревня, черная земля, чернозем и – белая бумага».

Так проступает вызывающий почтительное восхищение образ: «труженица пера», прикованная к столу и бумаге, как пахарь – к плугу и пашне. Мемуаристы подтверждают: «Цветаева не любила, когда к ней приходили днем и отрывали от работы. Работала она неистово».

В общем, как провозглашал ее старший современник, «отец-основатель» русского символизма Валерий Брюсов: «Единое счастье – работа, в полях, за станком, за столом, работа до жаркого пота...»

Ему, Валерию Брюсову, посвятила Цветаева одну из самых своих известных – и уже классических – работ: «Герой труда» (1925-й год, Париж). Непосредственный повод к статье – смерть Брюсова (1925-й год, Москва), что естественно предопределяет жанр: некролог. И это, действительно, некролог.

Как всегда, когда дело у нее шло не о жизни, но о литературе, Цветаева одержала полную победу: благодаря ей Брюсов и по сей день изгнан из читательских сердец и находит себе приют только в многотомных историях русской литературы, литературных энциклопедиях, справочниках, академических монографиях и домике-музее.

А как был любим когда-то!.. Ему подражали начинающие поэты, из-за него травились, стрелялись, сходили с ума начинающие поэтессы... Именно тогда, в годы юности века – (в моде символизм, демонизм, эфир, кокаин, прическа «собачьи уши», русские сарафаны, мордовские сарафаны, платья в стиле императрицы Елизаветы, – такие носила и Марина), – Брюсов в печати довольно кисло отозвался на первый поэтический сборник 18-летней Цветаевой: «... не поэтические создания, но страницы личного дневника... тратит свое дарование на ненужные безделушки...»

Цветаеву часто упрекали в неблагодарности, но никогда не обвиняли в неблагодарстве. Она не сводит личные счеты с мертвым, что было бы неблагодарно, – она бросает вызов тому вечно живому представлению о поэте и поэзии, бессмертным воплощением которого стал для нее Валерий Брюсов.

Уже само название статьи – прямое издевательство: «герой» и «труд» для Цветаевой куда более несовместимы, чем гений и злодейство.

Поэт может – должен! – быть (стать) героем, но никогда трудящимся; Труд – напряжение, пот; Поэзия – «дуновение вдохновения»; Труд – необходимость или выбор необходимости: хочу трудиться, потому что иначе нельзя; Поэзия – принуждение, иначе называемое вдохновением: «Не могу иначе, хотел бы, но – не могу...»; Труд – это вес, счет, мера; Поэт обманывает вес и счет; Труд – это Кант; Поэт бьет Канта наголову; Труд согревает; Поэзия жжет; Труд возвращает; Поэзия – реет, взрывает, взламывает; трудящийся – законный отпрыск и наследник; Поэт – сирота, нищий, кому свалочная яма – дом; рифма к Поэту – пария, Иов; Поэт невесом в мире гирь, безмерен в мире мер...

Проступает образ, навевающий даже не почтительное восхищение, а священный трепет: Сивилла, пифия, жрица, склонившаяся над словом, как над внутренностями жертвенного животного.

Мемуарист подтверждает: «Писала, как колдовала, запершись у себя с утра после суррогатного чая с оладьями из отрубей».

Понятно, что не тот это образ и поза не та, чтобы корпеть над заказными рецензиями, переводами, редактурами.

Непонятно другое. Цветаева с гордостью писала о себе: «Я знаю, что Венера – дело рук, ремесленник – я знаю ремесло». И это правда: ремесло она знала. Она умела сжать десятилетия утраченного времени в страницу точной прозы; чужую речь, от княжеской до крестьянской, передавала так, как это удавалось только большим реалистам, но им в упрек и в обход видела вещи и быт в фантастическом ракурсе, заставляющем вспомнить Гоголя и Диккенса.

Пример – первый попавшийся.

«А комната – трущоба! берлога! Эта дрянь, рвань, стклянь...Эти ошметки, оплевки, оглодки...

Эта комната – центр которой – туфли, эта туфля посреди пола, царственным, по бесстрастию, жестом ноги отлетающая в потолок! Это отсутствие здравого смысла в комнате. Скелет быта».

Такую прозу, с открытиями в каждой строке, извлекают не из сумрака, трепета и лепета, но освещая даже те углы сознания, где и так контрольные лампочки никогда не выключаются.

Но это – проза. Может быть, со стихами – иначе?.. Вот знаменитая «Поэма конца», вся – стон, вопль, шаманство, от первой до последней строчки – сплошной вздох без выдоха, скрябинская «Поэма экстаза», положенная на слова. Такое пишется залпом, в одну ночь, а утром, гася шторой солнце, поэт пугается своего отражения в зеркале и шепчет перекуренными губами: «Сегодня ночью я был гений».

Смотрим дату в конце «Поэмы конца»: 1 февраля – 8 июля 1924 года. Четыре месяца... Четыре месяца в экстазе не бьются.

Итак: «труженица пера» – это не демократическая выдумка.

Но и жрица чистого искусства – тоже не романтическая фальшивка.

Труженицу со жрицей еще можно как-то соединить, хотя бы через дефис. Но как совместить их обеих с этими руками, огрубевшими и потемневшими от стирок, чисток, моек, со всей адской кухней цветаевского быта?

«...Как писать, когда с утра я должна идти на рынок, покупать еду, выбирать, рассчитывать, чтобы хватило – и вот, все найдя, тащусь с кошелкой, зная, что утро потеряно... и когда все накормлены, все убрано – я лежу вот так, вся пустая, ни одной строки! А утром так рвусь к столу – и это изо дня в день!..»

Мораль: жена и мать побеждает в женщине поэта, даже такого, как Марина Цветаева.

... В 1920-м году на руках у Марины две дочери: восьмилетняя Аля и трехлетняя Ирина.

К трем годам Ирина почти не разговаривает, плохо держит непомерно большую красивую голову, постоянно раскачивается, что-то шепчет, поет – голос и слух изумительные...

Быт разрушен у всех – второй год революции! – но у Марины он не разрушен, – он уничтожен, взорван; в доме нет ни хлеба, ни крупы, ни одежды, ни дров на зиму. В сущности, нет и дома, – есть разводящиеся друг с другом стены и потолок, сквозь который видно звезды.

Цветаева отдает девочек в детский приют, очень скоро забирает оттуда заболевшую Алю, иступленно выхаживает ее и только случайно (да! случайно! – так в ее собственных письмах) узнает, что Ирина умерла. На похороны Цветаева не поехала – у Али в этот день была высокая температура.

От Ирины осталось несколько фотографий и одно Марино стихотворение, неуверенно оплакивающее ее смерть. Это был сознательный выбор: в жертву старшей дочери – сильной – Марина принесла – слабую.

...1925-й год. В деревню под Прагой, где Цветаева живет с мужем, дочерью и новорожденным сыном Георгием, приезжает ее молодая приятельница и страстная поклонница. Проводит день и уезжает потрясенная. Но не бедностью семьи и не новыми стихами Марины, а положением Али. Недавний вундеркинд, «Мозарт в юбке», о которой по литературной Москве разносились страшные слухи (в пять лет довела до сердечного припадка Илью Эренбурга чтением наизусть третьего тома стихотворений Блока, в семь – подсказывала по ночам Марине рифмы и метафоры) – она превращена в помесь Золушки с Козеттой: таскает ведра с водой, стряпает, стирает пеленки, топит печь, не ходит в школу – некогда и не в чем.

На почтительное недоумение поклонницы Марина отвечает холодно, жестко, резко:

«Из Али еще неизвестно, что будет, а я – уже есть, уже состоялась. Не дели она со мной заботы по дому, – я бы не написала стихов, которыми вы так восхищаетесь. А могла бы – лучше, еще больше...»

Выбор тот же, что в Москве: слабый – в жертву сильному.

...Цветаеву припоминают, вспоминают, помнят: вдохновенной, великолепной, блистательной, умной, беспощадно резкой, неотразимо ироничной, но никто никогда не слышал ее смеха, больше: не видел улыбки. В лучшем случае – некий жест, движение рта в сторону усмешки.

Но особенно надменно и сухо кривила Марина тонкие губы, когда с ней заговаривали, – а заговаривали часто, – о Боге, душе, Христе, бессмертии...

Иной начинающий собеседник с наивным самодовольством верующего вдруг начинал великодушествовать:

– Ничего, Марина Ивановна, за Вас я спокоен: верующий служит Богу по-своему, Вы – по-своему...

Марина Ивановна (дымя папиромой, звеня браслетами, злобно и страстно) :

– Ни-че-го подобного! Когда я пишу поэму – никакому Богу не служу – метру служу! Когда пишу татар в просторах или ветер в деревьях, – тоже никакому Богу не служу – ветру служу! Простору! Дереву! Когда же мы наконец научимся различать, какие силы im Spiel (в игре) ?!..

Если и это не помогало, она цитировала, – никогда не повторяясь – «Мэра города Бордо», – так Цветаева именвала Монтеня.

Доверять этой скептической маске не стоит: в Цветаевой не текло ни капли прохладной крови французского атеизма, атеизма пудренных париков, томиков «Энциклопедии» в сафьяновых переплетах, атеизма прозрачного, как полдень в версальских аллеях, изящного и продуманного, как Трианон, и столь игрового, что даже Бог в виде какого-то последнего «джокера» допускался правилами игры. (Богу от Вольтера.)

Такой аристократический атеизм подчеркнуто исповедовал на судьбу разошедшийся с Цветаевой Владимир Набоков. Но никогда – вслед за ним – Цветаева не сказала бы про Бога: «Этот господин», – скорей бы язык себе отрезала.

Тогда: зачем Монтень?

«Душа – тело»... Эта вертикальная проблема, на которой веками корчится христианская мысль, не организует и не пронизывает прозу, поэзию и правду в жизни Цветаевой, но каким-то всегда погромыхивающим эхом присутствует на ее горизонте.

В дневниковых заметках 1919-го года, спешно, но уверенно примеряя на себя свое будущее – Цветаева размышляет:

«Смерть страшна только телу. Душа ее не мыслит. Поэтому в самоубийстве тело – единственный герой. ...Героизм души – жить, героизм тела – умереть».

В обычном теологическом пасьянсе (душа-тело-христианство-эллинизм-Бог-Дьявол) Цветаева смешивает карты и все затертые пары заменяет одной марьяжной: Бог – Поэт (религия – поэзия),

«Если хочешь служить Богу или людям, вообще хочешь служить, делать дело добра, поступай в Армию Спасения или еще куда-нибудь – и брось стихи» («Искусство при свете совести»).

Потомки обычно пленяются в поэте тем, что раздражает и отталкивает современников.

А в Цветаевой современников раздражало и отталкивало многое: и то, что браслеты и кольца у ней – дешевые, как у цыганки; и что курила – жадно, и что говорила – много. – («Да и говорила она как-то странно, словно какой то стихотворной прозой, что ли, каким то “белым стихом”»), и что с гордостью заявляла: «Я умею только писать стихи и готовить плохой обед», – («...так уж лучше б не готовила. Ей Богу!..»); и что в Бога не верила, – в эмиграции это было не принято: от атеизма до большевизма – пол-шага.

Потомки восхищаются: «...смирненное служение русскому слову... верность своему поэтическому призванию... поэтический долг... свыше...» По мне – лучше раздражение, чем такое восхищение: о каком поэте нельзя сказать то же самое? А если нельзя – какой же это поэт?!

Не была Цветаева «смирненна» ни в чем, и так же не «служила» «русскому слову», как не служила в редакции, конторе, канцелярии. Она не служила поэзии, – она ее исповедовала: как религию. А Бога не отрицала, – отвергала. Это не атеизм, даже не богоборчество, это сознательное богоотступничество: да, есть, да, существует... Но мне – не нужен: «кто поет, тот не молится». А где Бог, – там и мораль, и нравственность, и совесть, но: «искусство – это атрофия совести». Говорите – грех?.. Знаю, что грех, и – «посему мне прощенья нет. Только с таких как я, на Страшном суде и спросится. Но если есть Страшный суд слова – на нем я чиста» («Искусство при свете совести»).

Цветаева в семью ушла – как в монастырь: от мира. Мера ее любви к семье – это мера ее нелюбви к миру. Оправданием ухода была поэзия – искусство – искус – соблазн; искуплением поэзии стал для нее быт.

Иступленность стирок, фанатизм обедов: не быт – аскеза, покаяние.

В довершение несчастья на семью обрушилась не только религиозность житейской прозы Цветаевой, но и ее «любовная лирика»: с каждым из близких – с мужем, дочерью, сыном, – Марина пережила «роман», страстный в начале, страшный – в конце.

...Але, маленькой, Цветаева посвятила множество стихов – убаюкивающих, успокаивающих, восхищенных, мечтательных: глаза у дочери – лед, брови у нее – роковые, и вся она – лебеденок, а когда вырастет – будет тонкой, невинной, прелестной, пленительной, амазонкой, царицей балов, героиней поэм, но главное – поэтессой, такой, как мать, только лучше

Стихи семилетней Али Цветаева особым разделом поместила в свой сборник «Психея» (1923 г.). Все они – Марина, Марине, Мариной...

Но уже о двенадцатилетней Але Цветаева с горечью и отчуждением пишет в одном из писем:

«Аля взрослеет, простеет, пустеет».

Здесь я останавливаюсь. Почему?.. Почему именно об эту фразу, эту тройственную формулу отречения от дочери – (взрослость-простота-пустота) – вдруг расшибся налаженный ход повествования? Почему здесь, а не тремя абзацами раньше, где так непрощаемо жестоко умерла маленькая Ирина?

(Ту выбоину я проскочила зажмурясь, там – я не судья, глубину той пропасти дано измерить лишь тому, кто хоть однажды приближался к ее краю.)

Но здесь, на этом ущербном повороте алиной и марининой судеб, меня останавливает не моральный «затор», не психологический барьер, короче: не чувства, но – числа: 7-9-10-12; от семи до двенадцати между двенадцатью и семью ..

Где-то в стороне от молочной области материнства и детства с этими цифрами уже что-то происходило... Число и слово? Поэт и девочка?.. Не Данте, влюбившийся в девятилетнюю Беатриче, не Петрарка, потерявший голову от белокурой двенадцатилетней Лаурины, – нет, есть еще один, другой, иной, для кого девочка не продолжается, а умирает в женщине, и уже в двенадцать лет начинается это умирание; для кого время, как гетевский лесной царь, уволакивает ребенка в сумрачный лес взрослой жизни, и он, этот таинственный другой, сидя на скамейке в парижском парке, отчаянно молит (лесного ли царя? небесного?): «О, пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея!»

И вот рядом с призраком Марины, тающим от любви к семилетней Але и леденеющим от равнодушия к двенадцатилетней, присаживается на парковую скамью чуждый всему, худой нарядный джентльмен в бархатном пиджаке, растлитель и убийца – Гумберт Гумберт.

Им есть, о чем поговорить: о нечеловеческой природе творчества, ее извращенных ландшафтах, противоестественном климате, однополых веснах, мазохистских зимах и волчьей тоске по человеку.

Сочиняющая «маринины» стихи семилетняя Аля – «нимфетка» – от литературы.

Непомерная тяжесть слова так же корежит Алино детство, как преждевременная жизнь тела – Лолиту.

У Марины и Гумберта Г. одно на уме: отдалить ребенка от мира людей, отделить от сверстников, полностью присвоить себе с жадностью тем более торопливой, что оба, она – поэт и он – сумасшедший – ясно видят впереди неотвратимую теневую черту: возраст. Оба пристально следят признаки смертельного роста; чувствительный Г. Гумберт – с болью и жалостью, суровая Марина – заранее отвыкая, разлюбляя: «взрослеет – простеет»...

Впрочем, она еще пробует бороться, крадет у жизни, как чужое добро, собственную дочь: Аля не ходит в школу, поскольку обязана разделять с ней, Мариной, тяготы домашнего быта. Жестоко, цинично, но – логично. А ведь это ложь!.. Через несколько лет со сверхъестественно любимым сыном повторяется та же история, о чем Цветаева не столько рассказала, сколько проговорила:

«... Меня судят за то, что я своего шестилетнего сына не отдаю в школу (на все шесть утренних часов подряд!), не понимая, что не отдаю-то я его именно потому, что пишу стихи. А пишу-то такие стихи именно потому, что не отдаю» («Искусство при свете совести»).

Обратим внимание на слово «судят» (не «осуждают», как ожидалось бы, но по-гумбертовски откровенно: «меня судят» – как преступника); эпитет к стихам: «такие» (речь, стало быть, идет не о стихах вообще, но особенных, ее, цветаевских); и – на загнанный в скобки вопль: «на все шесть утренних часов!»

А ведь сама же жалуется непрерывно, что в утренние, самые лучшие часы ее так тянет к столу – писать, но – не дают!

Но – завтрак! но – обед!..

Казалось бы: вот они, эти шесть драгоценных утренних часов, лежат на столе, как бумага, и дожидаются своего часа: Аля – в учи-

лице, муж – неизвестно где, сын в школе – пиши!.. Нет: не пускаю, потому что пишу, пишу – потому что не пускаю.

Если это непостижимое логикой зияние между писанием стихов и непущанием детей в школу мы заполним ревнивыми муками Г. Г., подглядывающего за Лолитой в окружении простушек-сверстниц, – мы увидим тот круг нечеловеческого, которым обвела себя Цветаева, и наконец-то поймем, о чем на самом деле написана «Лолита».

Как сектанты всех религий намертво стоят между своими детьми и школой, как прячут их от мира и мирских соблазнов, как хранят в чистоте и темноте своих фанатичных вер, – так Цветаева пыталась сберечь своих детей для самой беспощадной веры – поэзии.

Не уберегла.

Этого материнского разочарования Аля Цветаевой не простила. Мечь осуществлялась поэтапно: сначала (в Париже) она закончила училище прикладного искусства при Луврском музее, что было прямым вызовом ревнивому мариному культу слова, а с 18 лет с головой ушла, – как уходят из семьи, – в мир отцовских интересов. С отцом очутилась в России, два года на свободе, а затем 18 лет – в лагерях и ссылках. (Одно из мест ссылки – Туруханск – сильно приблизило ее к товарищу Сталину: он тоже был сослан туда до революции, но быстро сбежал. Але бежать было некуда.)

Из ссылки, в течение 10 лет, Аля писала письма Борису Пастернаку. Они изданы. Читать их, зная дату смерти Цветаевой и сверяя ее с датами писем, – переживание почти мистическое: кажется, что это мариныны письма с того света. Все в них – цветаевское: стиль, ум, ворожение словом, жесткость взгляда, точность формулировок... Отличие одно: письма Али безупречны по вкусу, которому Цветаева, как и положено гению, изменяла постоянно и безоглядно, – патетической избыточностью, истерикой восклицательных и вопросительных знаков, бегством в скобки и кавычки, толкучкой тире...

Пастернак в восторге от алиных писем, он называет ее настоящим писателем и призывает всерьез заняться литературой. Она сдержанно отвечает, что литератором себя никогда не считала, пастернаковских же восхищений не понимает и не принимает. Это не скромность, – это правда: Аля писала, видела, думала на том единственном языке, который знала с детства – цветаевском, не подозревая, что есть другой – русский.

Именно по письмам Ариадны Эфрон мы можем понять, что Цветаева не начинала быть поэтом, присаживаясь к письменному столу, и не переставала им быть, вставая из-за стола – она едина и не делима на слово поэтическое и слово бытовое, она добывает

стих из потока собственной внутренней, неостановимой и только дочерью восстановленной речи.

Из писем исчезла Марина: у взрослеющей, а потом и стареющей Али впервые появилась – мама:

«Я все маму вспоминаю, Борис. Я помню ее очень хорошо, я вижу ее во сне каждую ночь. Наверно, она обо мне заботится – я все еще живу.

...Я разлучена с мамиными рукописями, я лишена возможности разыскать и восстановить недостающие. Я ничего не сделала для нее живой, и для мертвой не могу».

...Я познакомилась с Ариадной Сергеевной году в 63-м и провела в ее присутствии три часа. Несмотря на все мои старания, я, видимо, не сумела скрыть, что ищу в ней Цветаеву, и ей это было неприятно. Я тоже была разочарована: в ее лице странно уживались, не сталкиваясь и не оспаривая друг друга, юность и старость – промежуток исчез, не отпечатался. Но я к тому времени таких лиц навидалась много: то были лица людей, попавших в ГУЛАГ в молодости и вышедших оттуда – к старости.

Лица, как книга, в которой есть начало и конец, а середина – выдрана.

Ариадна Сергеевна Эфрон скончалась от сердечного приступа 25 июля 1975 года.

Ей повезло: в отличие от брата, похороненного в общей солдатской могиле под деревней Друйки, что на западном берегу Двины; матери, затерявшейся на Елабужском кладбище; отца, просто сброшенного в какую-то расстрельную яму под Москвой, – у нее, единственной из всей семьи, есть отдельная, а не коммунальная могила.

Ариадна Сергеевна Эфрон похоронена на кладбище старинного русского города Таруса, на высоком берегу реки Оки, на том самом месте, где давным-давно, совсем еще молоденькой девушкой, мечтала лежать Марина.

Завершенная жизнь – это утешительный опыт повторного чтения – чтения с конца.

Равно невозможно: остановить поезд за фразу до того, как колеса пройдутся по Анне Карениной; выступив адвокатом Иозефа К.,

выиграть процесс; отговорить Цветаеву от возвращения в Россию.

Что остается? – Только одно: восхищаться изобретательной неумолимостью, с какой автор подталкивает героя к рельсам или петле.

...Первый сборник стихов, который Цветаева выпустила в эмиграции, назывался: «После России». Читай: «После смерти».

На самом же деле, там, где ей виделась развязка или экспозиция посмертья, – там, в Берлине 22-го года, коротким фейерверком вспыхнула кульминация. Первый раз после России и последний в жизни Цветаеву принимают как знаменитую поэтессу.

Большевики, снега, подлещы, чека, расстрелы – все это только снилось: она проснулась на родине – она проснулась в Германии.

В разгар 1-ой мировой войны, отвернувшись от грохота германских пушек и негодования соотечественников, Цветаева писала:

«Германия – мое безумье! Германия – моя любовь!»

Четверть века спустя она призовет гибель на Германию («В огне сгоришь, Германия!»), – назовет ее мумией величия, астральной воровкой, прикарманившей карту Европы... Но это – потом. А пока – в Берлине дождь, липы цветут, шарманки наигрывают увертюру к «Волшебной флейте». До Гитлера – одиннадцать лет, до елабужской ямы – девятнадцать.

...Когда в конце биографии раскачивается петля – жизнь, отброшенная вместе со стулом, даже самая кривая и ломаная, – замыкается в идеальный круг.

Не Москва, не Берлин, не Прага, не Париж – центры цветаевской жизни, ее единственная подлинная столица – Елабуга. После Берлина Цветаева тем неотвратимей приближается к ней, чем дальше в километрах и годах от нее удаляется.

Подобно всем великим романтическим поэтам, Цветаева начала с опыта смерти («...дай мне смерть в семнадцать лет»; в 18: «... не хочу уходить с земли – под землю»; в 19: «...самое подлое равенство – равенство смерти...»), – и лишь постепенно привыкала, приучалась – жить. Но и привыкнув, – искала, нет – вспоминала – повадки и приметы смерти. Во всем: смерть глушит подушками; утренний воздух – загробный; по железной дороге угоняют жизнь; листья – лекарство вечности от обид времени...

Меж тем, ее личная, только ей предназначенная смерть всегда была рядом, имела имя, отчество, фамилию, семейное положение и называлась: Сергей Яковлевич Эфрон. Муж.

17-го ноября 1937 года в полицейский участок одной из парижских префектур по делу об убийстве чешского коммерсанта Эберхардта была вызвана в качестве свидетеля жительница города Ме-

дон (Парижский округ), уроженка России, православная по вероисповеданию, гражданка Чехословацкой республики, по роду занятий – домашняя хозяйка, мать двоих детей, Марина И. Эфрон, урожденная Цветаева.

Обстоятельства дела. 5-го сентября сего года в предместье Лозанны был найден труп чешского коммерсанта Эберхардта, – он же Людвиг, он же Порецкий, – он же Игнатий Рейсс... – советский гражданин – агент ГПУ – ... письмо Сталину с обвинениями и отказом вернуться в СССР – огнестрельное ранение – гильзы от ручного пулемета – ...

Цветаева отвечает тихо, на безупречном французском, речь ее льется плавно, но странно: фразы длинней обычных и некоторые рифмуются... Полицейские вслушиваются, переглядываются: сомнений нет – это Расин! За Расином – Корнель, за Корнелем – поэма Цветаевой «Молодец» в ее же собственном переводе на французский.

Н-н-да... Гм-кхм... mais... есть все основания утверждать, что убийца – ваш муж... *voire Marie*... Сергей Эфрон, русский; вероисповедание – прочерк; постоянное место жительства – прочерк; подданство – прочерк; место работы – прочерк; офицер белой армии (Крым), – сближение с русскими эмигрантами-националистами (Прага), – сближение с французскими коммунистами (Париж), – республиканская Испания, – контакты с советским посольством (Париж), – лидер просоветских эмигрантов во Франции, – агент ГПУ, – автомобиль – бернский номер, кровь...

В ответ Цветаева больше не читает стихов, но произносит фразу, от которой не отказался бы Расин: «*La bonne foi a pu être surprise, la mienne en lui reste intacte*». («Его искренняя вера могла быть обманута, но моя вера в него остается непоколебимой»).

Полицейские выслушивают ее, почтительно склонив головы, извиняются, отпускают и более никогда не тревожат.

Как удержаться от искушения украсить ангельскими крыльями полицейские мундиры? Как не увидеть в «ажанах» законных потомков Корнеля и Расина? Очень просто, – достаточно вспомнить, что правительство Народного фронта с нескрываемой симпатией относится к Советскому Союзу. Сколь мало бы ни разделяли ее служащие полиции, – кому охота ссориться с «красным» начальством?

Доказательство: незадолго до Цветаевой в полицию был вызван сам Сергей Эфрон, поверхностно допрошен, рассеянно отпущен, короче – предупрежден. После чего он как сквозь землю провалил-

ся (французскую, понятно) и вынырнул уже прямо в Советском Союзе.

Дело начало сохнуть и глохнуть, но тут – новое достижение сталинских агентов: прямо среди сверкающего парижского дня ими похищен и утащен в Россию бывший белый генерал Миллер.

Общественность, как говорится, «всколыхнулась», – и только тогда полиция потревожила Цветаеву, заранее уверенная в ее непричастности и неосведомленности...

А ровно через год, в ноябре 38-го, уголовное дело об убийстве чекиста Игнатия Рейсса было прекращено ввиду недостатка улик, а еще через год, стоя у вагона «Expresse de Vienne», Цветаева последний раз в жизни слышит живую французскую речь: «En voiture, Madame!»

Она с сыном едет в Москву к дочери и мужу.

Когда они встретились, ей было 18 лет, ему 17. Третье, и очень активно действующее лицо их романа, – Крым, «где обрывается Россия над морем черным и глухим» (Мандельштам).

Но в широтах русского поэтического мифа, Пушкиным созданного, всем XIX-ым веком дописанного и достроенного, там, «где обрывается Россия», немедленно начинается Эллада.

Привычно подменив недостающее время изобилием пространства, Россия поставила Петербург – «северные Афины», миф в камне, – северной оконечностью мифа, а южной – Крым: камень мифа – «колыбель Европы» – сердоликовые бухты – кипарисы – тишь – сон – синь – километры пляжей – гекзаметры волн – паруса на горизонте – Гомер – бессонница...

Воображение Марины возбуждено, раздражено, безутешно: «Я смотрю на море, издалека и вблизи, но все оно не мое, а я – не его» (из письма поэту Максиму Волошину.)

Миф требует героя, – и вот он уже сидит на скамейке приморского парка... Надменно изваянный профиль на фоне моря и неба; рот углами вниз; очень худ (на марином языке – «тонок первой тонкостью ветвей»), огромные серо-голубые глаза – глазами и стихами Марины: «... под раскинутыми крыльями бровей – две бездны»... Антиной?.. Нарцисс?.. Или – внезапное озарение! – юный Давид?!

По мнению же мариных приятелей, Сергей Эфрон, с его узким породистым лицом, замкнутостью, бледностью, сдержанными манерами больше похож на англичанина или скандинава.

Дед этого скандинава – раввин в бесчисленном поколении раввинов, отец – выкрест-революционер-террорист; мать – русская ари-

стократка.

Дождавшись 18-летия Сергея, Марина выходит за него замуж. (Насколько же здесь уместней – «женится»!). Они венчаются в январе 1912-го года в старой московской церкви.

«В Сереже соединены – блестяще соединены – две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден... Сережу я люблю бесконечно и навеки» (из письма Цветаевой писателю Вас. Розанову, 7-ое марта 1914-го года.)

Несмотря на заверения в «блестящем соединении» (а в поэтическом варианте – даже «трагическом слиянии») русской и еврейской крови, – на самом деле произошло не столько «соединение-слияние», сколько столкновение, в котором, судя по фотографиям и некоторым замечаниям современников, еврейская кровь, если и не победила, то, во всяком случае, не отступила.

Московское окружение Марины, литературное, артистическое, богемное, семейное, приняло Сергея Эфрона настороженно. (Не считая младшей сестры Марины – Аси, боготворившей Марину и все, что Марина боготворила.)

«Слабый, безвольный... тщеславный... тень своей сильной жены...», – голоса.

А вот и самый любопытный: «В жизни он чувствовал себя пасынком. Ни в какой обстановке и нигде Эфрон не смог побороть гетто своего я».

Человек, которому принадлежит это наблюдение (возможно, верное) – известный о ту пору на Москве артист, литератор, поклонник стихов Марины и ее самой, Николай Еленев, произнес слово, которое, видимо, бродило в окрестностях многих высказываний об Эфроне, не решаясь прорваться, – «гетто», т. е. – «еврей».

(Моральный запрет на антисемитизм у русской интеллигенции действовал еще довольно неукоснительно.)

Это глухое, отнюдь не всегда чистое и личностное сопротивление мужу Марина чувствовала очень остро. И именно на него, и только на него, ответила первой же строчкой стиха, посвященного Сергею Эфрону через два года после женитьбы: «Я с вызовом ношу его кольцо!»

Два года – жена, а все еще – «вызов». Значит, было кому его посылать...

...Когда хотят защитить русскую интеллигенцию от упреков в антисемитизме и одновременно оный объяснить, – приводят обычно строчку Цветаевой из «Поэмы конца»: «В сем христианнейшем из миров поэты – жида!»

Как будто Цветаева была представительницей всей русской интеллигенции!.. Как будто она вообще была – «интеллигенция»!.. Она была – гений, а это совсем не то же самое, что интеллигент, скорей – совсем другое, «ganz anders».

Что ж до объяснения... Меня лично от него всегда тошнило, да и до сих пор тошнит.

Ну, хорошо, пусть поэт – это жид: мир не принимает. Но «жид» – не обязательно поэт!.. Что ж ему, не жить после этого?!..

– Да, не жить, – отвечает Цветаева.

– Кому – не жить?..

– Да всем: поэтам, евреям, просто людям, но прежде всего – ей: «Поэма конца» – это не только конец любви (О! меньше всего – любви!). Это – конец поэмы-жизни, притом добровольный конец, изложение мотивов самоубийства, на столе оставлена записка: «Прошу в моей смерти винить – жизнь»...

Ибо: «жизнь только выкрестами жива, Иудами вер! Жизнь – только выкрестов терпит...» (и это – при любимом муже, выкресте во втором поколении!). Жизнь – это место, где жить нельзя, жизнь – это еврейский квартал-гетто; жизнь для всякого, кто не гад, – это еврейский погром. А если так – не достойней ли уйти в вечность: стать вечным жидом?..

«Право на жительство свой лист ногами топчу!», – гениальная метафора, построенная на непрощающем знании дореволюционного статуса русского еврейства: жительство, или вид на жительство, еврей получал вместе с правом покинуть черту оседлости.

Расхожее мнение: евреи цепляются за жизнь, поэтому: «Не упоительно ли, что жид – жить не захотел?!..»

И еще пощечина христианам: Иудой она называет – выкреста! Самоубийство – это не просто отказ жить, это еще и месть жизни: «за давидов щит – месть!»

Для Цветаевой словарь, описывающий еврея и еврейство: гетто-погром-Бог-еврейский квартал-выкрест-Иуда-щит Давида-вид на жительство – это язык отказа, конца, это предел бунта человека против Бога и людей, со смертью в союзниках. Поэт ли в роли еврея, еврей ли в роли поэта – это уже второстепенно, раз жизнь – палач, а люди – овцы...

...Трагическое еврейство Цветаевой (ибо это именно еврейство, а не ленивая «еврейская тема в творчестве...») – не четвертый, наряду с тремя детьми, плод ее любви к Эфрону.

Справедливо как раз обратное: Цветаева никогда не начинала с конкретного человека и чувства к нему, но всегда – с символа и страсти. Она полюбила Эфрона, потому что в нем увидела – еврея, а его увидела – у моря: «... я не люблю море... Оно двигается, а я гляжу... да ведь это ж сцена, т. е. моя вынужденная, заведомая неподвижность... Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное). Так Иегову, например бы, ненавидела. Как всякую власть. Море – диктатура...» (из письма Борису Пастернаку, май 1926-го года.)

У великого поэта нет психологии. У него – мифология: море – Иегова – власть – диктатура... Вызов одного творца (природы) природе другого творца – поэта.

Цветаева избрала Эфрона по памяти другого избрания, и она ревнива, как всегда ревнив избирающий и творящий.

Первотолчок ее чувства к будущему мужу – ревность к морю (сидел на скамье лицом к морю, спиной – к миру, к ней), стремление весь морской космос переписать на себя.

(Всю жизнь гордилась своим именем – Марина, «морская»).

...Вся ее последующая жизнь, особенно в революцию и эмиграцию – это сплошной оптический обман: кажется, что все ее передвижения в пространстве – только по его следам, а на самом деле он – идет, но ведет – она.

В июле 1919-го года, в уже советской Москве, на поэтическом вечере во «Дворце культуры», в присутствии Луначарского, члена большевистского правительства и наркома просвещения, Марина читает стихи, посвященные Белой гвардии: ее путь высок; Белая, она подставляет черному дулу грудь и висок; Белая гвардия – стая белых лебедей, святая рать, тающее в небе белое видение, последний сон старого мира: молодость – доблесть – Вандея – Дон...

Это был риск и риск смертельный. Шла на него сознательно и жалела только, что бросила эти стихи в лицо Луначарскому, а не Ленину.

Кстати, Луначарский ее спас: сделал вид, будто ничего не произошло, аплодировал громче всех и даже шикал, когда публика, в основном, красноармейская, неподготовленная, чуя «контру», начинала шуметь.

Не потому Цветаева написала «Лебединый стан» – книжку стихов о Белой гвардии, – что в ее рядах сражался Сергей Эфрон. Он потому там и оказался, что Марина все равно написала бы эти стихи, даже останься он с ней в Москве, ибо революцию сразу – отвергла: «...боязнь толпы можно победить исключительно самоут-

верждением, в девятнадцатом году, например, выкриком: “Долой большевиков!” Чтоб тебя отметили и разорвали» (из дневниковых записей 1919-го года.)

Оттуда же: «Обожаю богатых. ... Богатство дает самосознание и спокойствие («все, что я сделаю – хорошо!») – как дарование, поэтому с богатыми я на своем уровне. С другими мне слишком “униженно”». (Написано в дни экспроприации и повальных арестов среди московского дворянства и буржуазии.)

Разлом в семье Цветаевых приходится на вторую половину 30-х годов. Чтобы понять его причину, нужно охватить огромность того, что Цветаева написала и продолжала писать: стихи: лирика – эпос – сказка – миф; проза: мемуары, эссе, статьи, дневники, наброски; письма – сотни писем. Во всем – буря, натиск, ломка; везде – победа над косностью слова, темы, жанра; всегда – несравненный технический блеск.

В эти годы Цветаева буквально физически уходит в свое творчество, – и здесь «буквально» следует понимать – буквально.

И тогда в образовавшийся пролом хлынули подавленные обиды, заглушенные амбиции, невыговоренные претензии, запоздавшие сожаления.

Цветаева была творцом образа и судьбы своей семьи, – а кому ж и предъявляют претензии, как не творцу?!..

Прибавим: бедность, духоту эмиграции; возрастающую ее отчужденность от Цветаевой и Цветаевой от нее; Гитлера в Германии; запах растления во Франции; европейская ночь в окне и разговоры про «свет с Востока».

Обидами Марина делится с Рильке, Пастернаком... А близкие... живут просто в бедности, просто в обидах – простых обидах...

И Сергей Эфрон ушел в коммунизм. И увел с собой сына и дочь, как крысолов – детей в поэме Цветаевой «Крысолов».

А она?.. Что она могла предложить?..

Свою веру в слово, в поэзию? – Но насколько же верить в коммунизм легче и проще!..

И они ушли один за другим в Россию – на тот свет. И ее забрали с собой.

В жизни Цветаевой было только два романа: один – с мужем, другой – со всеми остальными, включая два романа с женщинами и два в письмах (Пастернак, Рильке) .

Подобно Сафо, Гертруде Стайн или Вирджинии Вулф, Цветаева прошла опыт однополый любви, но именно прошла, как проходят комнату: прошла – и вышла, прихватив с собой то единственное,

что уносила из любого опыта – стихи (цикл «Подруга») и прозу («Повесть о Сонечке»).

Время романа «Подруга» – 1914 год; героиня – 29-летняя София Парнок, свежекрещенная еврейка с «влажным очажком» в легких и накрахмаленным мужским воротничком вокруг гордо поставленной шеи; полу-богема: слоняется по редакциям и литературным салонам с тетрадкой неважных стихов в руке и незаконными («сафическими») страстями в сердце; медновласа, крупноглаза, крутолоба, «...Уступ бетховенского лба», – в великодушном изображении Цветаевой.

Интерьер романа: севрский фарфор – вазы – бокалы – камин – плед; пышное платье из золотого шелка (Марина); черная бархатная куртка (София); кольцо – трость – веер – хлыст; «имена – душевные цветы», «взгляды – пляшущее пламя», все вместе – «Портрет Дориана Грея», запоздавший в Россию на четверть века... Поэтому в 1-ом стихе цикла появляется «леди», в 10-ом «запах white gose и чая», а 8-ое и вовсе написано в ритме и стиле «Баллады Рэдингской тюрьмы»: «Рука, достойная смычка, ушедшая в шелка, неповторимая рука, прекрасная рука».

Атмосферу преступной страсти сгущает посещение собора, где происходит святотатство: приостановив взор на иконе Богородицы, героиня шепчет: «О, я ее хочу!»

Что ж до деталей самой преступной страсти, – вот они: «Вы голову мою сжимали, лаская каждый завиток» – «ваш узкий пальчик» – «моя сонная рука» – «взор к взору» – «шубка к шубке» – ... Пожалуй, все. Не столько сдержанно, сколько жеманно.

17-ю стихами цикла «Подруга» могла бы гордиться любая из поэтических послушниц Ахматовой, но для Цветаевой эти стихи не то, чтобы плохи или слабы, – они просто не ее.

Впрочем, одна истинно маринина строка в них все-таки затерялась. Как и следовало ожидать, это извещение о разрыве: «...Твоя душа стала поперек моей души» – то есть: осточертело, надоело, хватит, тошнит, сыта по горло, не могу, не хочу, не желаю.

На том и расстались: развратительница (Парнок) – покинутая и уязвленная; обольщенная (Цветаева) – холодная и неуязвимая.

Что для старшей было призванием и судьбой, то для младшей – капризным любопытством.

У романа, однако же, оказался *post-scriptum*, он же – *post-mortem*.

София Парнок умерла в 1933-ем году. Когда в 39-ом Цветаева вернулась в Москву, к ней пришла одна из последних приятельниц Парнок и от имени покойной протянула дары – фотографию молодой Марины, с которой, как выяснилось, Парнок никогда не расставалась, и ей же, Марине, посвященные стихи, почти предсмертные.

Цветаева (не протягивая к дарам руку, не поднимая глаз, сухо, равнодушно): «Это было так давно!..»

Читай: этого не было ни-ко-гда.

Разумеется, спустя четверть века даже нешуточные любви кажутся небывшими, но все же...

На второй день от начала романа, то есть во втором стихотворении цикла, Марина забрасывает себя вопросами: что это было? кто – охотник? кто – добыча? чья победа? кто побежден?..

Здесь все вопросы – ответы, точнее – один ответ: любовь есть борьба. А если так, – любовь к женщине для Цветаевой невозможна, потому что не нужна: женщина – «подруга», а для борьбы необходим недруг. Победа или смерть.

Тем не менее, за первым опытом последовал второй. Во времени – через четыре года после неудачного романа с Парнок, в прозе – самый удавшийся роман Цветаевой: «Повесть о Сонечке».

«... А теперь, прощай, Сонечка! Да будешь ты благословенна за ту минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому одинокому, благодарному сердцу! Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую?»

В этом последнем абзаце «Повести...» только одно слово – «Сонечка» – принадлежит Цветаевой, все остальное – Достоевскому: заключительные строчки «Белых ночей» с Настенькой вместо Сонечки.

Свою будущую героиню Цветаева впервые увидела в роли героини «Белых ночей» в лютой Москве 1918-го года.

«Сонечку знал весь город. На Сонечку ходили. Ходили – на Сонечку. – “А вы видали? Такая маленькая!.. Ну, прелесть!..”»

“Белые ночи” были – событие».

В отличие от бедной Парнок – (по прихоти фабулы тоже Сони, Софьи) с ее нечтимыми стихами, Сонечка-Соня—Софья Евгеньевна Голлидэй – сразу явилась Цветаевой в тройном блеске славы, литературы и театра.

Где театр, – там режиссер. Режиссером Сонечки был Вахтангов; режиссером «Повести о Сонечке» – Достоевский, притом – «ранний».

О «раннем» Достоевском общее представление, примерно, такое же, как, о «позднем» Толстом: «поздний» Толстой вообще проповедовал и готовился к смерти; «ранний» Достоевский вообще писал и готовился к каторге.

А меж тем автор «Белых ночей», «Бедных людей», «Неточки Незвановой» – это не просто «ранний», это совсем другой Достоевский. Достоевский, не вернувшийся с каторги.

Романы «позднего» принято называть «полифоническими» и сравнивать с трагедиями Шекспира. Но я бы сравнила их не с классическим искусством прошлого, а с бытом советского будущего.

«Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» – романы-«коммуналки», перенаселенные, как Воронья слободка; здесь все друг друга и все друг о друге знают; фанерные стены между героями и событиями так тонки, что идея, высказанная в одном углу романа, немедленно отдается и обсуждается в остальных трех. Жильцов давит господствующая идеология: Россия – Мессия – почва – народ-богоносец... Атмосфера романов – взаимный сыск и всеобщий донос: один персонаж «стучит» на другого третьему, все вместе доносят автору – на читателя, читателю – на Бога.

У Достоевского «раннего» нет России – есть Петербург; вместо судьбы народной – судьба чудаков, эксцентриков, запойных мечтателей, спившихся музыкантов, бывших чиновников; вместо почвы – набережные, мосты, переулки, закоулки, углы; вместо проповедей и откровений – сны, которыми герои охотно делятся друг с другом, и бессонницы, которые они стоически переживают сами.

У «позднего» Достоевского две женщины любят одного мужчину и ненавидят друг друга; у Достоевского, который еще помнит о своем докаторжном двойнике, две женщины любят друг друга и одного мужчину («Униженные и оскорбленные»).

Для Цветаевой Сонечка с ее маленьким ростом, детскостью, бледной смуглостью и английским происхождением – живые «выбранные места» из Достоевского, путеводитель по его лабиринтам: имя – надрывный образ из «Преступления и наказания» (не потому ли Сонечка Голлидэй, в несогласии со своим гордым и надменным нравом, так же безоглядно служит своим сестрам, как Сонечка Мармеладова, на иной лад, но тоже безоглядно – своей семье?); английская фамилия – исходящий лондонским туманом и русской жалостью «достоевский» Диккенс; отец – музыкант: «Неточка Незванова». Влюбленная в княжну Неточка-Соня; недостижимая и непостижимая Княжна, – конечно, Марина.

Фон романа: Москва двух первых революционных лет. Еще колокола соперничают с кремлевскими курантами, церковное пение – с пением «Интернационала», но колокола – все реже, церковные хоры – все глуше. Однако и эта, достоевски разноголосая, униженная и оскорбленная Москва – всего лишь декорация, театральный задник инсценировки, именуемой «жизнь» или «революция». Подлинное же действие, «живая жизнь» сосредоточены в театре, для которого Цветаева в два года пишет шесть пьес о жизни, любви и смерти в XVIII-ом веке.

Леса Богемии, города Германии, улицы Парижа, ангелы на площадях, музыка в небе... Казанова, Дон-Жуан, герцог Лозэн...

Казанова Цветаевой оспаривает Казанову Феллини – эротическую игрушку помешанного на механических играх века. Кончился завод – кончился век, кончился Казанова. Жалкий Казанова!.. У Цветаевой он – бедный Казанова, аристократ чувства. Как Дон

Жуан – «аристократ духа», а герцог Лозэн – «аристократ крови», изменивший роду во имя народа и именем народа отправленный на гильотину.

Для Цветаевой XVIII-ый век Европы – это XIX-ый век – России; два века-аристократа, оба прекрасны, оба обезглавлены революцией.

Символ (или синоним) аристократии подсказан революционным бытом: не хлеб, без которого – смерть, не соль – без нее цинга, но сахар, без которого – тоска:

«Сахар не необходим, и жить без него можно, и четыре года революции мы без него жили... Пили пустой чай... От этого не умирают. Но и не живут» («Повесть о Сонечке»).

Но и в поэзии Цветаева видит роскошь, избыточность: жить без стихов можно, но не нужно, потому что безвкусно.

Но и Сонечка тоже: сладкое, сахар.

«...Она была мне необходима – как сахар. Живым белым целым куском сахара – вот чем была для меня Сонечка».

(Прошу запомнить самый тривиальный, а потому и самый неожиданный эпитет к сахару: белый.)

Сонечка-Марина-Володя – классический треугольник «Повести...» – возникает из тождества Сонечки и поэзии. В повести она живет не пластикой, действием, поступком или характером, но исключительно в слове, в потоке, водопаде слов. Как поэт.

А как живет поэт? Сама Марина Цветаева? – Как Сонечка, то есть – по Достоевскому.

Не пост-символизм, не прото-акмеизм доэмигрантских стихов; не Маяковский, зависимость от которого (в «Поэме горы» хотя бы) она даже не скрывала; не уроки великолепной французской риторики, взятые у Расина и Гюго, не голосоведение Андрея Белого, – ничто из всего этого богатства не есть корень цветаевского слова.

Только у Достоевского училась Цветаева главному – высокому искусству скандала. Но ее скандал – не психологический и не идейный; это – скандал языковой. Она «дает волю языку», «распускает язык», позволяет слову выйти из себя, как выходят за рамки приличий герой Достоевского.

Она устраивает орфографические истерики, закатывает пунктуационные сцены: отрыв слова от строки – это вовсе не благонамеренный enjambement, но разрыв с предписанным смыслом, самозамыкание слова.

Знак разрыва – знаменитый цветаевский дефис, соблазливший больше литераторов, чем Дон Жуан – женщин.

К концу повести, последний раз провожая Володю до дверей, за которыми – рассвет, Марина вдруг замечает, что волосы у него – русые, а она думала – черные: ведь встречались они – трое – только по ночам, «бессонным совместным ночам», последнюю сокровенную тайну которых выбалтывает, конечно же, Соня:

«– Марина! Я поняла, да ведь это – Белые ночи! Потому что я сейчас тоже люблю двоих»...

Зачем Цветаева перенесла петербургский роман 19-го века в Москву 19-го года? Да затем, чтобы «белым» Петербургом заслониться от красной Москвы. Петербургские белые ночи – против московских черных дней («чернь» – вот что чернит Революцию в глазах Цветаевой); белый целый сахар – против осьмушки черного хлеба; красные черные дни – они «ваши», а ночи – белые, они «наши», как все белое: «Белая стая», «Белая гвардия»...

И Сонечка, героиня Белых ночей, – белая героиня. Как Шарлотта Корде. Неслучайно треть повести написана по-французски.

Эротический роман оказался политическим. В повести нет мужчин, потому что их нет в Москве. Мужчины – на юге, в Белой армии, в Москве – актеры. Володя не был хорошим актером, потому что был – героем. Герою, воину изменить нельзя: это позор хуже греха, грех стыднее позора. Но любовь к Сонечке – не измена, а подмена: героя – героиней.

«Повесть о Сонечке» Цветаева написала летом 37-го года. Аля уже была в России, муж – собирался, сын – хотел...

Цветаева знала, что и ей России – не миновать. В повести она последний раз собирает все, что любила, всех, кого любила, кого (и чего) уже нет на свете: мужа-офицера Белой Армии; маленькую Ирину; маленькую Алю, такую же, как Ирина, несуществующую; Сонечку, умершую в 34-ом году (а для нее – много-много раньше); даже сына, как бы догадываясь, что и ему не стать взрослым и ей его, взрослого, уже никогда не описать; Россию и Москву своей молодости; молодость...

Все – белое, цвета вечности.

Знала – куда едет, знала, – на что, только подробностей не знала: пароходик – Елабуга – та сторона кладбища.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ - ПОЭТ ИУДЕЙСКИЙ

1

В статье «О природе слова», опубликованной в 1921 году, Мандельштам утверждал: *«Русский язык – язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загнивая в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи...»*

В «Заметках о поэзии» (1923 год) читаем: *«Неверно, что в русской речи спит латынь, неверно, что спит в ней Эллада. С тем же правом можно расколдовать в музыке русской речи негрятянские барабаны и односложные словоизъявления кафров. В русской речи спит она сама и только она сама...»*

Сравнение двух этих текстов обнаруживает один из характернейших духовных жестов Мандельштама: всегда повышенную температуру его мышления и неутоляемую жажду, которую пока, наскоро, начерно, можно определить как стремление к «однокорневому» образу любого явления (языка поэзии, культуры), к изначальной завязи любого видимого разнообразия. Словами самого Мандельштама – это стремление, увиденное им в Бергсоне, *«чей глубоко иудаистический ум одержим настойчивой потребностью практического монотеизма»* («О природе слова»).

Мандельштам способен перепутать названия «корней», но увлекает, находит их – всегда. Однажды русский язык вырос у него из эллинизма. В другой раз оказалось, что он произрос из собственного семени, из *«блуждающих многосмысленных»* корней: *«Слово размножается не гласными, а согласными. Согласные – семя и залог потомства языка. Пониженное языковое сознание – отмирание чувства согласной»* («Заметки о поэзии»).

Знай Мандельштам иврит, могло бы показаться, что, отлучив русский язык от эллинизма, он подарил ему взамен облик древнееврейского.

Признание эллинистической природы русской речи неотделимо от христианского образа русской культуры и литургического характера русской поэзии. Свидетельство тому – мандельштамовский доклад «Пушкин и Скрябин» и множество стихов, «отпочковавшихся» от этой смысловой ветви. Погружение русского языка в черноземную почву народного («мирского») корнесловья чревато иной концепцией культуры, цель и смысл которой – *«борьба русской, то есть мирской, бесписьменной речи... с письменной речью»*

монахов, с церковно-славянской, враждебной, византийской грамотой...» («Заметки о поэзии»).

Две противоположные «морфологии» одного и того же языка, две взаимоисключающих концепции одной и той же культуры...

Но в обоих случаях вместо успокоительного разнообразия и уютной многозначности, по ленивой привычке связанных со словом «культура», – жестко организованные, телеологически оснащенные миры, сведенные к одному принципу действия, одному закону, одному породившему их лону.

Монотеистическая одержимость – ключ к музыке Мандельштама.

Отношения между словесным текстом и его внутренней музыкой и есть проблема языка Мандельштама, вернее – проблема его двуязычия:

*Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик:
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.*

(«Грифельная ода», 1923 год)

Для самого Мандельштама (значит – и для его понимания) язык, речь, слово – сюжет трагический и центральный.

Каждый язык – не столько средство общения между людьми, на нем разговаривающими, сколько средство выражения (лучше – знак, еще лучше – символ) некой бытийственной, миростроительной идеи.

Люди на разных языках разговаривают, разные идеи разными языками – проговариваются.

Языковую среду я всегда видела пространством, населенным и людьми тоже. А перед «и» располагаются земля, небо, камни, дома, города, история, лица, политика, деревья, объединенные, связанные, завязанные в тугой узел национальной идеи.

В гармонической (а для иноязычного уха – хаотической) структуре общих всему пространству шума, гула, гама, свиста, шороха и возникает язык национального бытия, а человеческая речь – лишь его частный случай, разомкнутая гортань в ряду гортаней сомкнутых и все-таки говорящих.

Знание чужой культуры, даже любовь к ней без близости к ее бытийному языку похожи на почтовый роман. Любовь в письмах, быть может, и хороша, но дети от нее не рождаются.

Когда Мандельштам обращался «К немецкой речи», он взывал именно к языку немецкого бытия, предваряющего и таящего в себе культуру, как завязь предваряет и таит плод:

*Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.*

В мандельштамовском сравнении («кони... словно буквы») каллиграфия бытийных движений, образ становящегося, учащегося бытия, отрицающий самозарождение культуры из бесплотного и бесполого лона мирового духа.

Гурманы и рантье культуры видят в Мандельштаме поэта культурного космополиса, на русском языке и на свой оригинальный манер перепевшего для них мировую культуру от Гомера до Пушкина.

Недавно в Москве предпринята попытка вмуровать мандельштамовский «Камень» в великую дальневосточную стену (статья Г. Померанца «Мандельштам и Басе»).

Вступительная статья к III тому нью-йоркского издания Мандельштама называется «Дитя Европы».

А в том же III томе опубликована статья Мандельштама «Литературная Москва», где всемирной литературе посвящены следующие строки: «Смешно говорить о московской литературе, так же точно, как и о всемирной. Первая существует только в воображении обозревателя, так же как вторая – только в названии почтенного петербургского издательства».

Не абстрактное и отвлеченное понятие «мировой культуры», но мир, саму ткань бытия ощущал Мандельштам сакральным текстом, взывающим к обнаружению своей семантики и «телеологического тепла»: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя», – писал Мандельштам в «Утре акмеизма».

На правах «просто жизни», существования, а не «вещи», культура есть сфера страсти, выбора и ответственности.

По отношению к религии культуры Мандельштам – неверующий, в «храме искусства» он – атеист.

Со всех сторон нас призывают к универсализму, всеслышанью и всевиденью: «Все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе».

Но вот простора-то и не предвидится, а только очередная Вавилонская башня, возводимая в духовной толкотне и культурной давке.

На таком просторе Мандельштаму тесно, дышать нечем. Он отвергал буддизм. Он страшился мусульманства, в котором видел «детерминизм, растворение личности в священном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре» (Н. Я. Мандельштам, «Воспоминания», кн. 1).

Тема «Мандельштам и буддизм» – очевидна. («Буддийская Москва», статья «XIX век»).

Тема «Мандельштам и мусульманство» кажется немислимой из-за явной нехватки «ткани», текстового материала.

И все же эта тема существует.

2

Количественно скудные, «мусульманские мотивы» прослушиваются только в начале 30-х годов, но зато в самых главных, «на разрыв аорты» написанных стихах, посвященных времени, на которое был осужден поэт, и стране, на которую он был обречен.

Противодействие буддизму, его духу небытия и мертвенной созерцательности наверняка пришло к Мандельштаму в процессе «выяснения отношений» с русской культурой, к буддизму традиционно чуткой и благосклонной.

(«...Я возвращался, нет, читай: насильно был возвращен в буддийскую Москву»).

Но мусульманский соблазн русской культуре как будто никогда не угрожал, с исламом России встречалась лишь на уровне государственной политики.

Не культурный, но какой-то иной, кровно-родовой «пра»- (или «пред»-) опыт привел в мандельштамовскую поэзию ужасом насыщенный мусульманский «орнамент».

Он в открытую, по имени, назван в двух стихотворениях: «Фаэтонщик» («На высоком перевале, в мусульманской стороне», 1931 год) и «О, бабочка, о мусульманка...» (1933).

Стихотворение «Фаэтонщик», заgroundованное на пушкинских образах («Телега жизни», «Пир во время чумы») создает образ чумного времени, чумного пространства, чумной страны: *«И бесстыдно розовеют обнаженные дома, а над ними небо мреет – темно-синяя чума».*

Но неопознанным и загадочным остается сам «фаэтонщик», «пропеченный, как изюм, словно дьявола поденщик...», он же – «чумный председатель», скрывший «под кожевенною маской... ужасные черты».

Бродит осторожное мнение (и я его разделяю), что «Фаэтонщик» – не только образ чумной страны, но и чумного ее Председателя – Сталина:

*Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми, —
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.*

*Он безносою канителью
Правит, душу веселя.
Чтоб кружилась каруселью
Кисло-сладкая земля.*

Так это или не так, поразителен мусульманский (арабский!) компонент «Фаэтонщика» – «председателя», абсолютно не связанный со сквозной пушкинской партитурой стиха:

*То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо»,
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо.*

Как объяснить? Осмыслить?

Несколько стихотворений, помеченных тем же 31-м годом, явно напрашиваются в цикл под условным названием: «Москва, год тридцать первый от начала века...»

«Фаэтонщик» – увертюра к этой московской симфонии, пронизанной темой гибели. Коллективной, стадной, добровольно-жертвенной: *«Как народная громада, прошибая землю в пот, многоярусное стадо пропыленную армадой прямо в голову плывет...»* Личной: *«...и не живу и все-таки живу...»*

И в одном из стихотворении цикла вспыхивает внезапно и опять мусульманский «хищный» эпитет:

«Какое лето! Молодых рабочих т а т а р с к и е сверкающие спины!.. Здравствуй, здравствуй, могучий некрещеный позвоночник, с которым проживешь не век, не два...»

Наконец, таинственнейшее стихотворение «О, бабочка, о мусульманка...»

Есть у Мандельштама стихи, сходные с неприкаянными душами, ищущими тело, в которое можно воплотиться. Это стихи, где чистый образ живет как будто вне темы, вне внятного смысла, вне видимого контекста. Для поклонников «блаженного бессмысленного слова» такие стихи – поэтический гашиш, словесный наркотик, источник приятной и неопасной эйфории: *«...с кошачьей головой во рту... три черта было, ты четвертый, последний, чудный черт в цвету».*

Или: *«Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч...»*

Или: *«О, бабочка, о мусульманка, в разрезанном саване вся – жизняночка и умиранка...»*

А я убеждена: чем дальше мандельштамовские стихи от доступного смысла, тем ближе мы к подлинному языку Мандельштама – музыке, т. е. цельному образу бытия, где у каждого реального явления, втянутого в орбиту мандельштамовского сознания, – от ба-

бочки до философского или религиозного учения (славянофильство, буддизм) – есть свой «двойник», тайный трансцендентный смысл, символ, знак.

«Бабочка-мусульманка» принадлежит тому же ряду энтомологической символики, что и эллинские пчелы («...пчелы Персефоны»), «хитрые» и «могучие» осы и «жирные, пучеглазые стрекозы смерти». Подобно легкокрылым соседкам, «бабочка» живет на скрещении своего реального облика («жизняночка... с большими усами кусава...») и другого, иномерного, страшного, которого она – посланец, символ и воплощение: смерти, савана.

Возможно, догадка о подлинной, зашифрованной ее сути, возникла по случайному зрительному сходству развернутых бабочкиных крыльев – с саваном.

Но почему «саван» ассоциируется – с «бурнусом»? «Ушла с головою в бурнус». (Вспомните: «...гортанный крик араба...»)

Или, наоборот, глаз подсказал сходство с бурнусом? Тогда почему «бурнус» отождествился с «саваном»? (Вспомните: «... в мусульманской стороне мы со смертью пиروвали...»)

Стихотворение о бабочке входит в цикл гениальных «Восьмистиший» – толкового словаря и тематического каталога мандельштамовской поэзии. Здесь космология Мандельштама: «Играет пространство спросонок...», «и я выхожу из пространств... и твой, бесконечность, учебник читаю один, без людей...»

Его вечная возлюбленная, шуберто-гетевская Европа:

«И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...»

И последняя тема Мандельштама – реквием, отходная эпохе, повторяющая пушкинскую тему чумы:

«В игольчатых чумных бокалах мы пьем наважденье причин...»

И среди этих обязательных, миростроительных тем и образов мандельштамовского творчества появляется столь, казалось бы, случайный и периферийный мусульманский «завиток»: «Бывают мечети живые, и я догадался сейчас: быть может, мы – Айя-София с бесчисленным множеством глаз».

Но в драматургии цикла, в разрастании и нарастании его трагического конфликта этому-то «завитку» и суждена роль антипода мандельштамовской «книги Бытия», соперника его «иудейских забот», угрозы, нависшей над «геометрией» и «чертежом» мировой жизни.

Враг, губитель, недруг, роковой противовес одушевленного бытия – «наважденье причин», их «мнимое постоянство», противостоящее «безудержности линий», т.е. именно то, что Н. Я., по памяти разговоров с О. Э. о мусульманстве, назвала «детерминизмом».

Но кроме детерминизма, в «опись» мусульманства, приведенную Н. Я. Мандельштам, входят еще «растворение личности в свя-

щенном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре». Вот эти-то «орнаментальные надписи...» и есть беглая программа восьмого из «Восьмистиший»:

*И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.
Бывают мечети живые,
И я догадался сейчас:
Быть может, мы – Айя-София
с бесчисленным множеством глаз.*

Отмечу сразу, что стихотворение о «живых мечетях» помещено в цикле после «бабочки-мусульманки», т. е. после того, как родство (тождество) ее со смертью – саваном – бурнусом выяснено. Стало быть, «бабочка» содержит вполне определенную семантику, расшифрованный смысл, а не символ неизвестного. Поэтому «рисунки из бабочек крапа» – орнамент смерти. Поэтому «мы» – не собирательный онтологический образ человечества, явленный в крапчатых рисунках Айя-Софии, как некогда он являлся Мандельштаму в «чудовищных ребрах» «твердыни Нотр-Дам» или московских соборах «с их итальянскою и русскою душой». Нет, «мы Айя-София с бесчисленным множеством глаз» – это: «Ноябрь 1933 – январь 1934, Москва». Была буддийской, стала еще и мусульманской. Как страна и век. Над ними, веком и страной, «бабочка-мусульманка» свой саван-бурнус развернула – флагом: «О, флагом развернутый саван – сложи свои крылья – боюсь!»

Мечеть – символ социальной архитектуры, растворяющей личность в орнаментальных надписях.

И в том же ноябре 1933 года, когда были написаны стихи о «живых мечетях» и «бабочке-мусульманке», Мандельштам написал и подписал свой смертный приговор: стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...» Прямолинейное, как листовка, и бьющее в цель, как агитплакат, это стихотворение – высшая доблесть и великий подвиг самоотречения сложнейшего из мировых поэтов.

Скрытые «кожевенною маской... ужасные черты» Председателя-фаэтонщика проявились в стихе «Мы живем, под собою не чуя страны»... фотографически точным изображением «отца» нынешних народов, Иуды – будущих; сотрясаемая сатанинским весельем, падает «кожевенная маска», открывая глянцевитое усатое изображение:

«Он безносой канителью правит, душу веселя...» («Фаэтонщик») – «...тараканьи с м е ю т с я усища и с и я ю т его

голешица...», «*что ни казнь у него, то малина...*» («Мы живем, под собою не чуя страны...»)

Думаю, что «*кожевенная маска*» – это перевод на язык мандельштамовской поэзии родоначальной, семейно-бытовой детали сталинского биографического мифа, уже хорошо отполированного к 1933 году: «родился в семье сапожника».

Совпадает и биографическая топография обоих стихов: «*Там в горах Карабахе...*» («*Фаэтонщик*») – «*...там припомнят кремлевского горца...*» («Мы живем, под собою не чуя...»)

Вопреки официальной версии, Мандельштам числит Сталина по мусульманскому народу – осетином («*Что ни казнь у него, то малина, и широкая грудь осетина*»).

Вспомните: «*На высоком перевале, в мусульманской стороне, мы со смертью пировали...*»

Комментатор «*Фаэтонщика*» в 1-м томе нью-йоркского мандельштамовского издания отвергает сталинскую подоплеку стиха, потому что-де «образы Мандельштама и его историософская лирика очень редко касались злободневного, чисто политического».

Да ведь в том и состоит лиричность мандельштамовской историософии, что не существует для нее ни злободневного, ни чисто политического. Законы мандельштамовского монотеистического одногласия таковы, что «злободневное» и «политическое» принципиально соотносимы, иерархически равноправны с любым явлением – от бабочки до Сталина – как знаки и символы сверхреальности, метаисторического замысла и смысла.

Для Мандельштама нет «злободневности» – есть «зловечность». Конкретная, зловещая и отвратительная политическая фигура Сталина оборачивается символом вселенской катастрофы, равно замешанной на «*буддийской Москве*», «*гортанном крике араба*», «*татарских спинах молодых рабочих*» и «*живых мечетях*».

«*Кремлевский горец*» – облик катастрофы, «*мусульманская сторона*» – ее историософская координата, «*бабочка-мусульманка*» – псевдоним и вестник.

«Мусульманизация» России и века как один из синонимов омертвления истории – содержание и смысл темы «Мандельштам и мусульманство».

3

«Если составить к стихам Мандельштама индекс имен собственных, то он включил бы множество понятий, образов из мифологии, географии, истории, искусства. Скажем, на букву «А» туда вошли бы Альбион, американка, английский язык, Антигона, Аониды, Ариост, Афродита и т. д. Вся наша иудео-эллинско-ла-

тинская цивилизация, все ее эпохи отражены в его поэзии. Можно ли поэтому назвать его поэзию книжной? Его эрудиция была подчинена воображению, в его любви к памятникам прошлого было столько нежности, детской игры» (Юрий Иваск, «Дитя Европы»).

«Индекс» – неоспорим. Предложенный принцип его составления прост и осуществим: алфавит от «а» до «я».

Но какому принципу подчинился сам Мандельштам, поставляя для индекса «множество понятий, образов...»? «Воображению»?.. «Детской игре»?

Он не выносил поэзии, рожденной произволом воображения, игрой фантазии, психологическим экспериментированием. Он отвергал вымысел – во имя смысла. А смысл, по утверждению Мандельштама, извне дан поэту. Так даны ваятелю, а не изобретаются им, гранит и мрамор.

О Данте Мандельштам писал: «Какая у него фантазия? Он пишет под диктовку, он переписчик, переводчик... Он весь изогнулся в позе писца, испуганно косящегося на иллюминированный подлинник, одолженный из библиотеки приора...»

«Разговор о Данте» – автопортрет мандельштамовской поэтики, исповедь его метода, автобиография творческой воли.

Где же тот «одолженный подлинник», на который «испуганно косится» мандельштамовская муза?

В «Камне» Мандельштам говорит римскими губами, а хаос, породивший римский порядок, латинский космос, видит в римском духе самой природы: *«Природа – тот же Рим, и отразилась в нем. Мы видим образы его гражданской мощи в прозрачном воздухе, как в цирке голубом, на форуме полей и в колоннаде роуци».*

Но уже следующий сборник «Тристриа» – овидиевское изгнание из Рима, паломничество к эллинско-христианским святыням, искупление греха римской гордыни: недаром «Тристриа» открывается эллинской «Федрой», «черным солнцем» ее вины и недозволенной запретной страсти.

Еще отчаянней и покаянней искупается «римский грех» в переосмыслении русско-византийской государственной формулы: *«Не три свечи горели, а три встречи. Одну из них сам Бог благословил. Четвертой не бывает, а Рим далече – и никогда он Рима не любил».*

Обратимся к букве «А» предложенного индекса с остановкой в «Альбионе». В 1914 году Мандельштам написал стихотворение «Собирались эллины войною», где «туманному Альбиону» адресованы следующие недружелюбные строки: *«не любили раньше англичане европейской сладостной земли. О Европа, новая Эллада, охраняй Акрополь и Пирей! Нам подарков с острова не надо – целый лес незваных кораблей».*

Англия отторгнута от эллинско-латинской средиземноморской цивилизации и во имя ее, чтобы спустя два неполных десятилетия

от этой цивилизации в приступе отчаянного подозрения и прозрения – отшатнуться: «*Что, если Ариост и Тассо, обворожаящие нас, чудовища с лазурным мозгом и с чешуей из влажных глаз?*»

А ведь именно в этом стихе прозвучала заповедь: «*Не искушай чужих наречий...*»

Где же теперь то свое, родное «наречие», из чревных кровно-родных недр которого латинское Средиземноморье видится Мандельштаму чужим?

В 1916 году Мандельштам разговаривал с «Немецкой речью», как «звезда с звездой» – органно и ликующе, в манере «рассудительнейшего Баха»:

*Когда пылают веймарские свечи,
И моль трещит под колпачком чулочным,
Мне хочется воздать немецкой речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.*

В редакции 1932 года только эту (да и то не всю) строфу меняет Мандельштам, но неузнаваемо меняется при этом психический климат стиха, его тональность:

*Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.*

Вместо эпической, глагольно-существительной строчки – истерика деепричастий: «*себя губя*», «*себе противореча*»... Прежнее царственно-великодушное «*мне хочется воздать*» обернулось гибельно-своевольным: «*мне хочется уйти*»... Уютная деталь старонемецкого вечернего быта («*моль трещит под колпачком чулочным*») превратилась в метафору предчувствуемой гибели: «*как моль летит на огонек полночный...*»

«Немецкая речь» – соблазн и самопогубление, подобно «лазурному мозгу» итальянских «чудовищ» – Ариоста и Тассо.

Строфа загнана в альтернативу двух безысходностей: «немецкой речи», к которой хочется уйти, «*себя губя*», – и «нашей», т. е. русской, из которой «*хочется уйти*», потому что «*обязан ей бессрочно*». Бессрочное обязательство воспринимается близким бессрочному заключению. (Пунктирный намек на бессрочную обреченность русской речи через несколько лет пропишется четкой и явной тюремно-принудительной лексикой воронежских стихов: «*Я около Кольцова, как сокол закольцован, и нет ко мне гонца, и дом мой без крыльца... К ноге моей привязан сосновый синий бор, как вестник без указа, распахнут кругозор...*»).

В конце 30-х годов – судорожное, отчаянное и обнаженное нищенство у французского порога: *«Я прошу, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости...»*

После серии скандалов, разрывов и подозрений – вынужденное возвращение в романскую Европу, ибо никакой другой обетованной, «сладостной» земли уже не было, не оставалось...

«Наклони свою шею, безбожница...»

Да, я знаю, что с *«флейты греческой тэтой и йотой»* Мандельштам не расставался никогда. Что шубертовская мелодия неотделима от его музыки. Что в Воронеже он тосковал по «всечеловеческим» тосканским холмам...

И все же: «дитя Европы» почему-то мучилось сознанием собственного сиротства и бесприютства, именуя себя *«пасынком веков»*.

Применительно к Мандельштаму «иудео-эллинско-латинская цивилизация» не вытягивается в прямую на плоскости, не образует тройственный (хотя, быть может, и священный) союз. То, что так легкомысленно и поверхностно представляется единством, синтезом и примирением, для Мандельштама существовало как мучительная проблема поисков своей почвы, своего тела, по которому могла бы заструиться бесприютная «розовая кровь» *«непризнанного брата»*, *«отщепенца в народной семье»*.

Именно свое «тело» – землю, почву, а не близкий и родственник себе дух искал Мандельштам, место в бытии, а не на книжных полках.

Не у одной Франции, как *«жалости и милости»*, просил он «земли» – он просил ее у Эллады и Рима, средиземноморской и германской Европы.

При всех метаниях, притяжениях и отталкиваниях, сопровождавших Мандельштама в его Агасферовых странствиях по культурным диаспорам, только материя бытия, глина жизни, первоначально-предметный, животно-копошавшийся домостроительный и домохозяйный уровень и облик культур остается неизменным.

Присмотритесь, например, к мандельштамовской Элладе: Греция богов и героев, мраморных мифов, аполлонически гармоничная и дионисийски трагическая, у Мандельштама – воловья, петушиная, пчелиная, дремучая и простоволосая. (*«Высокий дом построил плотник дюжий, на свадьбу всех передружили кур, и растянул сапожник неуклюжий на башмаки все пять воловьих шкур»*).

Поднимающий такую Грецию Эсхил – «грузчик», постигающий такую Грецию Софокл – «лесоруб»: *«Тому не быть, трагедий не вернуть, но эти наступающие губы, но эти губы вводят прямо в суть Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба»* (Воронеж, 1937).

Нерасщепляемое ядро европейских метаний Мандельштама, его «тоски по мировой культуре» – это некая надкультурная целостность, которой сокровенную суть всего глубже и полней мож-

но постигнуть с помощью одной «виноградной строчки» иврита, семантической связи внутри грозди ивритских слов: земля – אדמה, человек – אדם, кровь – דם, красный – אדום (адама-адам-дам-адам).

Эта иудейская грамматика бытия и есть тот целокупный образ изначально одухотворенного, замысленного и осмысленного мира, тот внутренний музыкальный формообразующий поток, который «выжал» из себя мандельштамовское слово об Армении, «стране субботней»*, «младшей сестре земли иудейской»**.

.....

*И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.*

.....

*Лазурь да глина, глина да лазурь.
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым
Над книжкой звонких глин, над книжной землей,
Над гнойной книгой, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.*

.....

*А близорукое шахское небо —
Слепорожденная бирюза —
Все не прочтет пустотелую книгу
Черною кровью запекшихся глин.*

Если собрать урожай образов с этого мандельштамовского армянского виноградника, получим священную ивритскую гроздочку: «прекрасной земли пустотелая книга, по которой учились первые люди», «...книга звонких глин, книжная земля», «черная кровь запекшихся глин».

דם- אדם – אדמה – земля – человек – кровь.

Вспомните: «я буквой был, был виноградной строчкой, я Книгой был, которая вам снится»... («К немецкой речи»).

Возможно ли, законно ли объяснять загадочное сходство семантики иврита с семантикой мандельштамовских образов тем, что

* «...А перед тем я все-таки увидел библейской скатертью богатый Арарат и двести дней провел в стране субботней, которую Арменией зовут» (Отрывки из уничтоженных стихов).

** «Путешествие в Армению».

сами образы относятся к Армении, Мандельштамом названной «младшей сестрой Иудеи» ?

Нет, ибо самая глубокая тайна и непостижимое чудо в том и заключается, что Иудеи Мандельштам не видел и языка ее не знал.

Он в Армении провидел Иудею, а не Иудею увидел в Армении.

По рангу того же чуда идут мускульная мощь и семантическая значимость образов «глины» и «крови», возникших в мандельштамовской поэзии задолго до цикла «Армения» и надолго переживших его: «*Два сонных яблока у века-властелина и глиняный прекрасный рот...*», «*я знаю: с каждым днем слабеет жизни выдох, еще немного – оборвут простую песенку о глиняных обидах...*», «*О, глиняная жизнь! О, умиранье века!*», «*и странно вытянулось глиняное тело – кончался века первый хмель...*», «*я говорю за всех с такою силой, чтоб небо стало небом, чтоб губы потрескались, как розовая глина...*», «*...а на почин лишь куст один в янтарь и мясо крапчатых глиняных...*», «*...и своею кровью склеит двух столетий позвонки...*», «*кровь строительница хлещет горлом из земных вещей...*», «*...кровью набухнув венозной, предзимние розы цветут...*»

В каких бы разных – хронологически и тематически – текстах ни появлялись «глина» и «кровь», их духовный климат, смысловое пространство их «обитания» едины настолько, что отдельные стихи, несущие в себе «кровь» и «глину», можно расценивать как уцелевшие фрагменты одного неизвестного текста.

Его онтологическая «загрунтовка» – иудейская, библейская. Именно поэтому глина притягивает к себе другой первичный библейский образ – яблоко: «*Два сонных яблока у века-властелина и глиняный прекрасный рот...*», «*снег пахнет яблоком, как встарь...*», «*кто веку поднимал болезненные веки – два сонных яблока больших... и странно вытянулось глиняное тело – кончался века первый хмель...*»

Исходная ткань бытия, «книга звонких глиняных» в поэтике Мандельштама, как и в книге Бытия, неотделима от творческого акта дыхания: «*жизни выдох – глиняных обидах...*», «*выпрямительный вздох*», «*свобода вздоха и сознание цели*», «*дыханье, дыханье и пенье...*» Дыханье-звучанье-пенье-музыка в мандельштамовской речи связаны знаком равенства и образуют тождество с жизнью.

Историческую катастрофу, постигшую XX век, Мандельштам несомненно воспринял как космическую катастрофу, как покушение на библейские основы бытия: одушевленную землю и одухотворенного человека.

Одышка, преследовавшая Мандельштама во второй половине жизни, была наглядным и мучительным, в певце дыхания воплотившимся символом того, что уже «нельзя дышать».

«Глиняная жизнь» или «глиняное тело века» – не синонимы непрочности, бренности, тленности бытия или исторического регресса, деградации (от «золотого века» – к «глиняному»), но библейские образы сотворенного мира.

Тектонические сдвиги эпохи неуклонно приближали Мандельштама к одновременному постижению основ бытия и своей собственной природы.

«Глиняная жизнь» – самый глубинный слой мандельштамовского сознания, «неподвижная земля» его кочующего духа. Библейскую «глину» он носил в себе как свою органическую природу, как тело своей души. Он не «увидел и отразил» Армению, а выносил и родил ее, потому что «старшая сестра» Армении – Иудея – была растворена в мандельштамовской крови. Армения представала Мандельштаму воплощением, реализацией его сокровеннейшей душевной ткани.

Так пришли в армянские стихи, кроме «глины» и «крови», образы «камня» и «винограда».

4

Виноградное изобилие мандельштамовской поэзии порождает разнообразнейшую систему тропов – от неожиданной детали события («... и маленький вишневый рот сухого просит винограда») до мощной метафоры: «Только стихов виноградное мясо освежило случайно язык». В мандельштамовских стихах слышен внятный, хорошо различимый намек на связь «глины» – «плоти» бытия – с почвенно-бытийственной, «виноградной» письменностью Книги: «я... был виноградной строчкой, я книгой был...», «...янтарь и мясо красных глины», «с т и х о в в и н о г р а д н о е м я с о».

Отданные в армянском цикле разным текстам, «камень» и «виноград» принадлежат одному поэтическому пространству «*страны субботней*». Но мне дано было увидеть их связанными, как буквы в одном слове и как слова – в одной строчке: в Иерусалиме, на раскопках царских гробниц, на арке из белого иерусалимского «государственного звонкого камня», венчающей одну из них, высечена тысячелетие назад виноградная гроздь – древнейший символ «книжной земли» Израиля. В этот момент я ощутила, что и вечный камень Иерусалима, и каменная виноградная гроздь, и вся окружавшая меня храмина воздуха и света, лазури и солнца, земли и камня были и началом, и продолжением мандельштамовских стихов, были самими стихами, их каменно-воздушной плотью. Но это знание непередаваемо и недоказуемо: здесь воистину «*кончается искусство и дышат почва и судьба*».

«Страна москательных пожаров и мертвых гончарных равнин, ты рыжебородых сардаров терпела среди камней и глин», «...орущих камней государство – Армения! Армения!..», «государственный звонкий камень», «...хищный язык городов глинобитных – речь голодающих кирпичей...» – весь этот каменный фундамент армянского цикла, несомненно, продолжает одну из ведущих, «первоголосых» тем мандельштамовского творчества – тему камня.

Армения – стихи и земля – проявила «глиняную», т. е. все ту же первозданную библейскую природу мандельштамовского «Камня». «Глина» относится к «камню», как книга Бытия к книге Исхода, как сотворение мира – к его нравственному закону, на камне высеченным скрижалям. Мышление Мандельштама подчиняется иудейской потребности в единстве этики и космологии. И здесь христианство, с его дуалистической терапией, и вообще-то проблематичное у Мандельштама, явно отступает перед его безудержной страстью к «практическому монотеизму».

... Есть у Мандельштама такое характерное признание: *«Язык бульжника мне голубя понятней»*. Несмотря на то, что «бульжник» явно противопоставлен «голубю», как на всем пространстве своей поэзии Мандельштам противопоставляет землю – небу, здесь нет ничего общего с вертикальными оппозициями, вокруг которых, как вокруг своего единственного центра-стержня, нарастала и, описывая гигантские концентрические круги, вращалась русская культура. Державинские качели: *«Я – царь – я раб – я червь – я Бог»*; пиэтически-безгрешное небо Тютчева и плотские соблазны земли и ночного хаоса; любовь земная и любовь небесная, идеал Мадонны – идеал Содомский Достоевского, им же с восторгом принятая альтернатива Шиллера: *«Насекомым – сладострастье, ангел – Богу предстоит...»*, поздняя усталая блоковская рефлексия: *«Опять любить ее на небе и изменять ей на земле»*; правда жизни и ложь культуры, раздиравшие Толстого не хуже татарской казни... Плоть и дух, земля и небо, Бог и дьявол, форма и содержание, мечта и действительность и т. д. и т. п.

Расщепление бытийного единства на «дурную бесконечность» психологически поляризованных реальностей абсолютно чуждо «глубоко иудаистическому уму» Мандельштама .

Для него неприемлем тютчевский символ веры: *«Мысль изреченная есть ложь»*, как неприемлем и обратный: мысль изреченная есть истина. В мандельштамовском мире «мысль изреченная» прежде и превыше всего – «есть», и тут следует поставить точку, а не многоточие. «Мысль изреченная – есть», живет, бытийствует, воплощена, реальна.

Мандельштам не изнывает от противоречий, не томится духом, не рефлектирует – он выбирает. Выбор бывает ошибочным, но совершается всегда. Мандельштам подлинно трагический поэт и

никогда не унижает трагедию драмой. Быть может, оттого мандельштамовская поэзия, в избытке наделенная «телеологическим теплом» и трагической страстью, лишена тепла психологического, душевности, чем в избытке одаряет своих подданных поэзия русская.

Мандельштам выбирает «булыжник» – камень, потому что божественная структурность камня, его «скрижалность» и монотеистический язык *«понятней голубя»*: вспомните философию кристалла и поэтику гранита в «Разговоре о Данте».

«Есть ценностей незыблемая скала над скучными ошибками веков», – писал совсем еще молодой Мандельштам. Отчетливая двузначность слова «скала» («скала» и «шкала») дает однозначную апологию каменной незыблемости иерархии.

«Камень» у Мандельштама – символ нравственного закона, духовного императива, предуказанного смысла, положенного в основание мира. Эти же «каменности» сверхисторического смысла он искал в Риме, в Европе, искал везде и всегда, находил и терял, как русское эллиństwo, с восторгом обретенное и тут же отброшенное. Пока не пришел на «окраину мира», в Армению. *«Страна субботняя»* явила ему тождество «глины», «камня», «винограда» и «книги», образ которого мерещился Мандельштаму и в Элладе, и в Риме, и в христианской Европе. И, как это бывает только на последней окраинной земле, слово стало зримым, плотным, окончательным: «Как люб мне язык твой зловещий, твои молодые гроба, где буквы – кузнечные клещи, и каждое слово – скоба».

5

Армянский цикл начинается четверостишьем:

*Как бык шестикрылый и грозный,
Здесь людям является труд.
И, кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут.*

Труд, который является людям, как *«бык шестикрылый и грозный»* – это не людской труд: с какой стати ему тогда «являться», «как счастливому сопернику» в романсном сне или «мимолетному видению» другого классического романса?

Это – Божий труд, явленный *«прекрасной земли пустотелой книгой, по которой учились первые люди»*.

Божьего труда «соперник счастливый», к которому Мандельштам ревнует «глину дорогую» – все то же *«близорукое шахское небо – слепорожденная бирюза»*, *«бородатый Восток»* (от него отвергну-

лась Армения «со стыдом и скорбью»), «мусульманское» время, эпоха, воспринятая Мандельштамом как покушение на «незыблемую скалу ценностей», погружение в «скорлупчатую и коленчатую ассирийскую» тьму.

«Предзимние» (розы), «заморозил» (время), «замороженный» (виноград). Смысловые истоки этого ряда – в напряженном, а позднее – на грани разрыва и скандала, – диалоге Мандельштама с русской культурой, особенно – с ее славянофильской почвеннической традицией, в диапазоне от Хомякова до Леонтьева.

«Под шапкой воцеленной бумаги к сочинениям Леонтьева приложенный портрет: в меховой шапке – митре – колючий зверь, первосвященник мороза и государства. Теория скрипит на морозе под полозьями извозчицких санок. Холодно тебе, Византия?..» («Шум времени»).

Мандельштамовская семантика «мороза» восходит к категорическому императиву самого Константина Леонтьева: «Россию надо заморозить». С точки зрения Мандельштама, леонтьевское пожелание осуществилось. Россия уже «заморожена», выпала из времени и истории, остановилась. Леонтьевское византийство совпало с «буддийской Москвой» и замусоленным Кораном. Мандельштам вмерз в эту ледяную глыбу, «время свое заморозил». Застыл на лету, как птица, не успевшая улететь в теплые края.

«Предзимние розы» Армении и армянский же «замороженный виноград» – русский византийский холод, надвигающийся на страну, когда-то «не оскверненную Византией», на «страну субботнюю», «орущих камней государство». Так Пушкин некогда, перейдя турецкую границу, все равно остался в пределах Российской империи, русская армия обогнала его. За пределы замороженного русского пространства Пушкину так же не суждено было вырваться, как Мандельштаму за пределы замороженного времени. Не случайно отзвуки «Путешествия в Арзрум» соседствуют с армянским циклом Мандельштама, почти влетают в него.

Страх перед опозданием преследовал Мандельштама всю жизнь. В «Концерте на вокзале» он задыхался оттого, что опоздал на культуру XIX века: «Я опоздал. Мне страшно. Это сон», «...Опоздал на празднество Расина... Я не увижу знаменитой «Федры» в старинном многоярусном театре...»

«Замороженное время» и «замороженный виноград» – запоздалое чувство иудейской призванности, запоздавшая встреча со святыней отцовского завета.

(После Армении, по свидетельству Н. Я. Мандельштам, «Возвращение блудного сына» стало любимейшей картиной О. Э., и в «малиновой ласке... начальника евреев» из «Канцоны» она видит ответ преобладающего цвета рембрандтовского полотна).

Правда, на что-то странное и непостижимое Мандельштам, видно, все-таки надеялся, на какой-то поворот судьбы, способный

его к отцу приблизить. Через год после «Армении» и явно по ее следам он сказал в «Канцоне»:

*Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу «селям» начальнику евреев
За его малиновую ласку.*

В «Путешествии в Армению» (1932 год) – та же надежда: «И я благодарил свое рождение за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу своих лучших лет. Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России: кирпичный колорит московских закатов, цвет плиточного чая приводил мне на память красную пыль араратской долины».

А пока, полный чуда «книжной земли», «в год тридцать первый от рожденья века» Мандельштам возвращался, «нет, читай – насильно был возвращен в буддийскую Москву».

И через несколько лет в «буддийской Москве», отшатнувшись от стихов «Мы живем, под собою не чуя страны...», Пастернак в ужасе вопрошал: «Как мог он написать эти стихи – ведь он еврей!» (Н. Я. Мандельштам, «Воспоминания», кн. 1).

Когда-нибудь я расскажу, почему именно еврей должен был написать эти стихи, и почему один еврей – Пастернак – не мог их написать, а другой еврей – Мандельштам – смог.

А поскольку поэтический гений есть сжатая до пределов одной личности историческая и духовная судьба нации, это будет рассказ не о том, почему рожденный евреем обязан им быть, но о том, почему он не может им не быть. О соблазнах Мандельштама, не утраненных для еврейского духа и по сию пору: соблазне христианства, редко – религиозном, почти всегда – соблазне европейско-христианской культуры. И соблазне марксистском, на который откликается древнейшая еврейская страсть к жизнестроительству («демон архитектуры... терзал меня всю жизнь», – говорил Мандельштам).

О том, как Мандельштам любил еврейство и как надо быть глухим, чтобы в его иудейской космологии, имперских влечениях и словесной готике не услышать «идишкайт».

Его перевели на иврит. Но это перевод с перевода. Мандельштам всегда писал на языке своего духа, своей крови.

«Чужая речь» была ему – «оболочкой».

ЗАГОВОР РАВНЫХ

ЗАГОВОР РАВНЫХ

...В купе экспресса «Киев-Москва» я коротаю последние минуты перед отходом, с тоской отводя глаза от пока единственного моего спутника. Он уже аккуратно расстелил постель, переобулся в шлепанцы больничного цвета, и теперь, оживленно потирая сухонькие ладони, терпеливо ждет обещанного чая.

В предыдущие десять минут я узнала, что он – счетовод с приличной зарплатой и семьей – пролежал месяц в одной из киевских клиник, а в столицу едет, чтобы обжаловать (он так и сказал: «обжаловать») диагноз киевских врачей.

Но при взгляде на обтянутое серой кожей лицо, на ворот рубашки, слишком свободно болтающийся вокруг шеи, на волны уже привычной боли, то и дело корезившей бесплотное тело, – было ясно, что киевский диагноз – окончательный и обжалованию не подлежит.

Я с надеждой поглядывала на два пустующих места, ожидая избавления от второго круга повествования с эпическими подробностями анализов, осмотров и недосмотров.

Избавление пришло, но, как это часто бывает, оказалось не многим лучше.

...Они вошли с мороза, раскрасневшиеся, наполнили купе запахом начищенных сапог, коньяка и одеколona «шипр».

Я не очень-то разбиралась в звездах и звездочках, но по густому начальственному матерку, по тому, как сразу вспыхнул свет в коридоре и празднично застучали каблучки проводниц, по двум стаканам дочерна заваренного чая, который уже вносили в купе, – я мысленно присвоила обоим чин не ниже майорского. Были они молоды, щекасты, коренасты. И, судя по отрывочным репликам, направлялись в какую-то содружественную колонию.

...В своих многочисленных разъездах я выработала тактику обороны от разудалого интима, к которому так склонна колесная Россия, от неписаного закона, по которому физическая смежность в тесном пространстве предполагает душевную близость, обмен исповедями и адресами, признаниями и поучениями.

Глядя на переполненные вокзалы больших и малых городов, я думала подчас, что железные дороги нужны людям, чтобы поскорее дорваться до вагонного уюта и первому встречному (не тем хорош, что первым встречен, а тем, что встречен в последний раз) сочинить свою жизнь, какой ее хотелось, да так и не удалось прожить.

Тактика моя не всегда себя оправдывала, но другой не было, и, забившись в угол, я вытащила из сумки что-то книжно-журнальное и изобразила предельную умственную сосредоточенность, ко-

торая должна была оградить меня наподобие ситцевой занавески, отделяющей угол молодоженов в комнате на три семьи.

Не успела я сама толком разобраться, что за книжный улов мне достался, как стена отчуждения, столь ловко мною возведенная, была пробита с такой же легкостью, с какой срывают ситцевую занавеску.

– Интеллигентная на вид девушка, а такую, извините за выражение, пошлость читаете...

Тупой короткий палец с прокуренным ногтем тыкал в журнальную страницу, по которой рассыпались редкие строчки. На одной из них палец замер: «Постель была расстелена, а ты была растеряна...»

...Евтушенко я не любила. Если бы не восторженное поклонение моих сверстников, его стихи слились бы для меня с грудой поэтических имен и книг, равнодушие к которым приравнивает их к несуществующим. Но небывалый его успех у тех даже, с кем еще недавно вместе читали Блока и Баратынского, превратил равнодушие в замешанное на ненависти любопытство, заставлял вчитываться в каждое новое стихотворение, каждый раз вызывавшее недоуменный вопль: как, за что, почему можно эти, такие стихи – любить?

Но не было, наверно, у Евтушенко поклонника более страстного и восторженного, чем я в тот вечер, в купе экспресса «Киев-Москва», один на один с искусствоведами в погонах, ценителями и ревнителями отечественной словесности, верными защитниками ее девственных границ от позеров и фразеров, гаеров и фраеров, стилига и «Чайльд-Гарольдов с Тверского бульвара»* («Чайльд-Гарольд» он так и не сумел произнести, получилось смешно: «Чай-Гарольд»).

Не Евтушенко я защищала – себя. И плевать мне было, что позиция моя – неискренняя (боевые позиции искренностью ли удерживают?), что собственные аргументы я могла бы разбить с легкостью (но не по своим же артиллерии бить!): истина была не в моем отношении к Евтушенко, а в их к нему и в моей к ним – ненависти. И пока с «таким» (с Евтушенко то есть) «в разведку ходить нельзя», пока даже до (и без) испытания боем можно его сразу «шлепнуть», пока строку нужно пробовать не «на зуб» – вкуса, а на огонь и железо, – правда на его стороне, на стороне «растеленной постели», «рыжей челочки» и «каблчков-иглочек» («После “Прекрасной-то Дамы?!”» – «Да хотя бы и вместо!»). Только бы не эти бычьи затылки, не рыкающие голоса имперской

* «Чайльд-Гарольды с Тверского бульвара» – так называлась статья, направленная против совсем еще юных тогда Евтушенко, Ахмадуллиной, кажется – Юнны Мориц и других, которых не помню, опубликованная не то в 1957-м, не то в 58-м году не то в «Комсомольской правде», не то в «Литературной газете».

черни, не опрокинута поллитровка, из которой так нудно выцеживается на пол остаток водки!.. Только не эта пьяная злоба ко всему, что не они, не их бронетанковый мир и матерный мор!..

...Охрипнув уже, спрашиваю: а кто ж – поэт? Первым, конечно, называется «певец империи и свободы»*. Потом, неуверенно – Маяковский. Единогласно: Щипачев.

Отглядываюсь на третьего, во все время схватки молчавшего спутника: не по вкусам, не по взглядам, так по неприязни своей плоти, уже меченной, уже умудренной смертью, к этим пудам мяса и мускулов, может, будет он на моей стороне, хоть Есенина вспомнит? Какое там!.. Глаза его светятся отцовской гордостью, он их – в гроб сходя – благословляет, и, случайно переведя на меня взгляд, замороженно прикованный к их распаренным торжествующим лицам, он, качнувшись в мою сторону, завещает: «Любовью дорожить умеете!..»**

...Я наткнулась на это воспоминание, отдающее коньяком и шипром, вороша память в поисках образов или аналогий, чтобы осмыслить странно знакомое чувство, которое вызвала у меня статья Бориса Парамонова «Парадоксы и комплексы Александра Янова» (журнал «Континент» № 20). Автора я знала по публикациям, по ним и полюбила, почитая одним из самых независимых и блестящих умов нынешней эмиграции.

Напротив, к Александру Янову, с которым, как и с Борисом Парамоновым, я тоже знакома только по публикациям, накопилось у меня немало читательских претензий. Я отдаю должное его журналистской хватке и беллетристической легкости – качествам, не столь уж расхожим в свободной русской публицистике, которая чаще греет обличительным жаром, чем светит литературным даром (а по мне – где светит, там и греет). Но ни разу не была я ни убеждена, ни побеждена яновскими историософскими построениями. И не потому, что обладаю собственной концепцией русской истории. (О, разумеется, она у меня есть, но не в этом дело: кто нынче не носит такую концепцию в кармане, вытягивая ее оттуда по мере надобности вместе с концепцией мирового исторического процесса в целом?)

Изобилие глобальных концепций привело (по крайней мере, для меня) к инфляции их ценности, которой немало способствует перепутанность цеховых вывесок: математики и физики, презрев завет Ньютона, всюду ударились в метафизический разгул; лите-

* Название статьи Г. П. Федотова о Пушкине.

** Воспоминание мое из разряда лично-случайных внезапно перешло в ранг исторически и социально значимых: в № 6 журнала «Синтаксис» опубликована статья А. Янова, где он доказывает и показывает, что сила, на которую рассчитывает и намерен опереться А. Солженицын в проектах будущих преобразований воскрешенной России, – это ее нынешнее советское офицерство.

раторы поучают политиков и генералов; политики торопливо листают Священное Писание в поисках руководства к действию; социологи составляют логарифмические таблицы и периодические системы... Все смешалось так, что счастливую семью уже не отличить от несчастливой.

Из своего читательского угла наблюдая за этой неразберихой, я твердо решила притереться к читательскому же опыту: доверять вкусу (своему) и оценивать любой текст как текст, а не воплощение или искажение абсолютной истины.

В концепциях А. Янова меня прежде всего не устраивает гладкость его текстов, подозрительная готовность, с которой историческая ткань принимает в них форму заранее заготовленной модели. Трещит кроющаяся материя, видны швы... История притихла, уступив место искусству кройки и шитья.

Но ведь это не одного Янова достижение: его оппоненты начинают с того, что критикуют яновскую модель, и заканчивают предложением собственной, такой же сшитой, но на другой «размер», другую потребность.

Увидев имя Бориса Парамонова в роли очередного (а для меня – давно ожидаемого) критика А. Янова, я заочно, до чтения, была с ним согласна. Не потому, что именно от него ждала окончательной разгадки русской загадки (в такую «окончательную разгадку», как и во все «окончательные решения», – не верю и боюсь их), но в надежде, что и мой «индивидуальный заказ», наконец-то, выполнен.

«Заказ» действительно выполнен, но это не мой заказ. Такой вот парадокс. Начался он с «восстания чувств»: прочитав о комплексах и парадоксах А. Янова, захотела я тут же его – защитить.

«Солженицын, – пишет Б. Парамонов, – как говорится, в моей защите не нуждается. Не собираюсь я также, в противовес Янову, излагать подлинную позицию Солженицына своими словами – она изложена им самим».

Я тоже не собираюсь, в противовес Парамонову, излагать подлинную позицию Янова – потому, хотя бы, что Парамонов, на мой взгляд, изложил ее верно (тон изложения пока опустим). Нет, не яновская позиция, а сам Янов, в резкое отличие от Солженицына, нуждается с защите. И для начала я хотела бы оградить его от брутальных окриков, разыгранных, как благородное негодование в защиту «угнетенной невинности»:

«Понимает ли Янов, что он говорит? Или, привыкнув однажды плевать в лицо русской церкви, он никак не может от этого освободиться?»

К сведению читателей: у А. Янова, в пересказе самого же Б. Парамонова, речь идет вовсе не о русской церкви, но о журнале «Молодая гвардия», про который Янов выразился, что он (журнал) «продолжает искушать терпение Брежнева колокольным звоном».

Не могу поверить, чтобы такой искушенный читатель (не говорю даже – автор), как Б. Парамонов, не увидел в яновской фразе то, что на самом деле в ней есть, а именно: несложную игру слов, где «колокольный звон» – одновременно метафора церковно-православной темы на страницах молодежно-комсомольского журнала и – намек на герценовский «Колокол» как обобщенный образ журнала оппозиционного. Или, навязав однажды Янову, амплуа «мальчика для битья», Парамонов нигде «не может от этого освободиться»?

Янов, похоже, действительно не поклонник русской церкви – возможно, он «плюнул ей в лицо» (что нехорошо), – но тогда нужна прямая подтверждающая цитата; не исключено также, что неправославный («плюс», то есть «минус», – не русский) вообще в русскую историю соваться не должен и понимать ее не может. Но тогда – почему не сказать об этом прямо, не утруждая себя и читателя привычно-приличной видимостью научной полемики с применением анализа логического («парадоксы») и – новинка! – фрейдистского («комплексы»)?!

Мне хотелось бы защитить А. Янова от обвинений в лицемерии, неискренности, профнепригодности и еще в чем-то похуже, для чего слово найти можно, но не хочется, и что явственно носится в раскаленном праведным гневом воздухе парамоновской статьи:

«Нет, не похож Янов на печальника русского народа»... «Я сильно сомневаюсь в симпатиях Янова по отношению к невинным Иванам Денисовичам»... «Теперь окончательно понятно, зачем понадобилось Янову оболгать и очернить Россию»..., «Русским националистом Огурцову и Осипову “мягкий” режим Брежнева дал тюрьму, Солженицына изгнал из родной страны, Янову он дал возможность перебраться из Москвы в университет Беркли и пропагандировать его благодеяния».

Сказано: не стоит швырять камни человеку, живущему в доме со стеклянной крышей.

Не могу, не хочу и не думаю упрекать Б. Парамонова в том, что и он ведь отвечает А. Янову не «из глубины сибирских руд»... Но «сильно сомневаюсь» в том, что он, Б. Парамонов, профессиональный философ (имею в виду не полученное образование, а истинную склонность и призванность ума), в объяснении парадоксов яновской историософии искренне нуждается в «найме и прокате» идей Солженицына-Шафаревича и не имеет собственных.

Не намекаю я и на то, что догадываюсь или знаю причины внезапной интеллектуальной несамостоятельности автора, к ней до сих пор абсолютно не склонного. Не знаю и не догадываюсь.

Но на одной, только одной брезгливой ужимке Парамонова я все же хочу задержаться.

«Янов, наверно, как всякий уважающий себя “образованец”, читал Томаса Манна, а частности, его роман “Доктор Фаустус”...»

Дальше выясняется, что и Б. Парамонов, конечно, читал Томаса Манна (еще бы нет!), в частности, его роман «Доктор Фаустус», и внимательно читал. При этом само собой разумеется, что Б. Парамонова чтение Томаса Манна уличить в «образованщине» никак не может.

Почему?

Потому ли, что автору «Парадоксов и комплексов...» хорошо в большой тени автора бранного термина?

Или потому, что перечень имен (Соловьев, Бердяев, Федотов, Леонтьев), с помощью которых (точнее: которыми) Парамонов устраивает Янову разнос и чистку, принадлежность к «образованщине» – исключает?

Вряд ли: Парамонов знает, не может не знать, что и В. Соловьев, и Бердяев с Федотовым, и Леонтьев с Солженицыным сегодня так же входят в «круг чтения» «образованца», как позавчера – Томас Манн. «Образованский ценз» – он тоже меняется.

Логика Б. Парамонова, очевидно, иная: не потому А. Янов «образованец», что читал Томаса Манна, а потому он не понял Манна, что – «образованец». Иначе он, Янов, – пишет Парамонов – вспомнил бы об одном из персонажей «Доктора Фаустуса»:

*«умном, хотя и неприятном Хаиме Брейзахере, выводившем эти самые (фашистские – М. К.) тенденции эпохи из поворота ее к самой что ни на есть седой древности: **ветхозаветной древнеиудейской идее нации как кровного союза.** Вообще вопрос о корнях и почве сложный вопрос, он не под силу Янову» (выделено мной – М. К.).*

Подтекст этого туманного пассажа и зловещего намека я лично могу перевести на Язык Предельной Ясности* только таким образом: Янов постоянно предупреждает Запад об опасности русского фашизма. Сознательно – утверждает Парамонов – искажая факты и русской истории, и текущей русской действительности, Янов выводит эту опасность из традиционной националистически ориентированной «русской идеи». Между тем Янов забывает или не знает, или, что всего вернее, не хочет знать о двух важнейших, даже решающих обстоятельствах: во-первых, фашизм – не просто ярлык, наклейка, используя которую «наклейщик» (Янов) заставляет травмированное фашизмом западное общество в ужасе отшатываться от русского национализма, якобы фашизмом чреватого.

* Выражение из романа А. Солженицына «В круге первом» с сохранением авторской орфографии.

«Надо помнить, – пишет Парамонов, – что он (фашизм – М. К.) был движением эпохи, знаком времени и имеет очень много разнообразных корней».

Во-вторых (я все еще перевожу парамоновский подтекст в свой текст), если даже фашизм действительно так мерзок, как принято думать, именно Янову, как еврею, полагалось бы проявить большую деликатность: ведь в числе разнообразных «корней» фашизма – идея «избранного народа», «ветхозаветная древнеиудейская идея нации как кровного союза», на что, в частности, указывал еще любимый «образованцами» писатель Томас Манн (но Янов, по «образованству» своему, не обратил на это указание должного внимания). Короче, «мораль сей басни так ясна»: дескать, чем в других фашизмом тыкать, «не лучше ль на себя...» и т. д.

С тем же простодушным вопросом обращаюсь к Б. Парамонову: отчего, гневно осуждая яновское нежелание нравственно оценивать прошлую и настоящую историческую реальность, Парамонов по отношению к фашизму ограничивается указанием на «движение эпохи» и «знак времени»? Я не требую нравственного суждения (о, конечно, предполагается, что среди порядочных людей, к коим все принадлежим, суждение по данному вопросу тождественно осуждению), но все же недоумеваю: а что – не «знак времени»? что – не «движение эпохи»? Если не про всякую действительность скажешь, что она разумна, то, по крайней мере, свойство действительности за ней остается, все действительное – действительно, и в этом своем качестве, конечно, «знак» (чего?) и, конечно, «движение» (какое? куда?). И социализм – «знак времени», и коммунизм – «движение эпохи». От философской публицистики читатель вправе ждать определений более внятных: жанр обязывает.

Факт неоспоримый: XX век столкнулся с двумя реализованными тоталитарными идеологиями: фашизмом и коммунизмом. А тоталитаризм, по справедливому определению Парамонова, «потому и называется тоталитаризмом, что характеризуется тотальным подавлением на базе идеологического мифа всех сторон общественной и личной жизни».

Согласится ли Парамонов с тем, что некоторые социалистические и коммунистические идеи сами по себе приемлемы и мифологической тени не отбрасывают? Уверена – не согласится. Тогда почему же «мысль с необходимости корпоративного устройства общества», содержащаяся в программе ВСХСОН и давшая Янову повод назвать эту программу фашистской, таким поводом – как утверждает Парамонов – не является?

Оставим ссылки Парамонова на Бердяева, у которого – если верить Парамонову, – ВСХСОНовцы корпоративную идею позаимствовали.

Оставим и парамоновскую критику Бердяева, который, по мнению Парамонова, совершил ошибку, для философа недопустимую: правильно подметив и описав фашизм, как «тенденцию», «знак» и «движение эпохи», он зачем-то еще его и оценил (положительно).

Но ведь независимо от Бердяева и его оценки «мысль о корпоративном устройстве общества» – не академическая греза одинокого мыслителя, но реальность, связанная с теорией итальянского фашизма! Вывод Парамонова:

«Все это (то есть итальянский фашизм и ошибка Бердяева – М. К.) еще не бросает тень на идею корпоративного устройства общества».

А по-моему – бросает, и весьма черную. И даже не из-за «опасных связей» с итальянским фашизмом в неверной оценке Бердяева, а по сути: «мысль о необходимости ... устройства общества» на основе одной идеи есть мысль тоталитарная, безразлично «корпоративная» это идея, коммунистическая или религиозная. Общество, устроенное «по идее», – это идеологическое общество, оно же – по опыту и размышлению – никогда не бывает «одной идеей живо», но только цельным идеологическим мифом, тотальным по замыслу и тоталитарным по исполнению.

Я только художественные мифы люблю, идеологические – ненавижу; я люблю мифологию как индивидуальный образ мыслей (художественных) и ненавижу как коллективный образ жизни. Между эгалитарным мифом коммунизма (на практике эгалитарность, как известно, не помешала созданию элиты хамья и черни) и элитарным мифом «корней и почвы» (элитарность которого не воспрепятствует эгалитарности, поскольку миф все равно рассчитан на коллективистское – «соборное» – устройство общества), между этими двумя «идеологическими мифами» я выбирать – отказываюсь.

А, похоже, только такую альтернативу – как реальную – и склонен рассматривать Парамонов.

То, что до сих пор не удавалось Янову: теоретически доказать связь русского национализма с возможностью русского фашизма – удалось Парамонову. Своей статьей он мне эту связь не доказал, а – **показал**. Это – его парадокс. И его заслуга.

А теперь – о «разнообразных корнях», «источниках» и «составных частях» фашизма, к которому и евреи «руку приложили» (как игумен Пафнутий – неведомо к чему в каллиграфической пробе князя Мышкина)... О, как бы мне хотелось, подобно героине романа, высокомерно бросить: «Я в торги не вступаю!» Ни в торги из-за еврейской роли в трагедии русской революции, ни в торги из-за еврейской роли в мистории немецкого национал-социализма (а,

кстати, как там с фарс-гиньодем итальянского фашизма? Неужто без нас обошлось?!)

Роль *femme fatale* мировой истории навязла в зубах. Пора становиться добродетельной матерью собственного семейства, ну, хоть для разнообразия, чтобы свой актерский дар испытать. И, уходя, «под занавес», напомнить, что «жар соблазна» в такой же (а то и большей) мере исходит от соблазненных, как и от соблазнительей.

Некоторые слова, хотела бы я сказать, по логике языка требуют после себя творительного падежа. Например, словосочетание «избранный народ» предполагает вопрос: «кем?» и ответ – «Богом». А фраза о «ветхозаветной древнеиудейской идее нации как кровного союза», которая орфографически завершается у Парамонова энергичной точкой, интонационно повисает расслабленным многоточием: не указано, с кем именно заключен этот «кровный союз», не отвечено: «с Богом».

В тех же случаях, – продолжила бы я, – когда народ не избирается Тем, чье имя все не произносится, а сам (в лице «лучших своих представителей») провозглашает себя избранным, – получается самозванство: русский «народ-богоносец» или немецкая «раса господ». Так и Моцарта можно посмертно обвинить: зачем своим избранничеством искушал? И Сальери реабилитировать: тоже композитор, член Союза, а после убийства Моцарта – даже и кровного.

Все это я могла бы сказать – но не говорю. Я не чувствую себя героиней романа, персонажем, живущим в рамках устойчивого сюжета с его заранее известными поворотами, распределением ролей и отзывом критики. Сюжет мой не литературен, к тому еще неустойчив, намерения Автора неочевидны и, положив руку на сердце, я не могу сказать, чтоб так уж любила Его «замысел упрямый», а соглашусь я или не соглашусь играть роль, – у Меня не спрашивают. И потому избранничество из сферы понятий и аргументов в навязанных спорах я перевожу в область только личных переживаний, догадок и предчувствий.

Подмена переживания избранничества доказательством его – это, на мой взгляд, и есть подмена личностного (художественного) мифа мифом коллективным, идеологическим.

Хорошо, удобно быть персонажем: мышление предопределено автором, поведение – образом. Почему, скажем, человек столь изысканного (в других статьях) стиля, как Борис Парамонов, так нарочито, «нараспашку» груб с Александром Яновым? Да потому, что Парамонов «в образе», он – под надежной защитой того классического русского сюжета, где либералу Янову традиционно отведена роль лакея, «мальчика для битья», где от Достоевского до Ленина нет к либералу иного отношения, кроме грубо презрительного, иного обращения, кроме грубо издевательского, иного спо-

соба полемики, кроме «выведения на чистую воду» и «срывания всех и всяческих масок».

Решительно и без оглядки ступив на твердую «континентальную» почву, Парамонов так «выгрался» в роль персонажа, что только на персонажей ссылается: Хаим Брейзахер из Томаса Манна (об иудейских корнях фашизма), фон Корен из Чехова (об ужасах просветительского рационализма).

Ссылка на персонаж как источник некой объективной, вне текста расположенной идеи, без соотнесения с авторским замыслом, – сегодня такой же анахронизм для философа, как и для литературоведа.

Рассуждениям **манновского персонажа** я могла бы противопоставить самого Томаса Манна: выступление 1945 года «Германия и немцы», где дух немецкого национал-социализма выводится только и прямо из духа немецкой романтической культуры, интерпретированной массовым сознанием, им же и превращенной в идеологию черни и политику подонков. В отличие от Парамонова, утверждающего, что «насильничество» советской власти «идет как раз от ее чуждости “почве” – нет у нее иных способов удержаться в чуждой геополитической среде» (и это утверждение Парамонова – раскавыченная цитата, общее место из Солженицына-Шафаревича, подлинных авторов идеологической фабулы парамоновской статьи) – в отличие от этой детективной и авантюрно-приключенческой концепции отечественной истории («заговор», «захват», «героическое сопротивление»), Томас Манн объясняет террористический характер гитлеровского режима укорененностью его в столь глубоких подпочвенных слоях, что именно выход их на поверхность и привел к катастрофе: «корни и почва» столь же основание культуры, сколь и возможные причины ее гибели.

С Томасом Манном можно и не соглашаться – прежде всего, из-за метафизичности, чистой культурологичности его анализа: Третий рейх, конечно, был не только культурологическим, но и социальным и психологическим феноменом.

И между издержками и пороками «демона музыки», владевшего, по Томасу Манну, немецкой культурой, и лагерной музыкой, сопровождавшей очереди в газовую камеру, такая же пропасть, как между тяжелым экономическим положением послеверсальской Германии и аккуратными пирамидами из детских башмаков и колясок на лагерных складах. Пропасть, которую не перепрыгнуть воображению, которую не осилить сознанием. Именно поэтому метафизическому анализу я доверяю больше, чем любому научному: неразгаданная загадка предпочтительней ложно-успокоительной разгадки.

Стало быть, не парамоновскую метафизику я отвергаю, но ее качество, не метод (в идеале – бердяевский и манновский), но исполнение: отказ от авторской ответственности, «персонажность»

концепции, при которой собственный народ и собственная история ставятся только в старательном залоге, рассматриваются только как объект чужого замысла: «марксизм, поработивший страну и десятилетиями ее убивающий...» Ироническая параллель к парамоновской историософии – «персонажность», тотальная цитатность его собственного стиля и мышления, без попыток создать свою концепцию, хотя бы и метафизическую.

Провалы в метафизике заполняются мифологией: марксизм – чересчур общее понятие, не вызывающее конкретных зримых ассоциаций. К тому же у марксизма, как и у фашизма, слишком много «разнообразных корней», из которых один и отнюдь не самый слабый – все тот же немецкий романтизм, что блестяще доказал сам Парамонов в статье «“Культ личности” как тайна марксистской антропологии». Немецкий романтизм, овеванный «демоном музыки», в качестве поработившей Россию идеи, «десятилетиями Россию... убивающей»? Нет, слишком далеко, слишком холодно... Есть другой и уже бесспорный, признанный «корень зла»: «Ленин в Цюрихе», – иронически пересказывает А. Янова Парамонов, – не художественное произведение, а политический манифест» с единственной мыслью о «жидо-масонском заговоре». Контрдовод Парамонова: «... а о действительной, документально подтвержденной роли Парвуса и германского генштаба в русской революции Янов – ни слова».

Стало быть, «документально подтвержденная роль Парвуса и германского генштаба в русской революции», от которой Янов так же отвернулся, как в другом месте от рассуждений «умного, хоть и неприятного Хаима Брейзахера», должна – что? доказать существование жидо-масонского заговора? или какого-нибудь другого, но с непременно участием первой половины (Парвус-то еврей!)? А как быть с германским генштабом? Пустяки. Если «ветхозаветная древнеиудейская идея нации как кровного союза» сумела пустить корни в германской почве, то почему другой ветхозаветной иудейской идее – «беспочвенно» мессианской – не попытаться пустить корни в почве русской, прихватив по дороге лопухий германский генштаб, который, разрушая Россию, «объективно» работал на иудейский мессианский универсализм, не подозревая о том, что через несколько лет окажется во власти иудейского почвенничества?

Возразят, что ничего такого у Парамонова не написано, что я «читаю между строк», одним словом – приписываю, а стало быть, искажаю. Я не приписываю, я – прописываю и думаю, что не искажаю: в том круге идей, внутри которого, ни разу не прочерчивая собственной орбиты, вращается мысль Парамонова, понимание марксизма как «секуляризованного юдаизма» со всем сопутствующим такому пониманию аккомпанементом настолько разработано, что Парамонову нет нужды специально ссылаться на имена и концепции, а мне – делать вид, что я не вижу логической связи в

его периодах. Цитаты (я имею в виду не только заемную фразу, но и заемную мысль) цементируют не слишком пригнанный текст парамоновской статьи, прочерчивают логику, намеченную пунктиром.

Автор не отвечает за все чувства, ассоциации и аналогии, которые его текст вызывает у читателя, но он отвечает за их направление (в прямом, «компасном», а не в переносном смысле). Если, скажем, автор описывает переход Суворова через Рубикон, а читатель при этом видит женскую грудь, – помочь может только Лига сексуальных реформ. Но если мне, хотя бы вскользь и по косвенному поводу, намекают на то, что «ветхозаветная иудейская идея» спровоцировала фашизм, – я вправе и даже обязана продумать эту мысль до конца.

Меня не утешает некоторая симпатия или, по крайней мере, готовность «понять», которую Парамонов проявляет к европейскому фашизму (а заодно, стало быть, и к «ветхозаветной идее»): мое собственное понимание этого «знака времени» ничего, кроме абсолютного неприятия, не содержит.

Я также не могу и не хочу отделаться указанием на сходство парамоновского намека с темой, излюбленной советским официальным (и неофициальным) антисемитизмом: «Фашизм под голубой звездой» – темой, которая тонкую метафизику «корней и почвы» довела до дубовой «диалектики» тезиса: «евреи сами себя загнали в газовые камеры».

Указание на такое сходство само по себе ничего не объясняет, хотя в нашей «свободной» (точнее – русскоязычной эмигрантской) прессе к очередному советизму полемисты бегут с архимедовым возгласом «Эврика!»; слишком часто, застукав кого-нибудь на «советском», тем и удовлетворяются: «Мы победили, и враг побежит!» А, по-моему, в этом месте нужно ставить не пулю точки, а честный вопросительный знак. Поэтому и сходство изящного (в сравнении) парамоновского намека с сапожно-прямолинейными статьями «Правды» заставляет меня не перечеркнуть Парамонова, а внимательней отнестись к «Правде» (и к Парамонову тоже).

Я загипнотизирована сведением в одном словесном пространстве двух персонажей из двух ничего общего между собой не имеющих книг: Хаима Брейзахера и Александра Парвуса. Я не могу избавиться от ощущения, что позитивная часть парамоновской статьи, то есть та, где концепции Янова противостоит парамоновская, написана под знаком сопоставления этих двух персонажей.

В рамках парамоновской (условно говоря) метафизики исторический урок германского фашизма должен выглядеть примерно так: бесплотным Агасфером скитается по миру иудейская идея в поисках мощного национального тела, в которое она могла бы внедриться и заставить выполнять свою волю и предназначение. Охваченный (зараженный) чуждой идеей, национальный организм

гибнет, увлекая за собой (возмездие!) и материальных носителей чуждой идеи (то, что евреи в газовых камерах погибли раньше, чем Германия под гусеницами советских танков, несущественно: хронология в метафизике не так уж и важна, с высшей зрения следствия предвосхищают причины).

Впрочем, намекает Парамонов, этот итог еще не компрометирует саму идею «корней и почвы»; сама по себе эта идея хороша, но – только в том случае, если «кровь и почва» (то есть национальная идея, национализм) слиты с идеей религиозной. Но германский национализм (фашизм) отказался от религии (христианства) и тем самым обрек себя на гибель. «Дело Хаима Брейзахера» закрыто.

Урок этого дела таков: на угрозу космополитического, скитающегося по свету («куда бы вторгнуться») иудейского мессианства, набросившегося теперь на русское национальное тело («революция»), растлившего и погубляющего его («советская власть»), возможен только один спасительный ответ: возрождение русского почвенничества, которое, в отличие от германского, воскресит также и национальную религию – православие (см. «Народ-богоносец»). А как быть с материальными носителями «чуждой идеи» на сей раз? – Открыть «Дело Парвуса» по обвинению вышеупомянутого (вышеупомянутых) в заговоре с целью... Вторым обвиняемым в этом деле, естественно, должен быть западный либерализм, западный рационализм («масонство») – ведь именно с Запада вторгся в Россию марксизм... Но, поскольку Запад потому и называется Западом, что всегда находится за границей и потребовать его выдачи не у кого, да к тому же еще этому историческому бабловоду отведена на предстоящем процессе роль арбитра («Западу, – говорит Парамонов, – остается только выбирать, кому верить: Яновым или Шафаревичу с Солженицыным?»), то основное внимание сосредоточивается на первом обвиняемом, у которого еще и то бесспорное преимущество, что он всегда под рукой. Пухнет досье, накапливаются обвинительные материалы, подшиваются разоблачительные документы. Честь отыскания и публикации одного из них принадлежит самому Б. Парамонову. Этой публикацией он и завершает свою статью о «Парадоксах и комплексах» Янова: «Следование разбираемому автору, которое я обещал в начале статьи, требует в конце ее поместить какое-нибудь “приложение”. Охотно делаю это».

Эта мотивировка, конечно, – композиционный камуфляж, который снимается тремя строками ниже:

«Выбранный мною документ... показывает, какие резоны имеются у русского национально-религиозного возрождения, помимо мечты об “автократии”, и какой счет нация и религия могут со временем представить сильно передовой интеллигенции».

Документ, извлеченный Б. Парамоновым из полного собрания сочинений В. Маяковского, представляет собой обращение в Московский совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов от 25 марта 1924 года. В обращении «группа товарищей» просит вышеозначенный Совет дать ей, «группе», возможность похоронить Любовь Сергеевну Попову по гражданскому, а не церковному обряду, как того хочет семья покойной, поскольку им, товарищам, проработавшим и продружившим с покойной долгие годы, доподлинно известно, что «она была убежденной, последовательной и выдержанной атеисткой и материалисткой».

Подписи (в том порядке, в каком они проставлены в обращении): Брик, Маяковский, Асеев, Родченко, Степанова, Жемчужный, Сенькин, Клуцис, Быков, Кушнер, Лавинский.

Я утверждаю, что выражение «сильно передовая интеллигенция» – эвфемизм, за которым – стремление еще раз «документально подтвердить» роль «парвусов» в русской революции и разрушении основ (в данном случае – религиозных) русской национальной жизни.

Густота еврейских имен впечатляет: ведь кроме явных, наверняка есть еще и неявные. Жаль, что Борис Парамонов поделкатничал и не поставил рядом с фамилиями разоблачительные скобки: погром – так погром, цитата – так цитата, приложение – так приложение! (Я имею в виду парамоновское следование не стилистике Янова, а стилистике солженицынского «Ленина в Цюрихе» со списком еврейских имен в конце в качестве детективной разгадки).

Но более всех, обозначенных в документе, занимает меня сама покойница – Любовь Сергеевна Попова. По перечню ее прижизненных занятий и по друзьям-«подписантам» я как-то очень и очень склонна поверить, что покойная действительно была «убежденной, последовательной и выдержанной атеисткой и материалисткой». Но, видимо, не преданность ее атеизму и «делу строительства новой пролетарской культуры» образует напряжение этого макабричного сюжета (с атеизмом и «строительством» что поделаешь? – «знак времени», «движение эпохи»...).

Некролог превращается в «мистерию-буфф» не с появлением Маяковского, а с появлением Московского совета рабочих и прочих депутатов, каковой Совет приглашается к тяжбе характера запредельного: кто больше прав имеет на дорогого покойника – близкие по крови или близкие по духу? Приглашается, понятное дело, с «заранее оплаченным ответом»: «...письмо это было напечатано в газете “Вечерняя Москва”, 1924, № 119, 26 мая и “возымело действие”» (Б. Парамонов).

Можно вообразить похороны Любви Сергеевны Поповой с подробностями, соответствующими стилю той «героической эпохи», с участием «группы конструктивистов» (Родченко, Степанова) и

таинственного «коммунистического коллектива организаторов мастерской» (Сенькин, Клуцис): гроб из стекла с контрфорсами из стали; хоругви с изображениями вождей мирового пролетариата; при опускании гроба в могилу хор запекает «Вставай, проклятьем заклейменный...»

Жуть, смягчить которую не в силах и параллельный воображаемый сюжет: умри покойная не в 1924 году, а лет, скажем, на 10 раньше, ее семья могла бы обратиться в епархию, синод или жандармское управление с просьбой лишить «ближайших друзей и товарищей по работе» возможности совершить гражданские похороны г-жи Поповой, крещенной при рождении в православие. И такое обращение, надо полагать, тоже «возымело бы действие». Читатель, не пугайся и не злорадствуй: я не собираюсь, вослед Янову, проводить либеральную аналогию между насилием религиозным и насилием атеистическим. Напротив, я для того вспомнила про жандармское управление, чтобы со всей ответственностью заявить: я, в силу присущего мне крайнего индивидуализма, предпочитаю принуждение, исходящее от семейной традиции – «групповому насилию» со стороны «товарищей». Я также заранее оповещаю, что хочу быть похороненной только по обычаю моих отцов (по счастливому совпадению никаким другим образом я в Израиле похоронена быть не могу).

С другой стороны, хорошо бы, конечно, во всех случаях выполнять предсмертную волю покойного – любую. О предсмертной же воле Л. С. Поповой ни в документе, ни в комментариях к нему ничего не сказано. Увы! – остается предположить, что ее воля совпала с требованием «коллектива журнала “Леф”», «Ассоциации инструкторов действенных ячеек», «Исполкома профсекции Вхутемаса и Рабфака», а также Маяковского и Кушнера, Асеева и Клуциса.

И тут мне хочется еще раз присмотреться к счету, который русское национальное возрождение в лице Бориса Парамонова намерено со временем (надо полагать – недалеким) предъявить «сильно передовой интеллигенции». Счет – личный: от имени нации. Но разве покойная Попова не принадлежала к той же нации, что и ее семья, от имени которой «вчинен иск» с полувековым опозданием и с которой «потерпевшая» «идеологически связана не была»? И разве не к той же нации принадлежали Маяковский с Асеевым и Родченко со Степановой, с которыми она была «идеологически связана»? И какая роль отведена Брику, Клуцису и Кушнеру в этом «старинном споре славян между собой»? Растлителей несовершеннолетних?

Стало быть, русское национально-религиозное возрождение собирается определять нацию по «ветхозаветному древнеиудейскому» принципу, то есть принципу религиозному? Счет от имени религии? Но ведь при неизбежной в каждой нации раскладке на

кровно близких, но идеологически чуждых и наоборот такой счет может предъявить именно и только автократия. Но автократия, начинающая с предъявления счетов и требования оплаты (что переводится словом «реваншизм») и есть диктатура фашистского толка. И ничем другим быть не может.

Поистине: хотите убедиться в правоте мрачных прогнозов Александра Янова – читайте Бориса Парамонова.

Выяснив, кто предъявляет счет, попробуем выяснить – кому его предъявляют?

Я так думаю – Янову. Причем счет двойной: как «сильно передовому интеллигенту», то есть либералу, – и как еврею.

Мне не под силу защитить еврейство от обвинений в ритуальных исторических убийствах.

Не могу я и защитить А. Янова от обвинений в либерализме, поскольку его собственное добровольное признание уже «подшито к делу».

Но я хотела бы защитить А. Янова от обвинений в еврействе. И главный, а в сущности единственный, аргумент моей защиты – это как раз его либерализм.

Нет, я не собираюсь, переписав формулу Достоевского («русский либерал есть уже тем самым не русский либерал»), утверждать, что если кто либерал, то он уже тем самым не еврей. Боже упаси! Есть множество спорных вопросов государственной и общественной жизни (израильского государства и израильского общества), в которых и я либералка, и притом «несгибаемая». Разумеется, еврей так же может быть либералом, как француз, русский или саудовский король. Но то – **еврей**-либерал. В случае же с Александром Яновым мы имеем дело с **либералом**-евреем, то есть русским либералом «еврейской национальности». А это, как говорится, «совсем другой коленкор».

И тут наступает момент откровенности, которого я долго пыталась, но уже не могу избежать. Я, как и Борис Парамонов, не люблю либералов. Как и Борис Парамонов, я из трех измерений оставляю им только одно – широту. Я не люблю либералов, потому что они мне не нравятся. Не взгляды (либеральные взгляды встречаются у не-либералов тоже), а либеральный склад души и ума. Что либералы не убеждают – полбеда: они не увлекают. С ними скучно. В либералах поражает эстетический и культурный дальтонизм, из-за которого их полемика друг с другом напоминает подчас анекдот про уши и бананы: «Послушай, почему у тебя в ушах бананы? – Не слышу: у меня в ушах бананы». Если один либерал сравнивает Николая I со Сталиным, а другой – Ленина со Шпенглером, – спорить им, по-моему, не о чем. В своем просветительском усердии либерал путает уроки истории с уроком истории.

Не только неприязнь к либералам сближает меня с критиком А. Янова, но и любовь к некоторым их прославленным противникам,

на чей творчески-вдохновенный и, в сущности, глубоко художественный антилиберализм Парамонов ссылается как на факты самой действительности или научные истины. Федотов, Бердяев... Это у меня любовь спокойная, «поздняя»: главное было прочитано уже вне России. А «первая любовь», которая, хоть и не на всю жизнь, но всю жизнь определяет – Достоевский с Тютчевым, и славянофилы, и (по чувству надо бы: «О!») – Леонтьев...

«Плодами просвещения» этой тяжелой ветви русской культуры я кормилась еще в те далекие-далекие годы, когда слова «сионизм», «Израиль», «эмиграция», услышь я их (а я их и не слышала), прозвучали бы для меня марсиански. И, разумеется, не только для меня, но и для подавляющего большинства моих сограждан обеих национальностей. А и при том всеобщем блаженном неведении антисемитизм был таким же повседневным и «постоянно действующим фактором» моей реальной, внешней жизни, как вышеупомянутые авторы – душевной.

Это я к тому, что Парамонов решительно неправ, утверждая:

«Уже сегодня можно сказать, что еврейская эмиграция усилила в СССР антисемитизм – и не только государственный, но народный. Десять лет назад Слепака не стали бы обливать кипятком соседи с верхнего этажа».

Смею заверить – стали бы. Но того Слепака – так этого: лишь бы еврей. И без всякого сослагательного наклонения, а просто – обливали. И кипятком, и ругательствами. И соседи с верхнего, и соседи с нижнего, и по коммунальной квартире – тоже. И сослуживцы, и прохожие. И пассажиры в городском транспорте. И десять, и пятнадцать и двадцать лет тому назад...

Займствуя обвинительную риторику Парамонова, «я с полной ответственностью и с готовностью перенести дело хоть в суд заявляю», что, сколько я себя помню (а это, к сожалению, немало), антисемитизм **всегда** мог быть **поводом** еврейской эмиграции из России, а не ее следствием.

Чего антисемитизм не мог, не может и не сможет по самой своей природе – это определить, **куда** эмигрировать.

Когда пришло время и оказалось, что «эмиграция» – просто двухэтажный особнячок в переулке с привычной советской очередью у ворот, а Израиль – просто слово, которое можно проставить в графе «пункт прибытия», – я и очередь заняла, и «пункт прибытия» указала...

И не антисемитизму, не «основоположникам сионизма» (их я тоже узнала уже на свободе, почти одновременно с Федотовым и Бердяевым) я обязана Израилем, а «русской идее», Достоевскому с Леонтьевым, славянофилам и почвенникам... Мой сионизм – отсюда, от них. Это они подсказали и показали мне, что либеральное

решение «еврейского вопроса» в России невозможно ни на основе «прав человека», ни на основе «всеобщей, равной и тайной ассимиляции».

Парамонов до такой степени отождествляет себя с «русской идеей», что по нуждам ее нового воплощения выправляет и выпрямляет даже славянофилов:

«Там, где нужно было сказать “культура”, Аксаков сказал “государство”, где нужно было сказать “небо” – он сказал “земля”».

Но у меня не было таких резонансов к соавторству, как у Парамонова, и там, где было написано «культура», я читала «культура», а, встретив слово «земля», не поднимала глаза к небу. Именно четкая топография славянофилов и почвенников, вопреки рецептам моих друзей-либералов, убедила меня в том, что невозможно превратить культуру в твердую почву под ногами и что не всякая кровь притягивает к себе ответную классическую рифму.

Но ни в чем кровном и коренном не совпадая с либералами, одного я не могу у них отнять: бескорыстной искренности. Не буду говорить о русских либералах: это не моя тема, да и не так уж много я их встречала. Не буду говорить и о русских либералах-евреях: они достаточно говорят о себе сами.

Но вот русские еврей-либералы, те, кто, поставив еврейство на первое место и выбрав Израиль из чувства чести, долга или по другим, тоже моральным, соображениям, остались убежденными русскими либералами... Поверьте, г-н Парамонов, они не только «искренне симпатизируют невинным Иванам Денисовичам», не только вполне согласны с Вами же, приписывая все ужасы современной России системе власти или порочности заложенной в эту систему «западной утопии» – они еще, пожалуй, и Вас упрекнут в том, что Вы слишком тенденциозно, однобоко видите русскую историю, не замечая в ней традиций поистине либеральных и элементов безусловно демократических...

И если Янов называет себя «сыном России», значит и он, как и Солженицын, чувствует себя изгнанником из **родной** страны, потому что...

Но тут рука моя опускается, я понимаю, что ни фразы, ни мысли я не закончу, защита моя проиграна – я забыла, упустила из виду, что Б. Парамонов озабочен не только «парадоксами», но и «комплексами» Александра Янова, то есть чем-то подпольным, вытесненным из сознания, но более решающим, чем оно.

Нет, не на пользу нам, бывшим советским, знакомство с Фрейдом: игра «сознательного» и «бессознательного» так удобно и спокойно улеглась на место, еще не остывшее от привычной игры «объективного» и «субъективного»: «субъективно любит – объективно ненавидит», «субъективно друг – объективно сволочь», «субъек-

тивно русский – объективно еврей», «субъективно еврей – объективно жид»...

Ревнуя к «корням и почве», Б. Парамонов «вытеснил» из своего текста слово, которым текст его больше, чем логикой, держится: **кровь**. По крови он судит Янова, по крови и осуждает.

Р. С. Борис Парамонов обещает, что, придя к власти, русское национально-религиозное возрождение выкажет большую лояльность к Израилю и сионизму, чем нынешнее советское «марксистское» руководство. Я выношу обсуждение этого заманчивого обещания в постскрипtum не из мелкой стилистической мести (у Парамонова обещание дано в примечании), а потому, что не верю ему.

Из врожденного пессимизма я всегда допускаю самое лучшее, в данном случае – полную искренность русского возрождения и его устами говорящего Б. Парамонова. В самом деле, почему бы русскому национализму не испытывать влечения к национализму еврейскому, ну хотя бы на основе лозунга: «Почвенники всех стран, соединяйтесь!»?!

И разве – как, очевидно, полагает русское возрождение – сионизм не осуществил уже на практике то, к чему русский ренессанс стремится в идеале, – разве не создал он государство национальное «по форме» и религиозное «по содержанию»?

...Русский коммунизм был идеалом китайских коммунистов, пока они не пришли к власти. А когда пришли, – с горечью убедились, что русские, правда, скуласты, но все же недостаточно косоглазы.

Когда русское возрождение сформирует правительство новой России, оно вспомнит, что наше национальное («по форме») – все то же опостылевшее еврейское, а религиозное («по содержанию») – все та же зловещая «ветхозаветная древнеиудейская идея».. И не разминуться двум «богоизбранным» в тесном пространстве мировой истории, и невыносимо оставлять гроб Господень в руках распявших Его... Сюжет прописан, цели определены, задачи ясны. «За работу, товарищи!»

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА

Сегодня ему 71 год. У него основательный – как сказал бы Набоков, доходный – лоб, сильно напоминающий крутую ленинскую кладку, и сходство это символично.

В ненависти Солженицына к Сталину, яростной и бескомпромиссной, без особого труда прослушивается тон брезгливого презрения властелина Империи к «колониальному товару» – азиатскому парвеню, кавказскому выскочке.

Солженицынский Сталин поэтому не всегда страшен – бывает и смешон (роман «В круге первом»).

Иное дело – Ленин: здесь ненависть к своему не только по крови, но и по духу, ненависть к двойнику, которого ненавидишь тем больше, чем лучше понимаешь.

За полвека до того, как в Цюрихе оказался Солженицын, Ленин, тогда тоже политический эмигрант и литератор (так он сам определял свой род занятий в многочисленных анкетах), недоброжелательно вдыхал деловитый швейцарский воздух, изнывая от вынужденного безделья.

В романе «Ленин в Цюрихе», стилистически вялом и политически мутном (русская революция – результат еврейско-немецкого заговора против России), лучшие страницы (а они все же есть) – это внутренний монолог Ленина.

...Чистенькая островерхая Швейцария, рождественская сказка про Гензеля и Гретель; ванильные кондитерские с белоснежно порхающими, как ангелы, официантками; туго накрахмаленные швейцарцы... Как это все пошло, скучно, мелко, одним словом – буржуазно!..

У обоих – романного Ленина и реального Солженицына – природный аскетизм, неприятие всякой роскоши, избыточности, включая интеллектуальную; подозрительное отношение к культуре, если она не обслуживает культ высших, чем она сама, ценностей (Россия – нравственность – народ у Солженицына, «освобождение пролетариата» у Ленина); у обоих – савонароловское отрицание авангарда по причине его буржуазного индивидуализма (Ленин) или «бездуховности» (Солженицын), что, в конечном счете, одно и то же.

Правда, апокрифы, десятилетиями складывавшиеся вокруг ленинского «жития», еще доносят до нас какие-то отзвуки ленинской интеллигентности: вот он, зажмурив от наслаждения глаза, слушает «Крейцерову сонату», а вот хохочет на представлении в лондонском мюзик-холле, увлеченно позирует Герберту Уэлсу, а заодно и леди-скульптору...

Но в мире Солженицына нет ни музыки, ни живописи, ни бесед с выдающимися современниками (хоть бы с Сартром схлестнулся!... хоть бы с Набоковым перебрался парой слов!.. Бродского, что ли, на чай пригласил...) Ничего. Одно угрюмое накопление текстов (сотни, тысячи страниц!), где сам непомерный объем написанного как бы морально уравнивает сомнительный труд писателя с безнадежным, бесконечным, но нравственно безупречным трудом крестьянина.

В 1990-ом году в манифесте «Как нам обустроить Россию», обращаясь к своей гибнущей, разоренной, наконец-то духовной, поскольку вконец «нематериальной» родине, Солженицын рекомендует потеснить производство новых вещей *ремонт* старых.

Абсурдно? нелепо? кощунственно?.. Да, если не учесть, что в необширном, но налаженном идеологическом хозяйстве Солженицына вполне бытовое слово «ремонт» выполняет еще и дополнительную семантическую нагрузку: «ремонт» – это не что иное, как «реставрация», подштопанное старое предпочтительней дорогостоящего нового.

Напрасно только в дифирамбе «здоровому понятию ремонт» Солженицын взывает к опыту предков и «старой России, по веку жившей с неизменными ценами».

Но ведь и Россия новая, советская жила не иначе!.. Не знаю, как смотрит на «неизменность цен» экономическая наука, но в утопическом словаре Солженицына она означает неизменность (у Солженицына – «неизносность») вещей. Производить редко, но метко, мало, да прочно, а еще лучше – навечно.

В середине 60-х годов на Орехово-Зуевском текстильном комбинате нам, группе начинающих журналистов, с гордостью демонстрировали астматически ухающие ткацкие станки с чугуновой эпитафией на каждом: «1910». Из станков поточно струился текстиль: 1910-ый год умер, но не сдавался.

Всецело разделяя с Солженицыным идею Ремонта как основы хозяйствования, советская власть – воздадим ей должное – пошла много дальше, перенесла принцип «неизносности» из настоящего в будущее. Например: в перспективных планах развития (уже горбачевских) указано не только количество цветных телевизоров и стиральных машин, которыми завалят советских граждан в 2000 (!) году, но и точное число имеющих быть к началу 3-го тысячелетия новой эры «чулочно-носочных изделий на душу населения».

Но что будет, если неугомонный Запад в течение оставшегося десятилетия возьмет да и совместит цветной телевизор с голографией, стиральную машину с посудомоечной и для взбивания коктейлей, а в «чулочно-носочной» области произведет контрреволюцию и, уничтожив колготки как класс, вернется к шелковым чулкам со швом посередине и черной пяткой на пятке?.. Что тогда? Пусть не это, но что-нибудь новое обязательно изобретет!.. Ведь,

как зорко подметил Солженицын, «...ныне на Западе – оглушающая вереница все новых, новых кричащих моделей».

Нет, это не «плановая экономика», – это «обустройство вечности» в обход времени, это гностическое сопротивление приращению и умножению материи, страх перед новой вещью – лишь частный случай страха перед новым вообще, любым. Но каковы бы ни были метафизические и теологические валентности понятия «ремонт», ни одна из них не отменяет прямого смысла: ремонт есть ремонт, т.е. починка еще годной, хотя и подпорченной вещи вместо покупки (или производства) новой. Так говорит Солженицын.

И здесь опять из-за суровых черт православного проповедника проглядывает все тот же солженицынский Ленин в Цюрихе с его бережливостью, скуповатостью, просто скопидомством.

(Сведущие люди рассказывают об изматывающей мелочности и придирчивости Солженицына во всем, что касается ведения денежных дел. Это не характер, даже не мировоззрение, это – особый тип святости.)

А за полвека до Ленина и за век до Солженицына другой русский изгнанник (хотя и не политический: сбежал от кредиторов), социалист в прошлом, монархист в настоящем, как Солженицын романист, как Ленин – радикальный публицист, подобно им обоим, исходил злобой все в той же чистенькой кроткой Швейцарии.

В номере отеля холодно – это потому, что хозяйка-немка, «куриная нога в кринолине», ненавидит русских; в кафе зайти невозможно – сплошные поляки и лопочут по-польски специально, чтобы досадить русскому человеку... Но всего нестерпимей – сами швейцарцы: устроили карнавал в честь своих кантональных колбасных вольностей, а сам-то кантон – о Господи! – с Васильевский остров величиной!..

И, на сто лет вперед заготавливая аргументы для Солженицына (да и для Ленина), Достоевский формулирует: «Всеобщее избирательное право – самое нелепое изобретение XIX века». А Солженицын эту мысль развивает так: оно (то есть всеобщее избирательное право) есть «торжество бессодержательного количества над содержательным качеством». Вопрос: а что это такое – «содержательное качество»? Ответ: «содержательное качество» – это нация как «живой организм», противопоставленная обществу как механическому объединению кровно и духовно друг с другом не связанных «рассыпанных единиц».

Итак, запомним: нация против (выше) общества, поскольку нация (а еще лучше – народ) – это органическая природа, общество – механическое образование; общество – искусственно, нация – естественна, а что естественно, то от Бога, искусственное – от лукавого...

Вглядываясь в архитектурно безупречную семидесятилетнюю советскую постройку из мглы и мути нынешней «перестройки»,

вдруг замечаешь, какой страстью органичности была всегда томи-ма советская власть: «монолитное единство партии и народа», «народ и партия едины», «народ и армия едины»...

Неважно, насколько эти заклинания не соответствуют реальности, – важна пронизывающая их тоска по целостности («монолитности»).

Критики и противники Солженицына часто упрекают его в «советскости» по банальной схеме: всякое «анти-» неизбежно содержит в себе то именно, на что направлено, с чем борется. Плохой аргумент, вялый аргумент: истина в том, что и Солженицын, и советская власть – равноправные явления русской истории и русской духовной традиции – стремятся преодолеть одну и ту же антиномию: искусственное – природное, механическое – органическое, в конце концов: человеческое – божие.

(Легкость, с какой упорно не уходящая на пенсию компартия сотрудничает с помолодевшей и освеженной русской православной церковью, кажется политическим цинизмом или исторической растерянностью только тем невинным душам, которые всерьез верили в атеизм русского – и вообще – коммунизма. Тайная – в том числе и для самих коммунистов – церковность партии становится явной, только и всего.

Цветная иллюстрация из жизни советского телевидения: диалог секретаря обкома партии с областным же батюшкой.

Пятидесятилетний секретарь, искательно:

– В чем наша отчаявшаяся молодежь может найти сегодня нравственную опору?

Тридцатилетний батюшка, сурово:

– В Боге и в Церкви.

Партийный секретарь сокрушенно опускает голову в знак согласия).

...К старости Солженицын отрастил густую бороду. Как все в его судьбе, биографии, внешности, борода эта не борода, но – знак, вызов, исповедь и проповедь. Солженицынская борода отчетливо противостоит интеллигентской чеховской бородке, неухоженной бороденке Ленина и даже скудной татарской растительности на подбородке столь чтимого Солженицыным Достоевского... Нет, борода Солженицына, пышная, как говорится по-русски – «лопатой», – это – борода престарелого графа Льва Николаевича Толстого, борода эпическая, патриархальная, крестьянская борода, которую не выстригали, как английский газон, и она в ответ явила свою природную мощь. Но и с толстовской бородой дело обстоит не так просто, лишь только мы поместим ее в надлежущую доисторическую перспективу. Для начала зададимся вопросом: кто сейчас носит дикорастущие бороды?.. – Наши религиозные ортодоксы, православный клир, исламские фундаменталисты.

Со времен Фрезера, однако, известно, что борода – это атавизм,

пережиток, воспоминание о культах куда более древних, чем все современные религии – культах Земли; в более поздних (монотеистических) интерпретациях – примета божьего благословения, на самом деле – призыв «плодиться и размножаться», предусмотрительно перенесенный на самую целомудренную часть тела – лицо.

(Любопытно, что именно свойство «плодоношения» вкупе со «способностью» – это первая характеристика земли у Солженицына: «Для чего-то же дано земле чудесное, благословенное свойство плодоносить. И – потеряны те скопления людей, кто не способен взять от нее это свойство».)

Понятно, почему русские бояре, которых Петр самолично обривал, плакали от стыдобы. Они-то понимали тайный смысл происходящего: Император их – оскоплял.

Со старцем Толстым, пацифистом, моралистом и «непротивленцем», у Солженицына куда меньше общего, чем с молодым графом Толстым: оба прошли войну (Толстой – Крымскую 1855 года, Солженицын – Великую Отечественную), оба – младшие офицеры (поручик Толстой, капитан Солженицын), оба – что особенно занятно – артиллеристы... Оба гордились своим военным опытом и переплавляли его в художественный, оба чтити офицерскую честь и солдатскую доблесть.

Толстой, правда, во второй половине жизни такие чувства добросовестно изживал, в чем почти преуспел, Солженицын же сохранил навсегда... Остальное – и главное – в нем, включая татарские скулы и страдальческий монгольский эпикантус, – от Достоевского: смертная казнь – царская каторга – десять лет сталинских концлагерей; оба побывали в аду, оба вернулись оттуда, у обоих – мировая слава; оба предъявили деспотизму обвинения дантевской мощи («Записки из мертвого дома», «Архипелаг Гулаг»). И – никогда еще ожидания и надежды прогрессивного человечества не были так грубо растоптаны и безжалостно обмануты, как в случае двух этих подлинно великих мучеников тирании: вместо призыва к борьбе за свободу, равенство, права человека оба призвали вернуться к вере, церкви, нации, государству и прочим ценностям мистического коллективизма.

...На Западе Толстого принято считать антиподом Достоевского. Так удобней, потому что либеральней: «два гения – две России». А ведь и впрямь: у Толстого – анархическая критика любой государственности, включая русскую, у Достоевского – одержимый русский шовинизм, апология русской имперской мощи и православной церкви; у Толстого, напротив, общечеловеческая религия разума и сердца: филантропия Христа, отрешенность Будды, мудрость Конфуция, кое-что из Магомета – и все это, разумеется, при личном участии и под строжайшим контролем самого графа (т.н. «толстовство»)...

Меж тем, бедный городской квартиросъемщик Достоевский и крупнейший помещик-землевладелец Толстой сходились в главном – в «аграрном вопросе». Впрочем, вопроса-то как раз и не было – был ответ. Ответ Достоевского назывался – «почва»: русская «мать-земля» и пригвожденный к ней русский народ-«богоносец». В них истина, в них и правда.

Л. Н. Толстой, в свою очередь, полагал, что крестьянский (он же русский) народ от крепостного права только нравственно хорошеет, в образовании не нуждается, ибо темнота народная – внешняя, обманчивая, а под ней – свет духовный: мужик ближе к земле, то есть к правде, которая – в Боге.

...Когда читатель в своем трудном продвижении по ухабам, рытвинам и топям солженицынской мысли добредет наконец до раздела «Земля», он, читатель, должен помнить и понимать, что в указанном разделе речь идет вовсе не о земельных реформах, напоях и урожаях. В конце концов, Солженицын не агроном – он русский писатель, а для русского писателя «земля содержит не только хозяйственное, но и *нравственное* значение».

Именно поэтому Солженицын советует с осторожностью раздавать землю в частные руки: целостность, неделимость земли гарантирует нравственную целостность, неделимость («монолитность») народной души.

Почему Солженицын холодеет при мысли о том, что «иностранцы» начнут покупать в России землю? Да потому, что на «иностранцах» нет благодати: они не принадлежат к тому органичному союзу человека с землей, который и называется нацией, народом.

Но любому народу, даже самому нравственному и богоносному, необходимо прокормиться и приодеться. Исторический же опыт брутально доказал, что преуспеть в том и другом легче на путях свободного рынка и частной собственности (в частности, на землю).

Как быть?.. Как примирить нравственное значение земли с хозяйственным? Солженицын находит выход: мелкие земельные наделы предпочтительней крупных. Почему – ясно: мелкому земельному наделу соответствует личный физический труд, крупному – техника и труд наемный. Физический труд нравствен, ибо сохраняет и укрепляет непосредственную (душевную) связь человека с землей, а техника от нее отчуждает. Как «иностранцы».

Чем объяснить почти инстинктивное отвращение Солженицына ко всем видам свободы – от свободного рынка до свободы личности? Неустрашимым советским происхождением автора «Гулага»?

Все как раз наоборот: это не Солженицын – «советский», – это советская власть – «солженицынская». Точь-в-точь как Солженицын, она всю жизнь под видом проблем экономических решает проблемы метафизические.

...И все-таки он не вернулся. Так и не загремели в его честь колокола московских церквей и пушки московского гарнизона, не

вышли навстречу депутаты российского парламента с хлебом-солью в руках и Борисом Ельциным во главе... Не вставал Солженицын на колени, не целовал святую русскую землю, не влазил ни на броневик, как Ленин, ни на мавзолей Ленина, как Сталин, не обращался к нации с призывом покаяться, жить не по лжи, крепить семью и, главное, «немедленно прекратить атеистическое вдалбливание».

Что о победоносном возвращении Солженицына мечтали его сторонники и поклонники, – понятно. Занятно, однако, что того же хотели его противники – русские либералы, демократы, борцы за «права человека», короче – «прорабы перестройки». Да, хотели, ибо тогда оправдалось бы их заветное, давнее – еще 70-ых годов – грозное предупреждение: Солженицын – это русский Хомейни.

Но ролью аятоллы Солженицын неуклонно пренебрегал, каждый раз ставя новые условия своего возвращения, которые каждый раз – к его удивлению, а может, и неудовольствию – выполнялись.

– «Народ должен знать правду. Хочу, чтобы полностью опубликовали “Архипелаг Гулаг”». Опубликовали. – «И другие произведения...» Опубликовали и другие. – «По какому праву лишили меня гражданства?!» Специальным постановлением Верховного Совета Солженицыну вернули советское гражданство. – «...А из Союза писателей – за что?!» Восстановили и в Союзе писателей. Извинялись. Раскаивались.

Никакого движения. Но и этого мало: все пять лет четвертой русской революции, известной в мире под названием «перестройка», Солженицын – промолчал. Как если бы Зевс вдруг заглотал свои молнии вместо того, чтобы их извергнуть и обрушить.

Молчание Солженицына тем более тревожило воображение, чем очевидней становилась близость его идей теории и практике горбачевской «перестройки». В конце концов это увидели даже такие профессиональные дальтоники, как американские советологи.

И поползли слухи: знаете ли вы, что: в домашнем кабинете Горбачева, в углу, том самом, где иконка, висит портрет Солженицына?.. а по ночам супруги Горбачевы читают вслух друг другу отрывки из «Архипелага»?.. а Горбачев состоит в тайной переписке с Солженицыным? – Нет, это Солженицын тайно наставляет Горбачева; нет, это Горбачев просит Солженицына еще немного пострадать в Вермонте, чтобы своим явлением не возбуждать и без того перевозбужденную страну...

Так оно и шло, и только в июле 1990-го года из Вермонта наконец-то громыхнуло: Солженицын обратился к соотечественникам с манифестом «Как нам обустроить Россию».

Манифест опубликовала советская пресса. Перевели и напечатали на западе. И содрогнулись либералы на Западе и на Востоке. Да и как не содрогнуться?!..

Солженицын посмел назвать равенство «энтропией, ведущей к смерти», про всеобщее избирательное право выразился, что оно – «не закон Ньютона и в свойствах его разрешительно и усумниться», женщин призвал «вернуться обратно в семью»; заклеил плюрализм и противопоставил ему некую таинственную «верховную моральную инстанцию», в которой трудно не заподозрить совет аятолл, в переводе на русский – Священный Синод.

Боже милостивый!.. Кто только на Западе не выходит в либералы рядом с Солженицыным?

Вчерашние (и сегодняшние) коммунисты; седеющие радикалы 60-х с нестареющей ностальгией по Троцкому и «перманентной революции»; недавние почетные гости Чаушеску и «китайских товарищей»; поклонники прогрессивных революционных режимов – все они брезгливо морщатся и понимающе разводят руками: чего еще можно ожидать от обскуранта – консерватора – фундаменталиста – фашиста?!..

Даже М. С. Горбачев, недавний секретарь ЦК КПСС и нынешний президент СССР, чьи полномочия ограничены только распадом СССР, – и тот пожурил вермонтского затворника: он, Горбачев, со всем вниманием; прочитал, да, изучил, осмыслил; много наблюдений и замечаний; но он, Горбачев, как убежденный коммунист и нестигаемый демократ, не может согласиться с антидемократическими высказываниями великого писателя, в особенности – с его апологией сильной власти.

Но мучительней всех содрогнулись те, кого энциклика Солженицына задела непосредственно, – русские либералы и демократы, «левое лицо» «перестройки». Еще недавно они обсуждали прошлое, настоящее и будущее России на московских кухнях, под журчание водопроводных струй – домашнего средства против чутких ушей КГБ. Ныне по милости Горбачева вчерашние диссиденты перенесли те же обсуждения на страницы центральной прессы и заседания Верховного Совета. Из всех своих скудеющих сил они пытаются доказать себе, стране и миру, что наедине с собой Горбачев думает и говорит именно и только то, что они, либералы и демократы, говорят вслух.

А вслух они говорят: «...послание Солженицына способно осязаемо повредить обновлению России», поскольку автор «Архипелага» – враг демократии, изоляционист, коллективист, коммунист; он разжигает национальную рознь и нещадно калечит русский язык (Л. Баткин. «Как не повредить переустройству России», ответ Солженицыну).

Но то столичные либералы. Народная же, провинциальная Россия, о которой более всего печется Солженицын, рассудила иначе: «...в дни народных бедствий колокол набатный ударил все-таки над Россией... Этот великий труд... мысль гения, слово пророка» и т.д., и т.п.

Меж тем. все эти смерчи негодования «слева», равно как и вопли благодарности «справа», – суета сует, пустота пустот... Все это – ответ на имя и жест, а не на реальное содержание послания, в которое – уверена – так никто толком и не вчитался. А если бы вчитались – обнаружили бы вещи преудивительные и пренеприятные, причем для «правых» не меньше, чем для «левых».

Вот, скажем, Солженицын, с одной стороны, за свободный рынок, а с другой – за строгий над ним надзор. Но ведь именно на этом безумном противоречии и забуксовала «перестройка», именно поэтому окончательно разрушается то немногое, что еще осталось от советской экономики! Невозможно создать свободный рынок в рамках несвободного общества. Меж тем, Солженицын настоятельно рекомендует не слишком торопиться с разрушением существующих институций, иначе – беда, иначе – революция, как в 17-ом, и тогда уже – не встать, не подняться, не бывать России. Но, между прочим, никто и не торопился, и тем более не торопится: на шестом году «перестройки» партия не самораспустилась, армия не распалась, КГБ не самоубилось от стыда и раскаяния... Напротив, все три жизненно важных органа государственного организма с каждым новым днем живее и здоровее, чем вчера.

Солженицын рутинно проклинает большевиков, революцию, Сталина, атеизм, призывает к очищению, раскаянию, покаянию, искуплению, восстановлению, укреплению, укоренению... Но кого он, собственно, агитирует?!.. Вот уже шесть лет распоследняя районная газетка кричит о том же и в тех же выражениях!..

Ни на чем Солженицын так страстно не настаивает, как на усилении и даже неподотчетности президентской власти: если уж нельзя монарха, пусть хотя бы президент будет несменяем!.. Стало быть, Горбачев выказал Солженицыну черную неблагодарность?.. Нет, это не неблагодарность – это лицемерие: к моменту публикации солженицынского манифеста Верховный Совет СССР уже вынес постановление о расширении президентских полномочий и даже о наказании за оскорбление «величества», то бишь Президента.

Или они и впрямь находятся в тайной связи, и параграфы уложения «Как нам обустроить Россию» ложились на стол Президента раньше, чем попали к издателю, редактору и корректору?

Не верю. Просто вышла ошибка в жанре: перед нами не футурология с элементами утопии, а – репортаж. Если не с места, то со времени события. Солженицын выдает *действительное* за *желаемое*: он не пророчествует о будущем – он «списывает» настоящее, короче и грубее – «отписывается».

И сторонники, и противники Солженицына одинаково постеснялись признаться в том, что руководящие идеи его манифеста давно известны, а советы – запоздали.

В результате общего смущения несколько действительных новшеств остались незамеченными. Одно из них касается еврейского вопроса, на который у Солженицына прежде находился один-единственный неизменный ответ – антисемитский.

Солженицын – антисемит политический: революция, большевики, террор, Гулаг – все это, по его учению, еврейский заговор, умысел и промысел («Архипелаг Гулаг», «Ленин в Цюрихе», «Красное колесо»). И метафизический: в темпераментном изображении Солженицына убийца Столыпина, еврей Богров (лицо историческое), напоминает мифологического змия, дракона, смертельно жальщего светлого рыцаря, русского Георгия Победоносца («Красное колесо»).

Короче: чтобы искренне отрицать антисемитизм Солженицына (любимое занятие русских евреев-либералов), нужно обладать моральной чувствительностью бегемота.

И вдруг: в главе «А что́ есть Россия?», в абзаце, описывающем спокойное сосуществование племен, народов и наций в царской России, мы натываемся на крохотное – два слова – вводное предложение, взрывающее идиллический многонациональный пейзаж: «...как бы нам вернуться к тому, с *прискорбным исключением*, спокойному сожитию наций, тому даже дремотному неразличению наций, какое было почти достигнуто в последнее десятилетие предреволюционной России».

Это что за исключение такое? Ясное дело – евреи. Почему «прискорбное» тоже понятно: дискриминации, черта оседлости и – погромы, погромы, погромы... Как тут не скорбеть...

Наивный, то есть западный, читатель, вероятно, удивится и даже возмутится: откуда у проповедника и обличителя внезапная стыдливость? почему намек? почему не сказать прямо?.. А если не обратят внимания? не поймут?.. Не беспокойтесь: кому надо, тот поймет. А надо во вторую очередь – русским евреям, а в главную и в первую – русским антисемитам. Так Солженицын дает им понять, что он уже не такой (или не совсем такой), как они.

А вот пример еще разительней: мощными мазками рисует Солженицын страшную картину «тлетворного влияния Запада» на русскую жизнь и русскую молодежь: «навозная жижа распущенной опустившейся поп-масс-культуры, вульгарнейшие моды и издержки публичности... и вот эти отбросы жадно впитывала наша молодежь».

В авторитетах со стороны Солженицын не нуждается. Сказанное им имеет для России значение указа, постановления, заповеди, особенно по вопросу о «тлетворном влиянии Запада», где и так царит почти всеобщее согласие. Но Солженицыну почему-то понадобилось подкрепить свою инвективу голосом со стороны. Правда, это голос не частного лица, а целой страны: «...поучительно заметить, как о сходном явлении звучат тревожные голоса в Израиле:

“ивритская культурная революция была совершена не для того, чтобы наша страна капитулировала перед американским культурным империализмом и его побочными продуктами, “западным интеллектуальным мусором”».

И опять наивный западный читатель вправе растеряться – он, западный читатель, знает (помнит, слышал), что Израиль – демократическое, то есть плюралистическое общество, а значит, говорит разными голосами, из которых каждый имеет имя, фамилию, адрес и место публикации.

Так знай же, западный читатель! Не на тебя рассчитана анонимная цитата, а рассчитана она на читателя русского, весьма специфического, хотя и массового. Этот читатель – русский антисемит.

Современный русский антисемитизм (и антисемит) учит, что западная «поп-масс-культура» вовсе не западная, а – восточная, точнее – ближневосточная: она придумана и производится в Тель-Авиве с единственной целью разложения девственного духа и чистого тела русского народа.

Нужно реально представлять себе тотальную распространенность и всеохватность этого горячечного бреда, чтобы оценить одинокое мужество Солженицына: русским антисемитам – фашистам – нацистам он наглядно доказал, что именно и только Израиль является их идеологическим союзником и товарищем по оружию в борьбе с «американским... империализмом» и «западным интеллектуальным мусором».

Можно возмущаться Солженицыным, можно восхищаться... Я бы восхитилась, если бы не одно обстоятельство: мне доподлинно известны имя, фамилия и адрес автора цитаты, а также источник, из которого она взята. Источник – израильский русскоязычный журнал «22», вот уже двенадцать лет издающийся в Тель-Авиве. Столько же примерно лет Солженицын является регулярным подписчиком и внимательным читателем журнала. Есть все основания предположить, что именно журналу «22» мы обязаны тем выгодным и привлекательным образом нашей маленькой страны, который сложился в воображении великого писателя. (Так, судя по некоторым высказываниям, Солженицын свято убежден в том, что Израиль – это теократия, чего он от всей души желает и России).

А теперь об авторе. Автор – русскоязычная журналистка Нелли Гутина, репатриантка с двадцатилетним стажем жизни в Израиле и моя знакомая. В отличие от большинства наших с ней соотечественников, людей смирных и умеренных, Нелли Гутина за два неполных десятилетия в широтах своей неукротимой природы прошла путь от крайне левого палестинофильства (в духе кнаанитов) до радикального «израэлизма» в стиле Гуш-Эмумим.

Здесь нет ни политической эволюции, ни идеологической революции, ни противоречия, ни развития, ибо, в сущности, и кнаани-

ты, и Гуш-Эмумим – всего лишь псевдонимы старого и разношенного, как домашние туфли, русского славянофильства и почвенничества: земля как святыня («святая земля»), «народ-богоносец» («избранный народ»), «свет с Востока», «закат Запада» и т.д., и т.п.

Поскольку Нелли Гутина обращается к «русскому» Израилю, ей даже не пришлось переписывать «русскую идею» ивритскими буквами и справа налево.

Легко представить удивление и умиление Солженицына: под видом Израиля ему подарили Россию.

А теперь попробуем сложить разномастную мозаику в цельную картину.

Итак, в момент, когда Россия терпит историческое бедствие, величайший из ее ныне живущих писателей обращается к своей стране как пророк, судья, проповедник, спаситель: он обличает, предостерегает, утешает, обещает, увещевает, рекомендует. Причем не только от своего имени, но и ссылаясь на такие всемирно признанные авторитеты, как Тит Ливий, Библия, Платон, Аристотель, президент Рейган. В том же ряду цитат и ссылок, и по таким воспаленным для России вопросам, как еврейский и европейский (шире: западный) находим обширную цитату из как бы израильского текста, по воле Солженицына – анонимного и для самого Израиля – маргинального.

Вспомогательное сравнение: а что если бы В. И. Ленин вписал в «Апрельские тезисы» шансонетку, модную в Париже в дни франко-прусской войны?

Странный ответ несерьезности бросает весь этот эпизод на манифест Солженицына. Но несерьезность – это последнее, в чем его можно обвинить. Тут другое.

Если мы еще раз вспомним об удручающей синхронности идей солженицынской декларации политическому быту и общественному климату «перестройки», – вывод напрашивается один: перед нами документ предельной исторической усталости, исторического разочарования и неверия ни в возможности самой России спастись, ни в свои собственные – ее спасти...

Именно поэтому нигде и никогда так безоглядно и безвкусно не воплощал Солженицын свою лингвистическую утопию, как в этой последней работе: небывалая новизна его «старого» русского языка скрывает устарелость выраженных на нем идей. Язык манифеста «Как нам обустроить Россию» – это язык сказочного лубочного Московского княжества, которое так никогда и не стало Россией, империей, счастливо обмануло и обминуло и русский XVIII-ый век с Петром и Петербургом, и XIX-ый – с крепостным правом, Пушкиным, русским романом, отменой рабства, музыкой Чайковского, и, главное, XX-ый с Лениным- Сталиным, коммунизмом, «последним докатом»...

Этот идеальный, не существовавший и несуществующий русский язык Солженицын выращивает из одного звука и буквы «о» с ее сдобной круглостью, замкнутостью, изоляционизмом... «Обустроить – оморачивать – огрязнять – обвершение» – языковый реванш за историческое поражение.

А меж тем, ни марксизм за сто пятьдесят лет, ни ленинизм за семьдесят не преуспели так, как идеология Солженицына за четверть века ее существования и распространения в России. Но, как это для России типично, победа идеологии – любой – означает ее радикализацию. А ведь идеи Солженицына изначально не отличались ни кротостью, ни терпимостью, ни либерализмом.

В результате: политический антисемитизм Солженицына продолжился таким массовым мистическим юдофобством, какого мир не знал со времен нацистской Германии; Солженицын первый затосковал по монархии – и вот уже в русских домах портреты последнего императора и его семьи вытесняют портреты самого Солженицына; он призывал вернуться к Богу и церкви – вернулись: над нищающей серой Москвой победоносно сверкают только что обзолоченные купола всех ее старых и вновь открытых храмов; вслед за Достоевским восславил и противопоставил русскую «соборность» западному индивидуализму – выполнено: коммунисты ходят в обнимку с монархистами и фашистами, ибо все они – коллективисты; грудью на защиту нравственных и религиозных ценностей? – есть кому защищать: ближайший друг и соратник Солженицына, академик Игорь Шафаревич, публично, через газету, выражает свое восхищение иранскими аятоллами за то, что приговорили к смерти отступника и осквернителя Рушди... Вот бы и нам так расправиться с нашими «плюралистами», левыми интеллектуалами, «западниками» и атеистами!..

А что произошло с единственной либеральной, «левой» идеей Солженицына – правом наций на самоопределение вплоть до выхода из Союза? Не страшно: переварим и это: ведь заранее известно, какой будет новая, «похудевшая» на десяток республик Россия, – она будет демократической, монархической, теократической, социалистической, но главное – расово и морально чистой. Как сказано в издаваемом ЦК ВЛКСМ популярном фашистском журнале «Молодая гвардия»: «Российская империя умирает, но возрождается Россия»*.

При таком раскладе Солженицын идеологически оказался вытесненным на Запад, благо он уже давно географически там находится. На Западе хорошо думается и мечтается о России, особенно

* «Молодая гвардия», № 11, 1990 г., стр. 253. В этом же номере десяти страницах, с 206-ой по 216-ую, со ссылкой на вышедший в Тель-Авиве в 1982-ом году первый том второго издания книги Арона Абрамовича «В решающей войне» и по просьбе читателей журнала, опубликован список евреев, занимавших командные должности во время гражданской войны.

в штате Вермонт, где много земли, где летом колосится пшеница, а зимой небо опускается низко и выпадает снег – совсем как в России... Из дома доносятся звуки фортепиано: играет сын. Дом и весь уклад солженицынской жизни – это Ясная Поляна, чудом вытщенная и спасенная из потока катастрофического русского времени и пространства

Он живет уже по ту сторону славы, в обустроенном бессмертии, и пишет, пишет, катит свое «Красное колесо», такое замкнутое на себя и отъединенное, как буква «о». Что, впрочем, для «колеса» неудивительно. Он «вяжет» один за другим «узлы» эпопеи, не столько грандиозной, сколь громоздкой; «узлы» добротные, подробные, «шерстяные», похожие на хорошо отремонтированные старые вещи, которые он лично предпочитает новым и другим советует... Так только и можно писать – «вязать» в бессмертии, или, что то же самое, в XIX веке.

Неизвестно, что в конце концов вынудило Солженицына перебраться из 1917-го года в 1990-ый, но результат печален: насколько оглушительным было молчание, настолько шепотом обернулась речь. Из грозовой тучи пролилось несколько капель... Можно ли винить его за это?.. Он свое совершил, остальное досказывает и допишет Россия.

P.S. Эта статья была уже дописана, когда начались военные действия в Персидском заливе и ракетные атаки на Израиль. Никогда еще слух в моей жизни не играл такой господствующей роли: я не отрывалась от радио. Чем меньше я постигала военные сводки, комментарии и прогнозы, тем пристальней вслушивалась в риторическую канонаду, доносящуюся из Багдада. Я как-то вдруг стала понимать по-арабски: «Американский империализм – сионизм – атеизм... У них технология – у нас вера... Священная война... священная Земля – Сатана №1, Сатана №2... Победа будет за нами...» Что тут непонятного? Я это слышу с детства.

Нет, это не идеологическое оружие, полученное Ираком от России вместе с танками, самолетами и ракетами, – это то, благодаря чему Ирак получил русские танки, самолеты и ракеты: внутреннее родство. Исламская революция и русское национальное возрождение – близнецы. Нет сегодня в России слова более употребляемого, все объясняющего и все покрывающего, чем «сатана» и его производные: Сталин – сатана (шесть пальцев на ноге); Горбачев – сатана (родимое пятно на лбу, метка дьявола), евреи – слуги сатаны, рок-музыка – голос сатаны...

Сегодняшний Багдад – это город-спутник Москвы: Восток начинается там, где противостоят Западу как врагу, «чужому», «неверному», а во имя коммунизма, ислама или православия – безразлично: у них на Западе материя, у нас – дух, у них технология, у нас – вера, у них цивилизация, у нас – культура... Дайте, про-

дайте, подарите нам ваше оружие, а мы его освятим, одухотворим, очистим.

Небо над Персидским заливом стало черным от копоти и гари, но исторический горизонт прояснился... Пока сидишь на либеральной московской кухне, в парижском кафе или американском университете, Солженицын представляется самым мощным – после Достоевского и Толстого – и потому самым опасным воплощением русского Востока.

Но отсюда, из нашего ближневосточного далека, тот же Солженицын с его экзотическим коктейлем из Шпенглера, американской конституции, Монтескье, швейцарских кантональных выборов, Карла Поппера и трусливых, но доброжелательных поглядываний в сторону Израиля – он, этот старый новый Солженицын, русский классик и американский гражданин, кажется едва ли не последним русским европейцем, западником и либералом.

...Бывают оговорки, глубиной равные откровению. Однажды дикторша русской редакции «Кол Израэл» сказала так: «Советский Союз и другие арабские страны...»

АПОЛОГИЯ ЖАНРА

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ

Итак, я впервые в Европе, впервые в Париже. Париж меня потряс, как потрясает сон, когда-то увиденный, а потом воплотившийся в реальность. Я ходила по Парижу со своим другом, который непрерывно удивлялся тому, что я правильно называю какие-то улицы, дома, места. Потом он рассказал мне прелестную историю. Когда в 1946 году он приехал из Польши с родителями во Францию, единственный адрес, который они знали был адрес, указанный Дюма в романе «Три мушкетера»: улица, кабачок и гостиница над ним... В кабачке, писал Дюма, всегда есть старое вино и молодые женщины. И вот прямо с вокзала они отправились по этому адресу и нашли и улицу и кабачок, только вино там было молодым, а женщины – старыми...

У него – моего друга – было точно такое же восточноевропейское прошлое, как у меня, и он так же изучал Францию по романам Дюма, только романы Дюма он читал на польском языке. Я их читала на русском.

Это действительно было возвращение во Францию Дюма, во Францию моего детства, в детство... Это было очень странное чувство – чувство возвращения и вместе с тем чувство страшной глухой обиды: почему только сейчас, в таком возрасте, почему не раньше, когда все это было так естественно моим? Я поняла, что тот счет, который можно предъявить России, выходит за пределы политического, исторического, даже культурного счета, что за Россией числится метафизическое преступление по отношению к своим гражданам – безразлично, русские они или евреи, – метафизическое, потому что отрезать человека от мира, которого он часть, которому он естественно принадлежит (и который естественно принадлежит ему), – это преступление, по которому даже расплаты не может быть, не может быть наказания.

Франция создала такую культуру, которая как бы естественно принадлежит миру. Париж – открытый город (хотя позже, когда я побывала в Италии, я поняла определенную холодность и замкнутость французов). Париж действительно принадлежит миру и Париж всю жизнь был органической частью меня. Это было грустное путешествие и грустные прогулки. И грустные размышления о своей жизни, которая прошла совсем не так, как она должна была пройти. Я чувствовала себя легко и свободно, хотя эта легкость свободы была иллюзорной – я не говорила по-французски; но я внутренне ощущала его родным языком – языком своего детства (дело даже не в том, что 20 лет назад я говорила по-французски и переводила с французского; дело в другом: я думаю, что это чисто еврейское, – есть еврей-«англичанин», еврей-«француз», как есть

еврей-«русские», – независимо от того, где они живут). Нет, я не думала, что принадлежу французской культуре, но что для меня было абсолютно несомненно, – что я принадлежу европейской культуре. Я имею в виду не европейскую литературу или совокупность европейских литератур, а именно европейскую культуру в современном понимании слова «культура» – как образ человека, как совокупность отношений, как все то пространство, в котором человек существует. Все это – моя культура. Нет, могла бы быть моей, потому что сейчас во мне уже слишком много тяжести и слишком много лет за спиной. И слишком много сожалений и горечи. Это было как хождение по грани – грани мира, который мог бы стать твоим, но уже никогда не станет.

Россия и русская культура – а мы все выходцы из нее, – подготовила нас к тому, что мы должны быть несчастны на Западе. Почему? Потому что не первый год, не сегодня, не вчера, существует такая традиция: «Запад – богат, мы – духовны».

Очень интересно было бы понять и проследить, – как, каким образом советский официоз тут переплелся с самыми традиционными, в общем то, представлениями русской культуры? Ведь и для советского официоза сегодня расхожий газетный штамп «буржуазность» – синоним некоего отрицательного духовного качества. Боже мой, да ведь все это еще Толстым и Достоевским подготовлено! Достоевский приезжает в Швейцарию и приходит в ужас от швейцарского благополучия. Приезжает Толстой и пишет «Люцерн» – а у него за плечами крепостное право, крепостная Россия, нищая, страшная, мужичья, бесправная, без человеческого достоинства. Но именно в Люцерне он видит голодного скрипача и сытую буржуазную публику...

В этой непрерывной традиции легко себе представить Ленина – в Лозанне, в Цюрихе, в Париже – именно таким, каким его изобразил Солженицын: раздраженным, злобным, завистливым... – но мне это было неинтересно. Мне интересен был Париж. А Париж был действительно прекрасен. Париж был великолепен.

И я думала: этот мир очень богат, и богат также духовно, ибо в нем есть то главное, что я начинаю уважать и ценить больше всего: свобода. Хочешь быть буржуа, – будь буржуа. Хочешь погружаться в метафизические бездны страдания – пожалуйста, погружайся, но здесь, по крайней мере, невозможно из своей слабости, из своих несчастий создавать культ. А ведь именно к этому приучила нас Россия. Может быть, этот русский путь очень человечен, может быть, это даже единственно возможный путь – свое собственное несчастье и неудачливость превращать в мировую духовную проблему, но мне мерещится в нем что-то некрасивое и не очень глубокое даже.

А свобода – вот что я поняла в Париже, – свобода не требует оправданий. Она не прагматична. Бессмысленно спрашивать о

содержании понятия «свобода», бессмысленно спрашивать: зачем свобода? Свобода есть содержательный акт жизни. Она сама по себе, она сама себе оправдание и ни в каком другом не нуждается.

И вот что я поняла: если бы сейчас, не приведи Господь, мне пришлось вернуться в Россию – не в лагерь, не в тюрьму, а просто в Россию, если бы мне сказали, что завтра снова начнется для меня русская жизнь, – я бы покончила свою собственную жизнь, ментально, потому что так, как я воспринимаю сейчас Россию, для меня это просто вариант смерти. Может быть, даже худший.

Во Франции в первый раз я увидела ухоженное, взлелеянное пространство – землю, которая виделась именно как любимая, холеная земля. Земля, на которой не было катаклизмов. Может быть, счастье Франции в том, что в ней произошла буржуазная революция, а не социалистическая, – буржуа, как известно, прагматики и накопители. Как и вся Европа. Франция только накопила. Были, конечно, катастрофы, я знаю об этом, но Европа из них выходила по-другому.

Я смотрела из окна поезда – мимо проносились замки, фермы и какие-то современные сооружения, совсем новые, очень современной архитектуры, – и все это смотрелось вместе, как пласты человеческой истории, человеческого труда. Это было гуманизированное пространство. И я вспомнила, как в Париже на одной улочке я видела предвыборные плакаты – за правых, за коммунистов, – они висели на заборе, с которого до сих пор не смыли надпись: «Свободу Дрейфусу!» И эта надпись читалась точно так же, как те плакаты, которые были наклеены вчера и позавчера. Я знаю о французском антисемитизме, и я думаю, что призыв «Свободу Дрейфусу!» сегодня, возможно, так же актуален, как во времена Дрейфуса. Но разве это смешение добра и зла, антисемитизма и гуманизма, дурного и хорошего не есть человеческая жизнь?..

Есть одна ненавистная мне фраза: когда я начинаю восторгаться Западом, мне отвечают: «И там есть свои проблемы». Господи Боже мой, но ведь это же нелепое возражение! Проблем нет только на кладбище, да и то мы еще этого точно не знаем. Ну, конечно, там есть свои проблемы. Но в этой фразе мне особенно важно слово «свои». Там именно «свои» проблемы, они свои, они не похожи на наши, и это есть жизнь.

Я не почувствовала в ней никакого привкуса сытости, или умирания, или увядания. Это полная жизнь, с огромными возможностями – и трагическими, в том числе, иначе она не была бы полной. И я опять вспомнила дорогую мне русскую культуру с ее

вечным оплакиванием Запада и с постоянным панихидным звоном – от Хомякова с его «Стустилась **тьма ночная** на дальнем западе, стране святых чудес», до Пастернака: «Прощальных слез не осуша, проплакав вечер целый, уходит с запада душа, ей **ничего там делать**». Это было написано почти через сто лет после Хомякова. Боже мой, что это за проклятие над ними всеми висело?

В России чувствовать себя евреем было огромным преимуществом, внутренним, духовным, – при всех внешних неудобствах такого положения. Заглядывая в себя, ты чувствовал в себе потоки древней, более цивилизованной и гуманной крови, и ясно было, что у евреев есть метафизическое преимущество: пусть они проиграли пространство, но зато они выиграли время. Когда я ехала по Европе, это преимущество уже не казалось мне таким очевидным. Когда смотришь на Европу и видишь эти пласты человеческого труда, человеческой культуры, которая одинаково запечатлена во всем – в домах, в памятниках архитектуры, в лицах, в человеческих отношениях, – эти преимущества еврейского пути начинают казаться сомнительными.

Вот лежат рядом две страны; между ними такое маленькое пространство – и такое невероятное разнообразие культур. Между Францией и Швейцарией, между Францией и Италией – целая вселенная, это совершенно разные миры. Вот Швейцария с ее кантонами, где каждый кантон – сам себе господин и сам себе хозяин... Это удивительное чудо Европы, это загадка Европы. Что было задумано, какой замысел был брошен над этим материком? Мы абсолютно не понимаем, что такое **личность**. Русская культура и русская философия – и тут они тоже очень интересно переплетены с советской идеологией – отмечены приматом коллективизма. И притом все равно, как этот коллективизм называется: народ, государство, община, хоровое начало, церковь... Но этот примат для выходцев из русской культуры абсолютно явственен и приемлем, в этом они видят свое преимущество перед Европой. Мы совершенно не понимаем, не чувствуем тех экзистенциальных, даже мистических глубин, которые скрыты за европейским представлением о личности. Отдельный швейцарский кантон – это ведь тоже особое представление о личности. И один европеец, который строит свой мир, свою вселенную, – это личность. Города-личности, страны-личности.

Это было очень горькое путешествие, потому что глаз радовался, а душа почти плакала. Оно открыло мне наше положение, всех нас – русских евреев. Это, в сущности, почти тупиковое положение. Мы духовно замкнуты между двумя мирами, каждый из которых коллективистичен. Ведь еврейский мир по идее так же коллективистичен, как и русский, ибо идея еврейского народа и еврейского существования – я не говорю сейчас о еврейской избранности – это коллективистическая идея. И выбор между Россией и

Израилем – не между странами и политическими реалиями, а между духовными сущностями – превращается для нас в выбор между коллективизмом, который тебе этнически чужд и тебя выталкивает, и коллективизмом, который тебе кровно свой и готов тебя принять. Но оказывается, что ты не хочешь метаться между этими двумя выборами. Россию мы для себя закрыли, но коллективистичность Израиля (на страны, а духовной реальности) начинает нас пугать. Мы ничего не знаем о своем прошлом, но ведь не может же быть случайным, что в Европе мы чувствуем себя так легко, и спокойно, и свободно? Чтобы такой радостью наполняла она нас! Это значит, что две тысячи лет скитаний по Европе, которые выпали на нашу долю, не прошли даром: Европа – уже наш мир...

Швейцария поразительна была тем, что с самого начала напомнила мне Израиль. Ландшафт, горы... И в Женеве столько же жителей, сколько в Иерусалиме. И на каждом шагу слышишь выражение: «Старый город», – как в Иерусалиме. И так же естественно вписываются в город куски деревни, как в Иерусалим: на окраинах Женевы я видела маленькие, аккуратные стада коров, полянку, на которой молодой козленок играл с поросенком. Я бы сказала, что Женева по отношению к Иерусалиму – это потерянный рай. И «земля, текущая молоком и медом», – это, конечно, Швейцария.

Только что прошел дождь, висели низкие тучи, и у меня было полное ощущение, что дождь этот – молочный. Тучи были как набухшее вымя, а дождь проливался, как парное молоко. И звуковым обликом Швейцарии стало для меня не тиканье часов и шуршание банкнот, а этот вот мягкий теплый молочный дождь и парная земля. Я опять увидела очень ухоженную землю. И снова возникла у меня эта горькая мысль: я не знаю, выиграли ли мы время, я не знаю, что значит «выиграть Время», но у меня полное ощущение, что мы проиграли пространство... Да, в Женеве есть Старый город, только этот город – европейский. Какие бы усилия я над собой ни совершала, я не могу ощутить арабский Старый город в Иерусалиме – своим. Там меня всегда охватывает ощущение, что в нем нет места для человека, – все сливается в сплошной орнамент из зданий, людей, рынка, голосов. Жить в этом городе каждый день, провисая над бездной, над пропастью Востока – страшно. Мы говорим, что Израилю грозит «левантизация», – это не то! Не левантизация, а мусульманизация, провал в коллективистическую, безличностную пропасть Востока.

Есть очень приятное, шпенглеровское, и очень популярное в России (я думаю, не случайно) противопоставление культуры и цивилизации, очень утешительное, мы все в нем живем. Оно сейчас стало всеобщим. После Европы я этого больше не чувствую. Я поняла, что нет такой культуры, которая бы не имела своего цивилизационного облика. И нет такой цивилизации, которая не была бы культурой. Швейцария – это и культура, и цивилизация. Для нашей русской традиции это удобное противопоставление, ибо Россия не знает цивилизации.

Израиль тоже провоцирует утешаться этим противопоставлением, потому что цивилизации в современном смысле здесь, по сравнению с Европой, – мало. Культура здесь, по нашему убеждению, **должна быть**, – независимо от того, чувствуем мы ее или нет. Но я повторяю, – я все больше и больше сомневаюсь в том, что возможна культура, подлинная культура, без выросшей на ней и из нее «своей» цивилизации. В этом смысле Европа органична: ее цивилизация – как дерево, выросшее из почвы родной культуры. Но странно: стоит заговорить об этом с некоторыми израильскими евреями, – и они возражают: «Да, Европа, конечно, но ведь она такая благополучная...» О Господи, но почему благополучие – это недостаток? И потом неправда, будто она такая благополучная, – она живая. Другие начинают говорить: «Да, но она загнивает, у нее нет моральных ценностей...» Но и это неправда, – Европа очень моральна. Посмотрите, что делается в мире – где бы что ни произошло, в России ли, в Уганде, в Чили, – к кому взывают? К Европе. В Европе есть общественное мнение. Европе мы предъявляем претензии. Солженицын всю свою проповедь строит на том, что обвиняет Европу: она-де не выполняет обязательств, которые налагает свобода...

... Во Флоренции меня потрясла не сама галерея Уффици, а то, что я увидела картины Боттичелли в освещении того неба и того света, которые есть в них самих. Эти картины висели в простенках между окнами, а в окнах я видела тот же пейзаж, что был нарисован на этих картинах. И перед ними стояли люди, которых свободно можно было перенести внутрь рамы, – они слились бы с персонажами. А потом я увидела картины Рафаэля – и поняла, что такое личность, как ее понимал Ренессанс. Эти люди не жили мечтой о будущем. Они не рассматривали себя, как ступеньку к какому-то будущему состоянию мира. Они до конца изживали данную им жизнь, а потом уходили в картины или растворялись в пространстве Тосканы. У них было ощущение своей личности, как Божьего дара, который нужно использовать. Без мессианизма, без профетизма, без этого унылого русско-еврейского комплекса: будущее, будущее, будущее, на которое мы всегда работаем...

Но один мой собеседник, русский еврей, как и я, сказал мне: «Вы говорите о европейской культуре, потому что вы ее знаете. Но

вы не знаете еврейской культуры, которую нужно изучать, которая передается из поколения в поколение, в которую не так-то легко войти, на это нужно потратить целую жизнь». Это серьезный аргумент. Но я хочу сказать: культура, которая передается из поколения в поколение только по одной цепочке Слова и которую нужно «изучать», не является в европейском – да и в моем – понимании культурой. Может быть, следует говорить об особом еврейском эзотерическом знании, об особой еврейской мудрости, о еврейской традиции. Но можно ли говорить о преемственной, непрерывной культуре – образе жизни, языке, традициях, об овеществленном в быте и в сознании наследии поколений, – когда на исторической прямой есть всего две точки: сегодня и две тысячи лет назад? Ведь нельзя же всю свою жизнь измерять только и постоянно тем, что было две тысячи лет назад, или тем, что будет две тысячи лет спустя?

Абсолютная самодостаточность сиюминутной жизни, абсолютное ощущение данного пространства, как подлежащего освоению в каждую данную эпоху, в данный момент, – вот что для меня составляет духовность Европы и без чего нет культуры и нет, пожалуй, подлинно нормальной жизни.

Во Флоренции, в этом очень спокойном городе, через который протекает та «желтоглазая Арно», о которой писал Мандельштам (она действительно желтоглазая), – время как будто остановилось. Там очень много фаэтонов, много больше, чем машин, и по утрам я просыпалась от звука, который, казалось бы, мне по году моего рождения не суждено было услышать в моей жизни: цокот множества копыт по булыжной мостовой. Это был звук времени, которому я не принадлежала. И странно, что во Флоренции, более спокойной, чем Париж, чем Женева, я жила в таком напряжении, словно вот-вот должен раздаться взрыв.

Это обилие мрамора, картин, скульптур, эта естественная для итальянского католичества незаметность перехода церкви в то, что мы называем музеем, превращает всю Италию в один общий дом. Итальянец живет в этом доме, он переходит не из мира в мир, а из комнаты в комнату. Улица – комната, и галерея Уффици – комната, и флорентийский храм, где крестили Данте, – тоже комната. Итальянец все время остается в пределах абсолютно обжитого мира. Но настолько обжитого, что рождается чудовищное подозрение, – не изжитого ли?

И мне подумалось: быть может, современный итальянский террор – это какая-то попытка взорвать свое вневременное простран-

ство, вернуться в историю, – то, о чем Брюсов так варварски писал: «Оживить одряхлевшее тело волной пылающей крови...»

А затем я увидела скульптуру Донателло «Давид и Апполон», увидела Микеланджело и Боттичелли, которые открыли мне итальянское прочтение Танаха. Я увидела ту абсолютную естественность, совершенно божественную легкость, с которой они связали Танах с античностью, пляшущего Давида – с Дионисом. И мне стало больно. Мне стало больно от ощущения, что это какие-то **наши** неиспользованные возможности, еврейские возможности.

Но мы сами наложили на себя запрет. Мы его создали, мы ему подчинились – и построили свой храм во Времени.

Может быть, есть что-то сходное между итальянской попыткой вырваться из вневременья и нашей, еврейской попыткой вернуться в историю. Разумеется, аналогия сомнительна, у нее нет общего исторического основания. Но поскольку Италия – это сплошная «метафизика», то хочется говорить на ее уровне. Да, возникает ощущение каких-то упущенных нами возможностей и какой-то принципиальной аскетичности, граничащей с нищетой, на которую мы себя обрекли.

Мы провозгласили, что наша Истина такого рода, что она не нуждается в культурном воплощении. Что она, может быть, даже должна это культурное воплощение победить. В еврейском знании существует некий незримый, негласный диалог между нашей метафизикой – и культурой в европейском смысле слова. Для нас это враги. И мы верим, что конечная победа останется за еврейским культурно невоплощенным (опять же в европейском смысле слова «культура») духом.

Но я не могу смириться с мыслью, что мы верим в миф, который исторически ничем не подтвержден. Вот, сегодня мы завоевали себе пространство, мы пришли в него – в пустое пространство, которое нам оставили наши предки. Но чем мы его наполним? Это очень красиво – сказать: зато у нас позади есть Время. Человек так же принадлежит пространству, как и времени. Я подозреваю, что в нашем мышлении – в нашем русско-еврейском мышлении – существует устойчивая, как миф, убежденность, что (экзистенциально, религиозно) наполненное Словом время, – более высокая ценность, чем застроенное Культурой пространство. Я сама так думала в России, но теперь у меня больше такой уверенности нет, потому что я видела Европу – прекрасное торжество очеловеченного пространства.

ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

...Однажды очень славный и давно немолодой человек, желая угостить меня чем повкусней и поприятней, сказал, что по совокупности достоинств я заслуживаю перевода из киевлян в ленинградцы и что он (понятно, – ленинградец) готов ходатайствовать за меня перед ленинградским землячеством. Но хотя путь из киевских варяг в ленинградские греки есть, конечно, путь славы и числиться по северным Афинам равносильно получению личного дворянства, я так же шутливо-серьезно отказалась, как он шутливо-серьезно предложил. Не потому, что храню верность случайному месту своего рождения, а потому, что в Ленинграде, как и в Киеве, и в любом другом городе союзного, республиканского, губернского или уездного значения никогда не чувствовала себя на своем месте.

Этот эпизод нашего причудливого быта я извлекла не для того, чтобы поразмышлять о странностях и сложностях моих отношений с любимым – от улицы до страны – поименованным пространством... нет, психология *коллективная* занимает меня на сей раз и в том именно значении слова «занимает», которое роднит его со словом «занятный», а слово «занятный» – со словом «смешной». Я говорю о географическом снобизме своих соотечественников (под ними же подразумеваю все русскоязычное еврейство).

Первая фраза, которой обмениваются при встрече прежде незнакомые выходцы из России, звучит как последняя реплика князя из пушкинской «Русалки»: «Откуда ты, прелестное дитя?..» С той, однако, существенной разницей, что «прелесть» содержится не в вопросе, а в ответе. И доложу я вам, есть такие места, откуда прелестным детям и вовсе не положено появляться.

Как-то, по ходу автобуса и разговора, обменявшись со случайным спутником ритуальными формулами, услышала я ответ неожиданного и, так сказать, загадочно-кроссвордного характера: «Я на букву “А”».

Расшифровка географическая: из Черновиц.

Расшифровка смысловая: когда некто, подобно библейскому Ионе, сознавшемуся в своем еврействе, признается, что он из Черновиц, в ответ незамедлительно раздается протяжное: «А-а-а...»

Это «а-а-а...» мой автобусный собеседник воспроизвел со всем тем полифоническим богатством, которое в него обычно вкладывается: разочарование («...а с виду как будто приличный человек»); жалость («такой молодой – и уже из Черновиц»); жестокое презрение («...лучше бы вам нигде не родиться...»); уведомление о невозможности дальнейшего знакомства («...я-то вообще либерал: не место красит человека... У меня у самого покойная тетя из Кие-

ва... Но вот жена... дочери-невесты... Так что вы, голубчик, того... поймите и простите..»))

На тему географической «некошерности» есть анекдоты и похлеще. Их, как правило, рассказывают сами «инвалиды четвертого пункта», что внятно напоминает антисемитские анекдоты в еврейском исполнении. Да и вся эта «ярмарка рождения» (а место рождения в несклонной к движению России чаще всего совпадает с местом проживания) представляется подчас вытесненной в пункт четвертый ностальгией по утратившему значению пункту пятому.

Принятая у нас пространственная культурология радикально отличается от общепринятой: у нас, чем ближе к северу (крайняя точка – Ленинград), тем кровь голубее, лицо – бледнее, одежда – человекоподобней, душа и мысли – возвышенней, а чем дальше на юг (крайняя точка теряется где-то в молдавских степях), тем румянец и растительность – гуще, речь нечленораздельней (баклажаны, к примеру, там именуют „синенькими“), а из предметов домашнего обихода, по всеобщему убеждению, в особенном почете каменный топор.

Разумеется, и в пределах этой глобальной схемы не утихает яростное соперничество. Так, до сих пор остро актуален вопрос: кто выше (во всех отношениях) – москвичи или ленинградцы? Судя по расположению имен и звезд (можно через знак равенства), побеждают ленинградцы. Но в случае победы им не суждено в покое и довольстве почивать на лаврах, и не потому, что почивать на лаврах вообще неудобно – колются. Нет, еще один и уже окончательный поединок предстоит ленинградцам. Поединок с соперником, чье имя обычно не называется, но чье присутствие ощущается так же остро, как присутствие человека, по чьим документам вы самозванно живете. Давний претендент на подлинную столичность (западность) – наш северо-запад, Прибалтика: Таллин, Рига, Тарту... Это уже не та Европа, которую беспрерывно выгоняют в дверь, а она то и дело заглядывает в петербургское окно; Прибалтика и есть европейская дверь или даже, – как бы это поточней и покоректней выразиться, – прихожая, что ли...

(Заполучив счастливую возможность сравнить русско-прибалтийскую Европу с Европой без эпитета, я нашла сходство полным. Прибалтика и Европа действительно похожи, как искусный муляж булки и булка настоящая; на глаз одно и то же, только вкус разный).

Самые сильные страсти, однако, бушуют там, где борьба идет не за первые места, а за наиболее удаленные от последних. Скажем, родиться в Киеве (утверждаю как заинтересованное лицо) все же предпочтительней, чем в Харькове, во Львове – чем в Кишиневе, в Черновицах – чем в Бендерах, а уж чего предпочтительней Бендеры, – здесь мой опыт и воображение решительно отказывают.

Настоятельная потребность в иерархической структуре мира заменила давно вырубленные генеалогические деревья географическими визитными карточками.

...О художнике Саше Окуне я, как водится, услышала раньше, чем увидела его. Доносившаяся из разных мест и от разных людей весть о его приезде одинаково прописывалась ремаркой в пьесе из светской жизни: «Те же и ленинградский художник Саша Окунь», где «ленинградский» – титул, гарантирующий достоинство имени. Для посвященных, разумеется, сочетание города с именем имело смысл другой и вполне конкретный: «Алеф» – группа ленинградских художников-евреев (в идеале – еврейских художников); общность поисков при разности стилей; борьба с властями и властью; неофициальные выставки в Ленинграде; постепенное убывание «Алефа» из России и перетекание в Израиль, а в числе прибывших последний во времени и один из первых по ленинградской известности, молодости и таланту – Саша Окунь.

Вопрос о том, что общего между Ленинградом и еврейством, похож на армянскую загадку. Для еврейского универсализма не то, что Ленинград, – Петербург слишком узок, а для еврейской местечковости не то, что Петербург, – и Ленинград не по карману.

К тому ж, Саша Окунь исхитрился родиться так поздно, что и мировая империя еврейского духа, и теплое еврейское местечко (не путать с местечковостью) удалены от него на равно мифологические расстояния: ассимиляция в России (точнее – в русской культуре), от которой он отказался, – пародия на универсализм, а выбор Израиля не есть выбор местечкового мифа или даже мифологизированного местечка по Шагалу. Меж тем, ностальгия по кочевому универсализму соседствует в полотнах Окуня (и в нем самом) с ностальгией по черте оседлости. Ущемленный и размытый призрак бывшей имперской столицы под его кистью с легкостью подчиняется двум этим равномошным и разнонаправленным тягам, образующим при сложении жонглерскую устойчивость еврейского существования.

В надменное пространство петербургских площадей и проспектов Окунь выбрасывает перенаселенные ленинградские коммуналки, наполняет улицы стадами свалывшихся одичавших вещей, громоздит пирамиды комодов и буфетов, стучит по торцам и гранитам колченогими стульями и охромевшими столами, а в предрасветном питерском небе прямой цитатой из Шагала размещает обнаженную розовую женщину.

Это – исход вещей из немилого Египта, «хаос иудейский», поглощающий «пафос хорошо организованного пространства», превращение столицы – в провинцию, Петербурга – в Витебск, продолжение шагаловского повествования для полемики с ним: красносиний захлеб шагаловского письма уступил место черно-коричневому угрюмому тону; обнаженная над Ленинградом, в отличие от

себя же над Витебском, источает свет больше по контрасту с общей темью, чем собственной розовой плотью.

С окраин империи черта оседлости переселилась в ее центр. Если верить шолом-алеихемовскому преданию, иллюстрированному шагаловской мифологией, черта эта была чем-то вроде разделительных линий Васильевского острова или, в крайнем случае, островом, окруженном необитаемой сушей. Сам же остров был обитаемый и волшебный: там скрипач не только лазил на крышу, но и взлетал над нею, а взлетев, – отплясывал в воздухе залихватский «фрейлахс», упруго загребая ногами пустоту...

В результате переселения выяснилось, что черта оседлости – это магический круг, которым всегда обведен еврей и который всегда следует за ним, выворачивая город – местечком, интернационализм коммуналок – специфически еврейской скученностью, проблеме жилплощади – проблемой жизненного пространства: люди летают просто потому, что им нет места на земле.

Бесконечные охровые заборы Охты, разбухшие от пивной сырости ларьки Пряхи, загнанные в тупик дворики и переулки малой Голландии на полотнах Окуня не принадлежат ни Петербургу, ни Ленинграду, ни прянично-медовой русской провинции Кустодиева: это – все та же шагаловская провинция, но обесцвеченная, обескровленная...

Так человек, всю жизнь хранивший в памяти олеографический рай детства, через жизнь вернувшийся в родные края и не узнавший их, обвиняет старческую дряблость сетчатки и потускневший хрусталик собственного глаза, забывая, что мир стареет вместе с нами. Земля стареет и стареет небо, стареют волосы, стареют бедра, стареет платье, вздутое от бега...

Шагаловский мир исчез, сгинул, вылетел в трубу. Его корова языком слизала, та самая шагаловская телка с бессмысленной печалью в лиловых глазах на зеленом до оскомины крестьянском лугу. Выцвели не краски Шагала – выцвел его мир. Свинцовый пепел припорошил масляную сказку о еврейском местечке, обозначив пустое место там, где когда-то – по слухам – цвела жизнь.

Хмурые фрагменты Витебска, обнаруженные Окунем за гранитно-мраморными архитектурными петербургскими пейзажами, – одновременный знак и археологической жажды, и отчаяния реставратора.

Сама же по себе еврейская провинция – как мир, а не миф – существует везде, где есть еврейский глаз, способный сотворить ее из любого подручного материала – клочка травы, растущей у забора, жестяной вывески, прищуренного или подмигивающего оконца, а главное – из той метафизической скуки, что прочнее камня и натуральных красок на холстах живописцев организует в единое пространство Петербург и Витебск, Москву и Бельцы, Иерусалим и Ленинград. Свою провинцию мы носим в себе.

Ленинградские полотна Окуня, прожившего в Ленинграде всю свою, по счастью, еще недолгую жизнь и открывшего в единственном европейском городе России черты безрадостного захолустья, – некий намек, а при хорошем прочтении – и вызов сторонникам отождествления всеобщей географии с историей собственной жизни и места рождения – с местом в культурной иерархии. С другой стороны, им – сторонникам – как будто в подмогу классические ленинградские полотна Окуня. Классические не в смысле стиля: кто и какой стиль решится сегодня так определить? В нашу разностильную эпоху (да при том еще, что каждый из стилей имеет свою классику) классическим я называю скромное соответствие перенесенного на холст пространства его отстоявшимся в культуре символам, конкретным эмблемам, предметным знакам.

Можно изобразить Эйфелеву башню со слоновими ногами вместо причитающихся ей металлических конечностей или Медного Всадника – теми же цветными многоточиями, что и посетителей острова Сен-Жак. В обоих случаях художники так видят; это их сюрреалистское или импрессионистское право. Но, по крайней мере, видят они именно Париж и Питер, а не Прованс и Таити, что все же на пользу художнику (можно оценить своеобразие зрения) и успокаивает зрителей (еще не все потеряно). Это ли не классичность?

Саша Окунь рисует адмиралтейство, острова, набережные – весь бесспорный набор имперской красоты, который традиционно связан с Ленинградом. Художник не оспаривает красоту – он только не хочет заниматься подстрочным переводом языка архитектуры на язык живописи. Красоту он выводит не из чертежной мастерской, а из естественного призрачного света, в который и без белых ночей всегда погружен город. Сами же белые ночи (их изображения Окунь тоже не чурается) – уже обтесанные готовые плиты в сравнении с тем световым сырьем, которое пошло на застройку города. Подобно тому, как шинель, бывшая вначале призрачной мечтой Башмачкина, став реальностью, его самого превратила в призрак, так граниты и мраморы Петербурга, поглотив свет, стали призрачными, почти фантомными. Красота не убавилась – она лишь передвинулась от пушкинской иллюминированной царственности в гоголевско-достоевскую тень, не менее (и уже давно) признанную в качестве петербургского канона прекрасного. Ко множеству гимнов Великому городу Окунь прибавил свою маленькую серо-зеленую оду.

...Совместив оба эти его взгляда на Ленинград со своими подлинными авторскими интересами (они отнюдь не искусствоведческие, но бытописательские и нравоучительные), – что я должна сказать? Какую мораль вывести? Какой урок жизни преподать своим читателям на примере искусства? Тот, очевидно, что раз талантливый художник увидел в Ленинграде Петербург и Витебск, импе-

рию и черту оседлости, то напрасно уроженцы Таллина и Риги относятся к ленинградцам (да еще бывшим!) как к нуворишам, ленинградцы к москвичам – как к узурпаторам, а все они вместе ко всем вместе – как к скифам каким, то ли с раскосыми, то ли с жадными глазами...

– «Какая разница, откуда мы, важно – кто мы, а мы все – евреи!» – должна бы я воскликнуть, еще и еще раз назидательно напомнив о художнике, который хотел открыть и воспроизвести еврейское в себе и в мире, используя для этого такой, казалось бы, негодящий материал, как бывшую столицу Российской империи; о художнике, который в этой бывшей столице жадно искал те самые черты провинциальности и местечковости, которые мы с таким злорадным удовольствием находим друг в друге. А то, что окуневская провинция тускла и угрюма, объясняется просто: провинция есть, а евреев – нет. Живописных евреев с мудрым взглядом, пейсами и талесами нет ни на Охте, ни на Пряхе, ни на Невском проспекте... Там их нет, но здесь-то они есть! И в каком изобилии! Отчего же не распаивается глаз навстречу ожившему шагаловскому чуду, как, несомненно, распаивался бы тот же глаз, обнаружив в реальном Париже лилово-сиреневую прокладку импрессионистских полотен?!

– «Не оттого ли? – спросила бы я риторически, – что художник, живущий в каждом человеке, прячется и умалчивается в нас под непривычной ношей еврейства и оживает только в чужих, благополучно отписавшихся культурах?»

Итак, мужество? Не самопознание, а самопризнание, мужество как первейшее и необходимейшее условие самобытной красоты, – вот мораль, которую я должна бы извлечь из окуневских картин, используя их как наглядное пособие по национальному воспитанию.

Но – горький опыт и размышления над жизнью привели меня к иному заключению.

Из того бесспорного факта, что все художники – люди, я не решаюсь сделать вывод, что все люди – художники, за неимением времени и специального образования не пустившие в оборот отпущенный им талант. Не верю я и в то, что восприятие есть акт, сравнимый с творческим и соразмерный ему. В большинстве случаев восприятие искусства сводится к простому и пустому накоплению впечатлений, намного более сходному с накоплением вещей, чем с их созданием. Вещи используются в быту, впечатления – в разговорах (тоже бытовых).

Опыт художника значим только для другого художника. Встречи искусства с жизнью редки и обычно заканчиваются вничью. Ностальгия художника по провинциальному миру (или мифу) бессильна перед всеобщим отвращением к нему. Обитатели Меа-Шеарим не умиляют своим сходством с персонажами Шагала (или

даже Эль-Греко), но раздражают и ужасают культурной и психологической чуждостью. Встречаясь с уроженцами Черновиц, Бендер и самого Витебска, мы не предполагаем в них дара летать по ночам и мистически озаряться под звуки скрипки.

Средневековые идиллические утопии и полученный с доставкой на дом багаж художественных впечатлений разбиваются вдребезги: массовая психология, в отличие от искусства, не выносит разнородных жанров существования.

Разумеется, нет провинциальных холстов, кистей и подрамников, – есть провинциальные художники. Но холст, натянутый на подрамник, не эквивалент и даже не символ пространства, в котором (или в которое) протекает наша жизнь.

Провинциалы существуют потому, что существует провинция, а место красит человека. Не в том смысле, что оно его украшает нет, но оно его – окрашивает.

Подобно времени, пространство оставляет на нас следы своих пальцев. Оно прилипает к нам, как свежеекрашенная садовая скамейка, цепляется как репейник; оно морщит нашу мысль и речь, как годы – лицо.

Легче избыть время, чем избавиться от пространства. Как хорошая химчистка, время просто стирает прошлое – от минувшего десятилетия до прошедшего дня. Но пространства трудно усваиваются, плохо перевариваются.

Наша речь повторяет ритмы улиц, по которым мы гуляли, из наших жестов выпирают углы домов, в которых мы жили, а мышление воспроизводит манию пространственного величия страны, из которой мы уехали.

С манией величия еще как-то можно справиться, труднее совладать с магией величин, всецело принадлежащей большим городам.

В склоке москвичей и ленинградцев я на стороне москвичей по той причине, что в Москве на целый Израиль жителей больше, чем в Ленинграде (не считая территорий – Западного берега и Подмосковья с населяющими их аборигенами).

Каким бы метафорам не подвергать понятие провинции, первоначальное представление, с ней связанное, – это пространственная зажатость, людская малочисленность и общая скудость жизни. Провинция отталкивает, как всякая несостоятельная претензия и межеумочность: навсегда не «земля и деревня» и никогда не «город и столица».

Неприязнь к провинции замешана не столько на страхе перед возвращением в историческое прошлое, вчерашний день культуры (провинция, судя по всему, такой же вечный спутник культуры, как столица), сколько на страхе перед тупиком настоящего, обочинной времени. И никто не одержим большим страхом перед провинцией и большей неприязнью к ней, чем она сама. Провинциал безошибочно узнается по лихорадочной спешке, боязни отстать от

поезда и моды, не успеть на самолет, сексуальную революцию, в магазин или в Америку: вдруг закроют.

Несмотря на информационную жажду, иссушающую провинциала, внутренне он неподвижен, негибок, непластичен, он боится рвать с прошлыми привязанностями, мнениями, вкусами, друзьями дошкольными и школьными, в любые новые обстоятельства он привносит застоявшийся запах провинциального уклада.

Провинциал, как ни странно, существо куда более групповое, партийное, коллективное, чем жители больших (очень больших) городов, которые научаются первой заповеди индивидуалистической культуры – одиночеству.

Почему-то расселение по годам (по времени) воспринимается как более почетное, чем распределение по местам (в пространстве). Эпитафии типа: «люди 60-ых», «70-ых», «30-40-ых» и прочих годов или «предвоенное», «военное», «поколение до», «после XX съезда» – звучат, на общий слух, куда возвышенней, чем уничтожающие приговоры: «из Кишинева, Черновиц, Одессы, Марокко...» По мне – и то и другое отдает братской могилой, а я (как и остальные впрочем) предпочитаю индивидуальное захоронение, достойно венчающее индивидуально прожитую жизнь.

Я люблю людей, которые располагаются внутри своей жизни, как женщина внутри раковины на одной из последних картин Окуня: соприкасаясь, но не сливаясь, в единстве, но не в тождестве. Людей без незаживающих шрамов времени и несмываемых пятен пространства, про которых хочется сказать, что они родились ни от кого, пришли ниоткуда и живут нигде. (Хорошо бы еще – ни с кем). Но их, этих людей, так мало, что множественное число здесь – просто грамматическое насилие над действительностью. А в действительности господствуют не личности, но типы, со всеми им положенными типовыми характеристиками.

Человек не выбирает места своего рождения. Но: проживший всю жизнь в провинции добровольно – сродни ей по природе, а проживший «по независящим от него обстоятельствам» – сроднился в результате. «Поэты рождаются в провинции и умирают в Париже», – говорят французы и правильно говорят.

Случайный, но не напрасный дар рождения в Киеве, например, со мною делят Бердяев, Шестов и «непримкнувший к ним» Булгаков (писатель, а не философ). Первые два и впрямь умерли в Париже, третий – в Москве (все-таки!), а я (надеюсь) их всех переумру: в Иерусалиме.

В Израиле, где пространства мало, а людей еще меньше, где дома с трудом складываются в кварталы, кварталы по-ослиному упираются переходить в улицы, улицы – в город и где атмосфера семейственности и трехстенного дома запахом жареной рыбы проникает во все закоулки, призрак провинции оживает, как детские страхи в темноте.

Смешной в проявлениях «географический снобизм» серьезен по сути и прав в своих опасениях: кому охота терять завоеванное и растворяться в худшем по качеству?

Москвичи, в основном, правильно говорят по-русски (а уж если говорить на любом языке, хорошо бы говорить на нем хорошо), злее и честнее мыслят (если мыслят); у ленинградцев (тоже в основном) вкус и манеры лучше, чем у бывших жителей южных окраин. Возможно, прибалтийские евреи болели катаром верхних и нижних дыхательных путей еще чаще, чем вообще падкая на простуду еврейская носоглотка в других концах империи; возможно, причина в перемещенных английских туманах, колониальной немецкой готике и контрабандных шведских товарах, но – факт остался там, где ему и положено оставаться (отстояться): на лицах, в быту, в поведении. Прибалтийские евреи разговаривают тише, размахивают руками реже (а то и вовсе не размахивают), украшают себя и свои жилища изящней, чем буйное малороссийско-бессарабское еврейское казачество.

Попытка жить столичной жизнью в провинции никогда никому не удавалась. Провинция одноязычна, столица – полиглот, и провинция – один из ее бесчисленных языков. Столица в провинции только смешна, провинция в столице еще и колоритна.

...Помню апрельский вечер в Москве, начало которого я провела на повторном исходе «серебряного века», в кафе «Бом», среди разговоров об акмеизме Ахма... (дулиной) и футуризме ...ского (Вознесен); середину – полстолетия спустя, в предмайском хмеле Красной площади, скалившей кремлевские зубцы на восторги зарубежных гостей; а конец – то ли в Туле, то ли в Малом Ярославце, благополучно пропустивших и «серебряный век» культуры, и «золотой» – социальной справедливости.

В кафе мы с другом выясняли отношения, на Красной площади выяснили, после чего уже спокойно гуляли вдоль исторического памятника «Россия» и гостиницы «Кремль», пока не вышли на Софийку. Там, привлеченные густым липовым запахом из подворотни какого-то многоэтажного доходяги, затянутого в лечебный корсет строительных лесов, мы заглянули и загляделись на его изнанку. Наш взгляд налетел и расшибся об упоительно лиловый цвет байковых трико, обтягивающих мощный кавалерийский зад, чья верхняя половина целиком ушла в раздувание буддийски-пузатого и дзен-буддистски невозмутимого самовара.

Собаки, дети и кошки с притворным восторгом и неподдельным испугом встречали каждую новую россыпь разлетающихся искр. Цвета тех же трико уютно простиралось над миром небо. Его подпирала охваченные буйным цветением липы. Во всю длину неба растянулся свеженький деревянный флигель с мезонином об одном оконце. Тугой абажур распирал оконце изнутри, как спелый абрикос – косточка. А во всю длину неба и флигеля возвышался

ладно сколоченный стол, за которым тучноголовые мужчины забивали козла и гоняли чай, запивая водкой.

Распаренный бабий дух носился по подворью, раздувал мужичьи ноздри и домовито отделял расхлябанное городское время от черноземной вечности.

Столица «с черного хода» всегда провинция. Городской роман, обернувшийся городским романсом. Но у провинции тоже есть свой «черный ход», свой пригород, и это – земля, почва, в которую уходят и роман, и романс, сворачиваясь в почвенный миф, национальное предание... Такова нормальная иерархия прочно укорененных культур, проросших в одном пространстве и разросшихся в историческом времени. Бытие прорастает в них на поверхности бытом, отчего и быт, чувствующий под собой возделанную глубину, способен расцвести красотой. Даже очень чужое бытие, даже совсем чуждый быт. Смиримся с этим...

В мезонине московская Венера купает волосы в эмалированном тазу, из лиловых московских сумерек, как из кленовых сеней, выходят гуськом и в красных сарафанах малявинские парки.

Но тень этого воспоминания, дорогого мне по цвету, пересекается сейчас не с Кустодиевым и Малявиным, а с тенью моего приятеля – киевского художника. Он достиг дивного совершенства в изображении славянских и еврейских уродов, вписанных в интерьер славянского и еврейского быта, тоже уродливых. Славянские уроды подавались с ощутимым привкусом недружеского шаржа, еврейские с легким оттенком сочувственной грусти. Такая ненавязчивая расстановка ударений принесла моему приятелю всекиевскую славу подлинно национального, то есть – еврейского художника. Сам он, впрочем, утверждал, что изображает не уродов, а уродство, то есть не относительные свойства, но абсолютное качество, в силу абсолютности перешедшее в свою противоположность, в красоту; что никакой другой красоты в мире он не видит, не понимает и не принимает и, всецело преданный собственному эстетическому идеалу, нежно любит своих уродов без деления по национальному признаку.

К сожалению, мое доверие к этой цельной и непротиворечивой концепции было подорвано, когда я увидела:

«Автопортрет», где мой приятель, мужчина весьма приятной, но по-еврейски жалобной наружности, изобразился надменным красавцем, прямым потомком графа де ла Фер;

«Портрет жены», в жизни – тихой дамы с деликатно неброскими чертами лица, изображенной древнееврейской красавицей в стиле «Юдифь, попирающая ногами отпиленную голову Олоферна»;

«Портрет дочери», прелестной и очень еврейской девочки, на холсте уловимо напоминающей инфанту Веласкеса.

Согласитесь, что такое распадение стилистики на ренессансную (для себя и своей семьи) и средневеково-босховскую (для всего остального человечества) трогательно, но – настораживает.

Ныне мой приятель, киевский художник, пребывает в Соединенных Штатах в творческом отчаянии, поскольку незрелая американская культура еще не довела человеческое уродство вообще и еврейское в частности до нужной кондиции.

У Саши Окуня тоже есть уроды. Он выписал их с размахом больших голландцев, с ювелирной тщательностью малых.

Уроды изгибаются вверх ногами, находя точку, точнее площадь опоры в собственных распластанных, кровоточащих яйцах; силятся раздвинуть раму и выброситься из картины, как из окна; и всюду заливаются серебристо-жемчужными слезами: в отличие от самодовольных славянских и смиренных еврейских уродов киевского художника, это – страдающие уроды. Строго говоря, они и не уроды, поскольку вообще не люди. Их можно было бы забавно интерпретировать как неестественно-научную фантазию на тему случайной, боковой или тупиковой ветви эволюции, если бы...

Если бы сам создатель этого химерного мира, в начале которого были слезы, не показал нам, в каком именно направлении развились его антропоиды: на одном из полотен цикла уродам сообщены безошибочно узнаваемые еврейские черты. Уродливая супружеская пара пожилых евреев: она – в голом, обмякшем и отекающем теле, он – в зеленой майке явно советского производства, – плача, утешают друг друга. Плачут и утешают на железной кровати, на развороченной постели. Кровать (постель) – не место отдыха, не ложе сна и уж, конечно, не любви, но ковчег, плот, последняя твердь и последний оплот во всеобщей разрухе, в мировом разоре. В оконце, высоко занесенное над кроватью, заглядывает ослепительная синь, равнодушная к несочетаемости себя с ядовитой зеленью майки и гниlostной розой тела.

Не задаваясь вопросом, какие уроды, киевские или ленинградские, уродливей (то есть живописно красивей), подчеркиваю сходство двух художников, разъединенных поколениями и стилистическими привязанностями, но объединенных желанием национального самоопределения: еврейский образ мира (или образ еврейского мира) опознается обоими через гротескно-уродливый быт.

Что так?..

Если бы по внезапной прихоти наш мир был разрушен (закрашен) до основания (холста), а затем по прихоти не менее внезапной некто захотел бы создать (написать) его наново, достало бы одних уцелевших натуральных красок. На новую землю пошла бы, скажем, terra verita. Краснобрюхим Левиафаном заплескалась бы в ультрамариновом океане Англия, извлеченная из английской красной. Для молодой восточноевропейской поверхности не пожалели бы всех скопившихся запасов подольской черной, на которой сама

собой – кровь и почва! – проступит серпуховская красная. Германия исторически вырисовывается из Пруссии, Пруссия же легко получается из прусской синей. Полней других – и по справедливости – возрождена Италия: Сиена – из сиены натуральной; Умбрия – из натуральной умбры; память о Риме, как тень Беатриче, «*ombra adorata*» – из умбры жженной; Неаполь – из неаполитанской желтой... Елочными подарками висят над этим новеньким миром сразу два Марса: марс желтый прозрачный и марс коричневый прозрачный. И ни одной звезды. Я имею в виду: шестиконечной.

Где цвета еврейской культуры? Где краски еврейской жизни? Где наша перспектива, прямая ли, обратная?.. Ничего нет. А ведь в первый день творения и в последующие пять мир наверняка пах, как совмещенная (по бедности) мастерская скульптора и живописца одновременно. Впрочем, почему «по бедности»? Масло на полотне, полотно на стене, какой ни есть статуи в углу – вот и роскошь готова. И я всегда предпочитала убогому достатку служивых квартир роскошную бедность художников, еще не выбившихся в товарные гении.

Признаться, крупномасштабные лишения, на которые в неизреченной мудрости своей обрекал нас господь, не смущают мой ум горестным: «Для чего?!» А для того, разумеется, чтобы тем ярче подчеркнуть наше избранничество.

Как сказано в одной старинной книге: «Я специально избрал себе профессию нищего, чтобы ничем не затмевать блеск моего дворянства».

Но чего я решительно не могла понять, с чем никогда не могла и не могу примириться, так это с запретом на изображение «всего, что вверху, в небе, и всего, что внизу, на земле».

Пусть собственность на землю, государство, саму жизнь (преимущественно свою, а случится, чужую) – только ложный блеск, мишура, годная для случайных фаворитов времени, но не для нас, законных наследников вечности (каковая вечность, повинуюсь андерсеновской притче «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется» в конце сказки сотрет с других народов историческую позолоту и обнаружит присущую им свиную кожу). Пусть. Согласна. Но почему нужно было сорвать яркую заплату с нашего страннического рубища, серого от дорожной пыли? Почему, прогоняемые сквозь строй времен, мы не имели права прихватывать с собой полотняные или холщевые клочки с изображениями ушедших предков и пройденных ландшафтов и передавать потомкам, как водится у людей? Иль мы не люди? Чем провинилась кисть живописца перед кисточкой писца, натуральная краска перед типографской, молоток скульптора – перед сапожным молотком?

...Из всех видов и родов ностальгии, самой ноющей оказалась для меня не тоска по распавшейся связи себя – в настоящем с со-

бой в прошлом, не по своей скитальческой, отрезанной и гонимой тени. (Да, гонимой: если *там* и *те* – часть моего прошлого, то и я часть их прошлого, и если я гоню воспоминания о *них* – и они изгоняют, изживают память обо мне). Но не злокачественная эта тоска с ее трагическими метастазами настигла меня, а какой то непрекращающийся ностальгический глазной тик. Все мерещатся колонны и фронтоны. Атланты зернистого мрамора поддерживают балконные своды. Кариатиды пугливо застыли у парадных подъездов. Мраморные, чугунные и медные всадники с чугунным топком и стальным скоком скачут куда-то, меж тем как мелкий скульптурный люд погружен в свои обычные заботы и радости: бронзовые русалки смывают проступившую на них купоросную зелень в сточной воде городских фонтанов; радужно плюются бронзовые и гипсовые дельфины; мраморные мальчики натягивают свои мраморные рогатки, а в тени городских скверов затаились алебастровые олени с плохо вызолоченными рогами. (И это при том, что я жила в городе, более славном рекой, до середины которой долетит редкая птица, и торгом под названием «Киевский», чем скульптурными памятниками и архитектурными ансамблями. А будь я действительно по рождению ленинградка? Или римлянка? Парижанка? Афинянка?)

В результате: мое излюбленное место в Иерусалиме – постройка фермерского облика с грозной надписью «Police», вход в которую украшают два мраморных львенка. Подолгу и с нежностью созерцаю я эти символы британского империализма, хотя они больше похожи на вконец одичавших и обнаглевших иерусалимских уличных кошек. (Подозреваю роковое влияние среды вплоть до приспособления к ней).

По улицам Иерусалима в аркадном изобилии разгуливают стада овец, коз, баранов, черные, белые и пегие ослы со всадниками и без оных; разъезжают тех же мастей холеные лошади с обязательными всадниками на них. Последние же, точь-в-точь как Медный Всадник, – символы государства, поскольку полицейские. Но даже они не примиряют меня с отсутствием мраморных, бронзовых, медных образов и подобий всей этой бляющей, мычащей и ржущей милой живности.

Предвижу возражения негодующие («наша святая религия»... «основы основ»... «покусилась»...), высокомерно-поучающие («от невежества все... Рамбама читать надо»), не исключены, впрочем, и возражения успокаивающие: «Снявши голову, по волосам не плачут». Как сказать... к тому ж, в расхожей этой истине много неясностей из-за коварно опущенных слов: «Снявши свою голову, не плачут по своим волосам»? или «Снявши чужую – по чужим»? И я, смирившись, повторяю, с двухтысячелетним «безголовьем» не устаю вопрошать: «Где наши локоны?»

А локоны-то ведь на нашей голове никогда и не произрастали: запретили изображать задолго до утраты такого обременяющего наш универсалистский дух домашнего скарба, как земля, государство, храм... И это самое загадочное.

Только не нужно меня одергивать, окриков же особенно не нужно: магия! идолопоклонство! С магией дело обстоит в высшей степени запутанно: то ли она была, то ли ее не было. Вернее, сомнительно не существование магии (оно несомненно), а то, как мы ее сегодня понимаем: воздействие на объект путем его изображения.

Некоторые ученые полагают, что магии как факту (акту, ритуалу) предшествовало куда более первобытное состояние мышления, которое отождествляло «вещь и живую тварь», то есть то, что воздействует, с тем, что подвергается воздействию.

Держа эту версию в уме, обратимся к заповеди, которая ввергла нас в пластическую нищету: «Не сотвори себе кумира». Общепринятый смысл: не поклоняйся другому, то есть ложному богу: все боги, кроме давшего эту заповедь, – ложные.

Общепринятое семантическое толкование: во времена, когда евреи в числе других девяти приняли и эту заповедь, народы погрязли в идолопоклонстве, которое ритуально выражалось в культе обожествленных предметов – «кумиров», то есть вещей, созданных либо человеческими руками, либо природой («сотворенных»). Из чего будто бы логически вытекает запрет на изображение. Да в том-то и дело, что не вытекает... Если что здесь и вытекло, то уж, конечно, сама логика.

Чтобы превратить заповедь в запрет, нужно прочесть ее буквально, то есть прочесть «со-творение» как «соучастие в творении». А такое прочтение предполагает отождествление «вещи и живой твари», человека, одушевившего предмет, с предметом, им одушевленным. При таких человеческих способностях и возможностях мир выглядит сотворенным неокончательно и необсужденно; в нем, в мире, все еще можно что-то со-творить, на-творить – улучшить, ухудшить... Человек заходит в тыл творцу всего сущего в непредусмотренной роли соперника: «не сотвори», запрещая, признает тем самым, что человек может, но почему-то не должен «сотворять». Запрет смахивает на добровольный отказ в пользу другой стороны. Судите сами, насколько это расходится с фундаментальным учением нашей святой религии об абсолютном всемогуществе Создателя. И выходит, запрет этот (в отличие от заповеди) – не торжество монотеизма, а языческая диверсия, да еще на самом дремучем уровне язычества – магическом.

А с идолопоклонством — и того темней и запутанней. Один современный еврейский мыслитель (религиозный*) утверждает, например, что с точки зрения строгого монотеизма хождение к

* Профессор Лейбович.

Стене Плача чистое идолопоклонство и что для подлинного монотеиста Стена Плача не более священна, чем, извините, сортир. Что же получается? Древние греки из тесаного камня делали статуи и поклонялись им, мы – тоже из камня и тоже из тесаного – сложили Стену. У древних греков религия была ложная, красота – истинная; религия исчезла вместе с самими древними греками, красота осталась. Но отними у нашей Стены (а, боюсь, и храма) религиозное свечение – красоты ведь никакой! Для чего тогда стена? Чтобы головой об нее биться? А я вам скажу: хоть Стену-то мне оставьте, «надо же человеку, чтоб было куда пойти», даже еврею, даже чтоб головой. Нет, Бог с ними, с учеными, особенно религиозными. Научные построения отпугивают своей гибкостью, религиозная догматика отталкивает своей негибкостью. Сегодня мы не в меньшем плену у научной магии, чем другие народы, они – не в большей степени идолопоклонники, чем мы, и правильно или неправильно истолкована заповедь, читай, не читай Рамбама, а есть то что есть, вернее – чего нет. Нет еврейской живописи, еврейской пластической культуры, нет интимных отношений еврея с пространством, с плотью мира, тканью бытия.

Нет и не было не только еврейской живописи – не было и еврейских художников. Не считать же таковыми всех поголовно художников-евреев: этническая принадлежность не обязательно совпадает с культурной (а с чем ей совпадать вообще при отсутствии культуры?) и сама из себя ни художественной школы, ни стилистики автоматически не производит.

Почему Модильяни – еврей? А потому, что за несколько дней до своей смерти он зашел в гости к приятельнице-художнице и, плача и раскачиваясь (неужто раскаиваясь?), спел у нее за столом «кадиш» по-древнееврейски.

Еврейским в Левитане я признаю только «Автопортрет» и только потому, что на нем изображен уж такой еврей – не перепутаешь. Но ведь и Шагал – еврейский художник на таком же и никаком другом основании. Да, Шагал изображал евреев, и потому он еврейский художник.

– А Витебск, еврейский Витебск разве не вдохновил его?

– С таким же успехом его бы вдохновили Шепетовка, Могилев-Подольск или Острова Зеленого Мыса. Художник разборчив в выборе средств, но не пространств; его творческая похоть непрехотлива, он знает, что все преобразит в красоту, а если реальные пространства осточертеют, – он создаст свое, ни на что не похожее, и уйдет в него... Случались, правда, и капризные гении со своим культом «прекрасной дамы», как Гоген, помешавшийся на Таити. Но с какой предусмотрительностью дух живописи дал ему в вечные напарники Ван-Гога, который извлекал красоту из всего, что попадало в глаз: от картошки с селедкой или огородных технических

культур до случайных товарищей по психушке. Шагал, конечно, ближе Ван-Гогу, чем Гогену.

– Но мистика хасидизма, придавшая такое очарование и своеобразие шагаловским полотнам? Но духовная красота местечкового еврейства, запечатленная хотя бы в «Обнаженной над Витебском»? Не исключен ведь и еврейский лубок, еврейская народная живопись, существовавшая вопреки запрету? Это ведь уже не постороннее картине «содержание», но элементы стиля, формообразования?

– С живописной точки зрения (а другая нас сейчас не интересует) шагаловский Париж так же прекрасен и мистичен, как и шагаловский Витебск. Красочное обаяние подарил хасидизму Шагал, не наоборот. И более того, скажу: с той же живописной точки зрения Париж у Шагала, вопреки биографической хронологии, предшествовал Витебску. «Обнаженка», над ним висящая, никакого, по-моему, отношения к духовной красоте витебских обывателей не имеет и выражать ее не может: голая? да еще повернутая задом, пышным, как у веласкесовой Венеры? Это при еврейском-то пуританстве, чтоб не сказать – ханжестве, да еще местечковым?

А что, если «обнаженная» – просто-напросто мечта художника о парижской проститутке, она же (мечта, а не проститутка) – тоска по мировой культуре? Разве не благодаря своей доступности времени, своей внутренней (а не социально навязанной) потребности переходить из рук одного художественного метода в руки другого, ни с одним не желая сочетаться законным браком и оставаться ему верной до гроба, – разве не благодаря этим морально сомнительным, но творчески необходимым качествам европейская живописная культура дала Шагалу инструментарий, без которого Витебск так и остался бы «вещью в себе», живописно не выраженной, культурно неопознанной, а значит – как бы и несуществующей вовсе?

Будем откровенны: Шагал, конечно, великий художник, но мощный взрыв европейской и русской живописи, на который он так удачно подоспел, сохранил бы свой заряд и без участия Шагала: имен, полотен и концепций достанет на прокорм еще нескольких поколений зрителей, художников, искусствоведов.

Но стал ли бы Шагал – Шагалом, не преобразись к его времени европейская культура, не узаконь она все мыслимые стили, включая и лубочный, хоть русский, хоть еврейский (положим и его на шагаловскую палитру)?

Ведь не случайно наплыв порвавших с запретом на изображение евреев в европейскую живопись совпал с тем моментом, когда она сама на себя такой запрет почти что наложила, правда не на «образ» (тогда), но на «подобие», то есть реалистическое воспроизведение мира, его удвоение.

Стилистика Шагала – европейская, и только «фабула» (и то, разумеется, не всегда) – еврейская.

«Фабула» достаточный повод для нашего неизбалованного национального самолюбия, но шаткое основание для национальной живописи.

На голландских полотнах, например, все голландское, включая и само полотно: Христос в яслях и на кресте – голландский, и сами ясли и крест голландские, и свадьба голландская, даже краб или фаршированный заяц – тоже голландцы. Сходу узнается французская кисть. Русская. Итальянская. Любая. Но не еврейская. Для самоопределения ей необходим носитель: нос, скрипочка, в крайнем случае буквы еврейского алфавита. Почему – понятно, и дело не в запрете, а в том, что живописной стилистике предшествует стиль бытия, на укладку которого уходят века меняющейся истории и неизменно приручаемого пространства.

Бытия у нас не было. Его обязанности взял на себя быт, отчего и стал уродливым. Еврейский быт называют мещанским. Неправда. Сегодня «мещанский» – синоним любого быта. Галутный еврейский быт не мещанский, не буржуазный, не дворянский и, тем более, не крестьянский. Он внесловный, потому что доисторический. Он – первобытный «хаос иудейский». Бытие, загнанное внутрь еврейского дома, превратило его в мифический космос, где каждая вещь только во вторую и третью очередь утилитарна, а в первую – ритуальна. Не вещь – застывшая метафора, не дом – храм. Помните у Бродского: «Этот буфет извне так же, как изнутри, напоминает мне Нотр Дам де Пари»?..

Никогда не сомневалась в том, что сумрачный этот образ не порожден поэтическим произволом, но моментально отснят, отщелкнут глазным хрусталиком, устроенным по образцу безнационального («общечеловеческого») фотообъектива, то есть не только поэт – еврей, но и буфет – еврей; наша домашняя готика, дубовый Квазимодо, безнадежно влюбленный в козий пух гарцюющих за окном снежинок,

А если бы не поняла когда-то, прочитав строку, – осмыслила бы ее ретроспективно уже здесь, в Иерусалиме, увидев «Буфет» Саши Окуня. Моими глазами – это лучшая его вещь. И более – вообще лучший портрет вещи. Даже не портрет – автопортрет: до того буфет в «Буфете» сам себя высказал, точнее – выказал и выстроил. Культовое сооружение. Еврейский Нотр-Дам с усохшей розой в разинутой полированной пасти. Как изображению мадонн эпохи «треченто», «Буфету» приличествует надпись в углу или на обороте холста: «Меня рисовал художник Саша Окунь».

Безоговорочно противореча себе двухстраничной давности, я готова признать это полотно явлением национальной живописи. Сознаю, что такое определение ни на что реальное не опирается: буфет безнос и не играет на скрипке, а живописной традиции с ее

повторной оборотностью тем и предметов у нас, как мы выяснили, нет. Что же тогда? А так, нечто воздушное: собственный опыт, не однажды пересекавшийся и совпадавший с чужими; кем-то подтвержденные ощущения, с кем-то говоренные разговоры... Словом: слова-слова-слова. Слова – все, что нам остается, даже в живописи и даже не сами слова, а цезуры, паузы между словами, заполненные вздохами и взаимопониманием: «Да, конечно, Левитан изображал русскую природу... Но видел-то он ее еврейскими глазами. Вы меня понимаете?» – «О да, конечно, я вас понимаю, еврейские глаза, как не понять...» – «Ну, пусть там европейская живопись и прочий “гордый вздор иноплеменный”. Ну, пусть Шагал учился и воспользовался... Но ведь т-а-ак изобразить еврея и вообще человека мог только еврей! Эта грусть. Эти слезы. Вы меня понимаете?.. Ну, положим, деформация... ну, допустим, не Шагал ее выдумал. Но ведь у него не просто деформация – у него гримаса! Наша еврейская гримаса иронии и боли как живописный прием. Чувствуете?.. Понимаете?.. – «Да, конечно... Гримаса... Кто, как не еврей... Очень даже понимаю...»

Особенно же драгоценно слово, так сказать, – со стороны, слово, возникшее не из взаимо-, а просто из понимания, чужое и поэтому объективное слово. Русский (по крови и стилю) художник про «Буфет»: «Это и так мог сделать только еврей!» (Из письма к Саше Окуню).

Говорю об этом без издевки, а скорее как о непреложном факте. Существуют истины, добываемые только путем случайных накладок опыта, наводящих бесед и перекрестных вопросов, иногда – через поколения и страны, иногда – через стол и улицу. В кругу таких истин – при всей сомнительности их происхождения – явления так же намертво цепляются друг за друга, как суждения в безукоризненном силлогизме.

Галутный еврейский быт, ставший культом, с искривленным позвоночником и расплюснутыми конечностями из-за взваленной на него непосильной роли бытия, мог породить только уродливых служителей.

Уроды Саши Окуня появились в магическом пространстве его «Буфета», как и уроды моего киевского приятеля возникли из родственного Окуню ощущения и виденья непрочной основы еврейской жизни. То, что формой, цветом и светом этого уродства он озарил и соседский славянский быт, – лишь свидетельство его великодушия, но не характеристика соседей. Они не лучше и не хуже, они – другие. И пусть говорят о себе сами.

При всей призрачности понятий «еврейская культура» и «еврейская живопись», при всей междометийной, аховой и оховой их прокладке, какая-то традиция все же складывалась, какая-то общность намечалась. Рано или поздно чья-нибудь кисть суммировала бы опыт евреев-художников, а чье-нибудь перо извлекло бы из этой

сумы типологический образ еврейской живописи. Ведь главное (и уже давно) было сделано: преодолен запрет на изображение.

Мне кажется, что запрет оправдан и осмыслен только в том случае, если бы изгнание было тождественно наказанию, не предусматривающему ни истечения сроков, ни амнистии. Равнодушный и суровый судья знает (осужденному же знать и понимать не обязательно; и так никуда не денется), что изображенный, пластически воплощенный мир ластится к изобразившему, приручает его к себе, как домашнее животное – хозяина, пригревает и согревает его, так что в конце концов становится домом, начисто уничтожая оговоренное приговором кочевье и бездомье.

Преодоление (пере-ступление) запрета – при символическом «прочтении» – могло бы означать неизбежное уже наше оседание и растворение, навечное поселение в местах рассеяния и обживания чужого, как своего. Но – ассимиляция катастрофически провалилась, и мы вернулись, несколько растеряв себя и растерявшись в столь долгой отлучке.

«Ты вернулся сюда? Так глотай же скорей...» А что, собственно, глотать ?

...В очередной раз перебираясь с квартиры на квартиру, в очередной раз надеясь, что уж этот переезд (переход) – окончательный (то есть, по крайней мере, на год, ну – на полгода), я, для укрепления новорожденного быта, решила свой новый уголок убрать цветами. Захожу в первый попавшийся цветочный погребок в Рехавии, в одной руке пакет со всякой домашней дребеденью (ложки, вилки, рукописи), в другой – три графических портрета меня работы Саши Окуня. Тычусь в цветы и тут же – пакет разваливается, картины рассыпаются, все по полу. Хозяин (тянет к шестидесяти, выяснится через минуту – македонский еврей с типичным еврейским именем Марко и таким же типичным военно-морским профилем) сочувственно цыкает, подбирает вилки, рукописи и картины, рассматривает и спрашивает, кто рисовал и кто нарисован. Экономя иврит и время (и того, и другого в обрез), объясняю, что это я сама себя нарисовала. И, конечно, влипаю. Марко (галантно): «Здесь (пальцем в глаз) ты красивее, чем здесь (пальцем в портреты). Впрочем, нарисовано хорошо, очень хорошо. (Браво, Окунь!) Видно, что училась. Вы там, в России, все ученые. А я вот нигде не училась, а рисую не хуже тебя (не меня, не меня – Окуня!) Посмотри и скажи, как тебе нравится. Правду скажи, как коллега коллеге».

Одна папка, другая, третья... Примитивизм, конечно, и – понятно, не Пиросмани и не Руссо, но открытое ими обаяние коснулось и этих холстов. Удовлетворенно пробежав глазами бескомпромиссно синие моря, идеально круглые улыбчивые солнца и паучьи фигурки, присматриваюсь к сюжетам, где и поджидают меня елочные сюрпризы. Прежде всего – абсолютное отсутствие цветов

(растений) – вот она, царственная независимость искусства от действительности, даже и цветочной! Вместо наличной флоры – буйный мир человеческих страстей: паучий человек на палубе воздел руки к небу, меж тем как к нему самому протягивают руки какие-то дамы (груды в профиль), нижняя половина которых явно отливает чешуей. Я (неуверенно): «Одиссей?» Марко заливается радостью такой же детской, как линии его рисунков. И пошло... Троянская война, Деметра, спускающаяся в Аид в поисках Цереры, Эдип и сфинкс. Давид пляшет во главе стада человечков, а Иосиф, сидя в зоосадовой клетке, разгадывает сны, тут же — жена Потифара и переход евреев через пустыню. Этнической и психологической разницы между эллинами и иудеями хозяин цветочной лавки не видит: и те, и другие – бородаты, огромноглазы, неумеренны в жестах и поступках и предпочитают сочетание черного с золотисто-коричневым всем остальным цветам спектра. Придуманная в Париже и на века провозглашенная свара Афин и Иерусалима, принятая всеми как математическая аксиома, посрамлена и опровергнута, к моему злорадному восторгу, в цветочной лавке в Рехавии, в центре Иерусалима, на исходе еврейской недели, гулко сползающей к субботе.

Это не первая моя встреча с рисующим Израилем. Израиль рисует массово, Израиль народный наконец дорвался до изображения и наверстывает упущенное. Примитивистская стилистика массовая и универсальна, что, конечно, легко объяснимо ее кажущейся доступностью, но не исключено ведь, что мы присутствуем при инстинктивном стремлении выстроить свои отношения с пространством с самого начала, того средиземноморского начала, которое известно в мире под названием «греческой архаики». Усталый изыск европейской живописи – примитивизм – для нас оборачивается знаком пространственной инфантильности. Мы – кентавры, мудрые старцы во времени, передвигающиеся на детских ступнях в пространстве.

Саша Окунь, видевший в Вене международную выставку примитивистской живописи, утверждает, что израильские примитивы – лучшие. Я ему верю: иначе и быть не может.

...В Израиле нет быта – чистое бытие. Как бы иступленно мы ни обживали свои дома, как бы ни отгораживались от законного пространства тюлевыми занавесками, палехскими матрешками, тульскими самоварами, собраниями сочинений русских классиков и гравюрами с видом кремлевской стены в снег или Медного Всадника в дождь – десятки и сотни наших хлипких уютов и гнезд не складываются в Дом. Пустыня за нашими окнами и порогами наших домов. На ее кромке затихают споры между ленинградцами и москвичами, киевлянами и кишиневцами, харьковчанами и прибалтийцами. Перед пустыней все равны, пустыне все равно.

АПОЛОГИЯ ЖАНРА или РЕЦЕНЗИЯ НА ЖИЗНЬ

Рафаилу Нудельману – с любовью

Свое родство и скучное соседство
мы презирать заведомо вольны.

О. Мандельштам

К печатным нападкам на себя я всегда была безразлична, по крайней мере, ответным печатным же словом на них не реагировала – обходилась непечатным, то есть попросту отмалчивалась. Причина: смесь явной робости и тайного равнодушия.

Но, как говорится, если живешь – доживаешь: вот уже и я не могу молчать. Меня крепко обидели, как водится – обидели друзья, причем вдвойне, потому что двое и потому что дважды на протяжении одного номера журнала «22». (В одном этом скоплении двоек есть что-то зловещее, какой-то намек то ли на сговор, то ли на заговор. Сойдемся на том, что сговариваются враги, а друзья – заговариваются.)

Для начала меня обидел главный редактор «22» Рафаил Нудельман, назвав опубликованную в номере статью П. Самородницкого «Странный народец» – эссе.

Так и напечатано на обложке: эссе П. Самородницкого.

Честь нанесения второго и куда более сильного удара принадлежит Миле Дымерской, которая сообщила: «Наш жанр – эссеистика». «Наш» – это не ее со мной и не мой с нею, – нет, «наш» – это и ваш, и его, и ее, и их, и нас, и вас, короче – всей русской алии, от которой истомленные духовной жаждой израильтяне ждали религиозных откровений, философских построений, широкоформатных обобщений, романов с проблемами, повестей с направлениями, рассказов с характерами, но не дождались, поскольку «мы» оказались не на высоте: «наш жанр – эссеистика».

Вдумчивый читатель, вероятно, уже недоумевает, из-за чего я, собственно говоря, так взъелась: ну, назвали одну, отдельно взятую статью – эссе, а русских евреев (да и то не всех, а тех лишь, от которых «ждали») – эссеистами. Делов!.. Слово «эссе» звучит завлекательней слова «статья», обложка на то и дана журналу, чтобы завлекать, а кто скажет, что «Странный народец» П. Самородни-

кого – не статья, а романс или баллада, – пусть бросит в редакцию «22» камень.

Или: так ли уж плох непривитый заграничный черенок (эссе) для обозначения нашего неукорененного образа жизни и межкультурного стиля мышления? Ведь оттого, что в русской обыденной речи распространено слово «роман», романисты не мечут в читателей перуны, требуя, чтобы те перестали смешивать свои тривиальные страстишки с их эпическими полотнами. Что ж я оскорбляюсь присвоением жанрового термина? какой в том ущерб? Какая обида? — И ущерб, и обида.

У меня есть все основания полагать, что слово и жанр «эссе» в израильский литературный русскоязычный обиход ввела я, напечатав несколько лет назад в журнале «Время и мы» три своих «Эссе о времени». (Вынеся за скобки этой фразы однородные члены «лет» и «время», получим в скобках то же убивающее меня сочетание «эссе» и «мы». Судьба!)

Помяну добрым словом Виктора Перельмана: прекрасный был редактор, дай Бог каждому еврею.

Он держал текст на свету, как внушительную ассигнацию, подносил к уху, как только что купленные часы, пробовал на зуб, как монету, выдаваемую за чистое золото, выдергивал, скручивал и поджигал фразу, как нитку ткани, выдаваемой за чистую шерсть. И когда казалось, что все погибло безвозвратно: идея – фальшивая, остроумие – копеечное, стиль – чистая дерюга, – Виктор Перельман царственным жестом возвращал автору – авторово (надежду на какой ни есть гонорар), а тексту – текстово (право на какое ни есть литературное существование).

Господские тени краевских, сенковских, чаковских сгустились в углах перельмановского кабинета. За окном расстилалась «Литературная Москва». Пахло писательской бедностью и высоким предназначением российской словесности. Чудные дни!.. Сожалею, что не увеличила их число, неразумно полагая, будто впереди еще много издательского молока и редакторского меда. Но – где мед, там и деготь: я думала, что писанное мною – эссеистика, а Виктор Перельман был уверен, что это публицистика. На мои жаркие попытки отстоять жанровую обособленность он смотрел примерно так, как тертый учитель на ловкого ученика, выбравшего для сочинения «вольную» тему. Вольная тема в жанровой номенклатуре значит, а все ж, уклонившись от «типичных представителей», прошмыгнув мимо «характерных выразителей» и всецело предавшись размышлениям о том, что «в жизни всегда есть место» или что «человек создан для, как птица для», потому что «звучит», — ловкий ученик, с точки зрения тертого учителя, ничего, кроме шапочного знакомства с обязательной программой, этими своими размышлениями не демонстрирует.

Иными словами, Виктор Перельман подозревал, что эссе – это синоним авторской лени, а эссеистика – недотянутая публицистика.

– Тут мысль надо бы прописать четко, чтобы видно было ваше личное отношение к предмету.

– Так вот же мысль!.. А вот отношение...

– Это не отношение.

– А что это?

– Субъективистский произвол.

– А по-моему, и так все понятно.

– Вам понятно, ну мне понятно, ну Наташе понятно, а инженеру из Черновиц – непонятно.

– При чем здесь инженер из Черновиц?

– А при том, что вы для него пишете.

– Не лишу я для инженера из Черновиц, у меня нет ни одного знакомого инженера из Черновиц.

– Нет, так будет. А другого читателя у вас и не будет. И он, инженер из Черновиц, не только единственный, но и самый взыскательный ваш читатель.

– Это почему?

– А потому, что он типичный-единичный представитель индивидуального коллективного опыта русско-советского еврейства. Понятно?

– Непонятно...

Я агрессивна и нетерпелива, Перельман терпелив и деликатен. Отступаю и прописываю «отношение к предмету».

– Ну как?

– Не пойдет.

– Почему?

– Мысль есть, отношение видно, но предмет исчез.

– То есть как: «исчез»?

– А так: исчез. Понятно, как вы относитесь, но непонятно – к чему.

– Да ведь «к чему» задано темой, системой образов, наконец... вот образ... и вот образ... и это, некоторым образом, тоже образ... Послушайте, я же эссе написала!

– Для вас – эссе, ну, положим, для меня – эссе, ну, для Наташи... а для инженера из Черновиц – публицистика.

В конце времен победила дружба: в трех номерах журнал расселил три десятилетия моей жизни, объединив их рубрикой «публицистика» и разъединив с рубрикой подзаголовком «Эссе о времени». Эссеистику и публицистику окрутили с такой же неприужденностью, как если б то были «безумный день» и «женитьба Фигаро». Меж тем в этом случае «или» альтернативно: или безумный день – или женитьба: выбирайте!

Но проблема жанрового выбора никого не занимала и не занимает. А жаль: отношения эссе и публицистики проливают некоторый свет на тревожную проблему литературного и вообще соседства.

Вообще соседство, подобно родственным связям, тяготеет к драматическим сюжетам в диапазоне от крупных неприятностей до стихийных бедствий. Опыт человечества (и не только коммунального показал, что хороших соседей не бывает. Хорошие соседи – это просто друзья, живущие за стенкой, рядом или совсем недалеко. Заметим, однако, что, как показывает тот же опыт, совмещение соседства с дружбой чревато драматическими сюжетами в диапазоне от крупных неприятностей до стихийных бедствий. Любые связи, даже родственные, можно прервать, но от соседей негде спрятаться, некуда бежать: соседи – это судьба, точнее и мрачнее – рок.

Сказанное о соседстве вообще вполне применимо к соседству литературному. Вполне, но – не полностью. В бытовом соседстве недостатки ваших соседей хоть и причиняют бытовые же неудобства, зато подчеркивают ваши собственные достоинства, а то и побуждают к оным. Пример: что способно ярче отменить ваше холостяцкое счастье (если, конечно, оно у вас есть), чем грохот разбиваемой посуды, мужской визг, рыдающий женский бас и прочая духовая музыка семейного скандала, неприглушенно доносящаяся из-за стены?

В обыкновенном соседстве можно жить по контрасту. Не то в соседстве литературном: оно подчиняется законам смежности и отождествления и ведет к взаимопересечению вплоть до взаимоничтожения.

Литературный сосед по времени, даже удаленный на необозримое пространство, неизбежно оказывается у вас за стеной и за спиной. Вы ежедневно и еженощно слышите его вдохновенные бормотания и творческие всхлипы. Вы прислушиваетесь к стуку (обязательно незатихающему) его пишущей машинки, лихорадочно подсчитывая, сколько он еще настучал, пока вы изучали свой гороскоп за прошедшую неделю и программу телепередач на будущую. Почитатели то и дело ошибаются дверью, причем выясняется, что у него почитателей гораздо больше, чем у вас. У вас находят его интонации, словесные жесты, отдельные строчки, целые абзацы... У него, конечно, ничего вашего не находят, потому что не ищут. Боже, какие муки!

И это при соседстве во времени!.. А если оно еще и пространственное, и жанровое, а если вы с кем-то оказались под одним кровом, то есть под одной обложкой, да еще под одним одеялом, то есть под одной рубрикой?!.. Что тогда?!..

А вот что: одно (одну) из трех моих эссе (статей) поместили в одном «Времени...», под одной рубрикой («публицистика») и в полустраничной близости от статьи доктора Израэля Эльдада. Из-

раильскому читателю (а только ему на этот раз адресованы мои печали) представлять доктора Эльдада не надо, но напомнить его (а заодно и себя) хочу:

«Есть духовные гены и силы быть великими. Только бы не забыть, что мы в пути, и не поддаться самовнушению, что можно не быть к себе строгими».

«Голым инженером стоит он на площадке перед непостижимо, безбожно, жестоко захлопнувшейся дверью шестидесятых годов, чувствуя, что вместе с водой из кранов вытекает его собственная жизнь, и я слышу, как в измученной его, уставшей груди нарастает вопль: «Цитату мне! Цитату!»

Трудно представить размах и размер композиционного воображения читателей журнала, но я отчетливо вижу, как профетический сионизм доктора Эльдада начинает выделять клоунские колена, и я отчетливо слышу, как в маленьком оркестрике моего шапито вдруг зазвучали иерихонские трубы.

Публицист оценивает реальность: критикует, негодует, поучает... Мои цели были не противоположными, но иными: я не оценивала прошлое и не обесценивала его – я его создавала.

Любой журнал организуется по принципам романа: он разговаривает многими и разными голосами. Но не языками. Жанр – это именно язык, а не голос.

...Юрий Олеша сохранил воспоминание об одном удивительном опыте чтения. Будь я публицисткой, – я бы Олешу процитировала, то есть списала. Но я – эссеистка, и потому воспроизвожу эпизод своими словами и переживаниями, то есть переписываю.

Итак, где-то когда-то Олеша читает растрепанный, без начала и конца, с заклеенными и вклеенными страницами роман Шеллера-Михайлова («какого-то» подразумевается). Читает с тем редким и едким – от «еда», а не от «яд» – удовольствием, с тем волчьим аппетитом, с каким писатели и читатели поглощают добротную плохую прозу, если она «за жизнь». «За» здесь не только ироническая замена предлога «про», но употреблено и в прямом своем назначении: «в защиту кого-то – чего-то», «на стороне кого-то – чего-то». Проза «за жизнь» – это еще и проза в защиту, на стороне жизни как она есть, без формальных поисков, стилистических провокаций и философских подковырок, а – просто: как люди жենятся и как они живут. И чем читатель и писатель изысканнее, тем удовольствие неподдельней. Так страстотерпцы диеты и оскаруайльды от кулинарии, урча, дорываются до борща украинского и макарон по-флотски.

Неторопливо перемалывает Олеша своими изъеденными литературой зубами шеллеровскую кулебяку, и вдруг – косточкой в пе-

ремолотом мясе – ночная аллея... призрачный свет... женщина в черном... бредовый разговор:

«– Встань, встань! – говорил он испуганным шепотом, подымая ее. – Встань скорее!

– Ты счастлив? Счастлив? – спрашивала она. – Мне только од-слово скажи, счастлив ты теперь? Сегодня, сейчас? У ней? Что ска-зала?»

Дойдя почти до конца аллеи, Олеша начинает понимать: так лю-ди не женятся и так они не живут.

Оказывается, в роман Шеллера-Михайлова некто простодуш-ный вклеил страницы романа Достоевского «Идиот», должно быть тоже растрепанного.

Что поражает в этом, даже не литературно, а литературоведче-ски обаятельном сюжете? То, я думаю, что Олеша поперхнулся не сразу. Пусть и самое малое время (а литературное время, заметим, не совпадает с обычным: оно всегда длиннее), но он продолжал двигаться по инерции повествования, пока не налетел на фабуль-ную (имя Настасьи Филипповны) – и только потом – стилистичес-кую преграду.

Минутное поражение самого изощренного читателя среди рус-ских писателей знаменует победу жанра.

Достоевский был гений, но «не психолог, а реалист в высшем смысле»: он знал и потому изображал реальность высшего поряд-ка. Шеллер-Михайлов был очень не гений и реалист в низшем смысле, то есть изображал низшую, психологически-бытовую ре-альность. Но жанрово – и в этом простодушный переплетчик не ошибся – они такая же «марьяжная пара», как два любых других повествователя-романиста. И, как всякая марьяжная пара, они спорят «за жизнь», вовлекая в спор читателей, соседей и кого при-дется.

Эссе и публицистика так же не могут, а без редакторского свое-волия и не станут оспаривать друг у друга темы, как собака и кошка не схватятся из-за курицы. (Я, понятно, имею в виду поеди-нок соперников в любви, а не в обеде.)

В результате ли перемещения звезд, Черновиц или масс возду-ха, но только в журнале «Время и мы» эссе получило повышение: из титулярного подзаголовка оно перешло в ранг действительной и действующей рубрики. (Есть такая рубрика: «Эссе о времени».) Под этой рубрикой регулярно печатается публицистика хорошая, получше, а то и вовсе плохая, но – публицистика, а не что-нибудь другое (эссе, например) .

Мой отпрыск победил, хотя пошел другим путем. Некоторые черты фамильного сходства (здесь – лихая метафора, там – эле-гантная зарисовка с натуры, а вот исповедальное «я» с воспомина-ниями из позапрошлого) лишь утверждали меня в правах владе-ния, не переданного по наследству: если публицист говорит «я», –

это все равно «мы», эссеистское «мы» – все равно «я»; в публицистике даже исповедь – это проповедь, в эссе и проповедь – всегда исповедь.

Так бы мы и жили, перемигиваясь при встрече («Что, брат, все разоблачаешь?» – «А ты как, все разоблачаешься?»), – если бы мои случайные соседи по месту и времени и дальние родственники по словесной линии не перешли к прямой агрессии и самозванству:

«Не в этом ли состоит сегодня всемирное и всечеловеческое значение еврейства и сионизма как современной формы его национального самосознания?»

...В достаточной ли мере оценен и усвоен другими народами этот урок?

...Почему это произошло? Любое рациональное объяснение здесь бес- сильно.

...Но эта невероятная случайность произошла!

...Создание царства Божьего не является, конечно, чисто еврейским делом. В конечном счете в этом состоит высшее призвание и высшая цель человечества».

Кто сказал, что это – эссе? Дайте мне его, – и я брошу в него камень. А кто скажет, что это – публицистика, тот пусть бросит камень в меня: все равно не долетит. Потому что это и не публицистика. Эссе исповедуется, публицистика проповедует, но «Странный народец» не исповедуется и не проповедует, он – изрекает. (К сведению любителей литературных мордобоев: у меня и в мыслях нет критиковать работу П. Самородницкого по существу, поскольку его проблематика – предопределенность судьбы еврейского народа и спасение человечества – вне моей компетенции и сферы моих интересов. Интерес мой маленький: определение и спасение жанра.) Что ж это за жанр такой, если почти каждая фраза готова разрешиться от бремени смысла вопросительным или восклицательным знаком, а скорее всего – двойней? где только из орфографического приличия слова внутри фраз пишутся с маленькой буквы, но звучат с прописной? где прописные истины звучат как абсолютные, а полное отсутствие в тексте личных местоимений (ни «я», ни «мы») намекает на сверхличностное происхождение этих истин?

Слово публициста рождается из наблюдения, эссеиста – из самонаблюдения.

Слово, подобное слову господина Самородницкого, может возникнуть только из откровения. Эта разновидность опыта мне не доступна. Перед принципиально непознаваемым я отступаю не в страхе, а в скуке. Откровение, освобождающее от личного риска («не я, но токмо пославшая меня истина...»), – долитературная форма творческого вдохновения, которое все на личном риске

строится. Я знаю только один жанр, тоже долитературный, еще готовый приютить неплатежеспособное слово откровения. Жанр этот – богословский трактат.

...Когда во всем городе – от королевского дворца до портовой таверны – прихлопывают колпачками последние доплывающие свечи, – в этом доме зажигаются первые;

когда под фланелевыми колпаками еще храпят нотариальные по купле и продаже, найму и займу конторы, – в этом доме уже склоняются над конторкой;

когда во всем городе – от рыбацкой хижины до королевского дворца – открываются ставни, – в этом доме они закрываются: даже хлипкий свет скандинавского утра кажется хозяину вульгарно ярким, как сказки господина Андерсена; свет назойлив, как воскресная проповедь приходского пастора, и лезет во все щели, как философия профессора Гегеля. Объективный, слишком объективный свет...

Нет, малочтимые и глубоко неуважаемые, истина – это не свет, а свеча: ее можно зажечь и задуть по желанию. Истина рождается в недрах собственного дома – и ни в каком другом месте. Она пахнет ночным страхом и утренним кофе; сохнувшим на веревке бельем трепещет она и мышью скребется в углу; у нее пустые детские глаза Регины, и, как Регина, истина когда-нибудь постареет и умрет. А что до ваших вечных, объективных, абсолютных или там соборных истин, – извините; здесь Я, а не Копенгаген.

Шуршат листы на конторке и за окнами; скрипит перо и снег под прохожими ногами, с календаря слетают десятилетия, разбухают гроссбухи: в графе «приход» – мысли, в графе «расход» – жизнь. Кьеркегор без устали превращает свою собственноручно придуманную и потому ни на чью не похожую жизнь, – в продуманную, ни на что не похожую литературу, слово Божье – в авторское слово, богословский трактат – в эссе.

...Выбирающий жанр выбирает судьбу.

Разумеется, свобода выбора ограничена: писателей по призванию, а не названию жанр выбирает сам, он генетически предопределен, как форма носа или правильный обмен веществ. Сложная цепь причин и следствий, включая мутационные разрывы, образует литературную судьбу (она же судьба человеческая).

Но именно в природе жанра скрывается разгадка литературных биографий.

Среди романистов, к примеру, были богатые и нищие, долгожители и самоубийцы, труженики пера и джентльмены литературной удачи, но сам по себе роман – жанр-счастливчик: уверенный в том, что литература – это продолжение жизни другими (в идеале – большими) средствами, роман вправе и правильно рассчитывает на некоторую благосклонность с ее стороны. К тем же, для кого жизнь (то есть роман) – слишком массовый, слишком демо-

кратичный жанр литературы, а человек (то есть поименованный персонаж) – устаревший литературный прием, – о, к тем жизнь безжалостна. И поделом! Поэтому Томас Манн, прирожденный эссеист, но очень осторожный человек, уравновесил эту божественную склонность бюргерской состоятельной романистикой.

И все-таки однажды сорвался: «Доктор Фаустус» – этот «Фауст» сегодня – по замыслу автора призван оповестить: вакантное место тайного советника Европы отныне занято им, Томасом Манном.

Роман дописан. Друзья в восторге. Но Манн... он-то знает, что он – избранник другого жанра, что «влажный очажок» эссе исподволь, изнутри всегда разъедал здоровую этическую ткань его романов, что их густой повествовательный румянец на самом деле признак субфибрильной стилистики обитателей высокогорного санатория, А роман – итог всем жизни и, судя по всему в жизни – последний. Спасать!.. Спасать немедленно!.. И Манн пишет эссе, в котором рассказывает, как, при каких обстоятельствах и зачем он писал роман. Вынесенная в заглавие отчаянная попытка спасти свою жанровую маску – «Роман одного романа» – не в силах скрыть подлинное лицо жанра: перед нами – «Признания эссеиста Томаса Манна».

Не менее, хотя по-другому, осторожный Набоков совершил тройное сальто с двойной подстраховкой: эссе о Чернышевском загримировал под пересказ чужого романа и разместил внутри спасительной романной реальности своего «Дара».

Неуловимое отлетающее небо отражено и стреножено добротным зеркалом платяного шкафа.

Зеркальный шкаф – от Стендаля: «Роман – это зеркало, с которым идешь по большой дороге».

Перевозка прошла благополучно: в романе доставлено эссе. Набоков умер в старости, богатстве и бессмертии.

Я думаю (это из вежливости, на самом деле я уверена в том), что мигрируй Марина Цветаева из поэзии не в эссе, а в роман, публицистику, повесть, рассказ, наконец, – не качаться ей в елабужской петле.

.....

– Здрасьте!

– Здрасьте! Сердечно рад. Я для вас подарочек приготовил, скрепочкой скрепил, чтоб не рассыпалось, не растерялось.

– Это что ж такое?! Выбросили?! Сократили?!

– Ни Боже мой! Не сократил и тем более не выбросил, а с-э-к-о-н-о-м-и-л! Для вас сэкономил, для вашего будущего. Вот эпитет у вас: прелесть, что за эпитет, так в рассказ и просится. Или вот сравнение рядышком: душка! – а не сравнение. С таким сравне-

нием в кармане рассказцем не откупишься: на повесть тянет, а то и на роман.

– Не стану я писать ни повесть, ни рассказ, ни роман. Не хочу и не стану, потому что не умею.

– Эка важность: не умею! Другие пишут – и ничего. И рассказы пишут. И повести. И романы. Одни вы себя на диету посадили – эссе да эссе! Далось вам это эссе! Ну, для меня эссе, ну, для Наташи...

Хороший был редактор у «Времени и мы». Добрый, заботливый человек был Виктор Перельман. Одно только, – как бы это сказать? – одно как-то дополняло другое.

...У каждого жанра свой уклад быта, свой склад ума и темперамента, свое здоровье и свои болезни, своя история болезни и своя география. По этим внесловесным, но абсолютно литературным приметам жанр определяется с большей точностью, чем того хотелось бы автору: всегда выбор судьбы, жанр иногда еще и попытка ее переиграть.

Астматическое удушье, хорошо усвоенные уроки Бергсона, пробковые стены рабочего кабинета (когда шумит время, – пространство должно молчать), дневные свечи – все выдает в Марселе Прусте эссеистскую кровь. Что такое, в сущности, «В поисках утраченного времени?» – эссе о времени, растянувшееся на роман. Чтобы удлинить дыхание и жизнь, Пруст лечился патентованным жанром: роман непрерывен, эссеистика живет с антрактами, от эссе до эссе. Продолжение спектакля после антракта привычно, но не гарантируется.

...Эссе – дитя европейского Запада и только его. Но даже в западной культуре эссе – больше король, чем монархист – занимает уязвимую для обороны праворадикальную позицию, отстаивая священное право собственности на собственное «я» (отсюда его эгоцентризм), право критической проверки всего устоявшегося, привычного, прочного, а значит – уже недостаточно индивидуально-го. Отсюда – эксцентрика: игра со смыслами, чтобы не застывали в формах, игра с формами, чтобы не забывали о смыслах.

Фрак с цветком в петлице – униформа эссе, дирижеров и цирковых распорядителей.

Цирковая арена, симфоническая эстрада и эссе верны духу европейского дендизма.

– Дендизм, говорите? Хе-хе... Европа? Гвоздичка в петличке? Ну-ну... А кто ж это там в углу уединился? Да не в углу – в уголку, в уголочке, в уголочичке?.. Уединился – и пишет. Одна рука держит вдохновенное перо, другая – источник вдохновения. Чернильная капля с пера – бряк! С носа, с висков, со лба – бряк! Бряк! Бряк! Потекло... На размазанных листах дальше пишет. Что ж, что размазанные... Он не то что на размазанных листах – на листьях писал. Опавших. И на манжетах писал. Засаленных. Про манже-

ты, впрочем, как и про все прочее, наврал с три короба: манжет у него отродясь не было, сюртучишко – перхотный, склизкий, – прямо на голое тело носит.

«Я, – пишет, – не хочу истины, я хочу покоя». Покоя хочет, а сам ерзает. Поерзает – и попишет, попишет – и поерзает. Страшный такой, нечистый, двусмысленный...

О, о, о! Печаль – судьба человеческая, нищета; и это – писатель русский?!.. – не писатель, а гениальный русский эссеист Василий Васильевич Розанов.

Такая у русского эссе судьба, такое у него счастье. В литературе, спокон веку озабоченной устройением родовым (роевым), общинным, народным, национальным, социальным, – откуда эссе возьмется? В культуре неличностной (да чего там «не» – «анти») кто в эссе личность заявлять будет? А саму личность где взять? Если ж ненароком объявится, – ничем другим, кроме как юродством, личность в России оповестить о себе не может.

Человек – это стиль, а стиль – это жанр. Вспомним Чаадаева: никакой он не философ, даже религиозный (что как бы снимает половину ответственности), не историк, не историософ, а – эссеист. Чистой воды. Его европейская ностальгия – тоска по жанровой родине.

По свидетельству Мандельштама, Чаадаев по Англии расхаживал надменный. Накрахмаленный стоячий воротник – колодкой: чтоб голова не качалась и в задумчивости. Цилиндр. Трость. Плащ. Больше англичанин, чем лорд Биконсфильд-Дизраэли. Денди лондонский, сноб, эксцентрик... А как засел на Новой Басманной, – юродом стал, и аглицкий клуб не помог.

(Западную эксцентрику с русским юродством смешивать не станем: эксцентрика – форма, доведенная до самоосознания: эстетизм; юродство – голый (вот именно!) смысл, распеленавшийся дух, душа вне оков телесного приличия: «...гуляй, душенька, гуляй славненькая...»)

Поприщинский колпак правительство водрузило не на сократовский лоб Чаадаева, а на его поприще – эссе. И, как это свойственно всем русским правительствам, обнаружило тонкое литературное чутье, наглядно показав закон и явив образ перехода жанра из одной культуры в другую.

Но правительство в роли литературного критика – еще самый оптимистический вариант тех событий. А что, как было по-другому? Что, если критика (литературой) размещалась там именно, где ей надлежит быть, – в литературе? А правительство, как это вообще свойственно русским правительствам, лишь воспроизвело доступными ему художественными средствами и формальными приемами заранее выписанный сюжет (приговор)?

«Шинель» заношена до дыр, потому что из нее все вышли. Но кто вошел в «Записки сумасшедшего»? Утверждаю: Чаадаев в них вошел, да так навеки под гоголевским надзором и остался.

Хронологией не смутимся («Философические письма» писаны в 1829-1831 годах; одно из них, невинное, об архитектуре, опубликовано в 1832 году; главное, скандальное, – в 1836, «Записки сумасшедшего» – в 1835): николаевская эпоха – ранний, но отнюдь не робкий набросок грядущего самиздата, понимая под оным не только распространение неотцензурированных текстов, но и хоровое их чтение по разным салонам (квартирам), обсуждение и вообще вольное русское говорение.

До того, как стать литературным фактом, Чаадаев был литературным бытом: в сплетнях друзей, в пересказах врагов, в пересудах тех и других.

Он оформлял свою жизнь по законам эссеистского текста: салон (замкнутое пространство), поза (отщепенская: у колонн), одиночество, европомания, афоризмы житийной мудрости...

«Шинель» с царского плеча русской литературы – мечтавшему о шинели, а возмечтавшему о себе – холодная вода: «Боже мой! Что они делают?! Они льют мне на голову холодную воду!..»

«Окатыть холодной водой» (кроме устаревшего способа лечения душевнобольных) – устойчивая идиома по отношению к зарвавшемуся мечтателю.

«Записки сумасшедшего» – единственная гоголевская проза от первого лица: личностное суждение о судьбах мира диагностируется Гоголем – эпиком и соборянином – как прогрессирующее безумие.

Отметим и характерную гоголевскую игру на жанровое понижение: пушкинскому роману в стихах («энциклопедии русской жизни») он отвечает поэмой в прозе – русской жизни «ревизским списком» и «подушной податью».

Что в таблице о рангах стоит ниже письма? – Записка.

– «Он вышней волею небес рожден в оковах службы царской», – причитает Пушкин.

– «Но воля-то – вышняя, а служба-то – царская», – расставляет прозаические ударения Гоголь. И трезвым взглядом натурального писателя превращает Афины и Рим в Петербург, кворумы и форумы – в казенные присутствия, Брута с Периклесом – в Поприщина, философические послания – в сумасшедшие записки. Впрочем, письма в «Записках» тоже присутствуют в виде любовной переписки двух собачек, в чем усматриваю ехидный намек на романтический оттенок «Философических писем», тоже задуманных как переписка с некой госпожой Пановой и ей посвященных.

Эпистолярный роман, как контекст «Писем», помещен в текст «Записок».

Перед нами, однако, не только пародийное преобразование бытового сюжета в литературный, но и пародийное снижение (унижение) прототипа.

Современники Чаадаева были осведомлены о его духовидческих занятиях и мистических опытах. Чаадаевское стремление вверх и ввысь, к знанию надчеловеческому и жизни сверхдуховной, снято поприщинским «низом» – проникновением в жизнь животных, собачьи тайны.

Стиляжный облик Чаадаева оборачивается дурноватой франтоватостью Поприщина, чаадаевское западничество – титулярным пристрастием к текущей европейской политике («Бриан – это голова!»); чаадаевские раздумья о мировой истории и месте в ней России переводятся на язык поприщинской географии: «С одной стороны море, с другой – Италия, вон и русские избы виднеют»; иерархические построения басманного затворника и поза мирового судьи отливаются в классическую формулу паранойи: «В Испании есть король, этот король отыскался, этот король – я!»

На «Записки сумасшедшего» Чаадаев ответил «Апологией сумасшедшего» и тем известил, что намек понял и вызов принял. Тени Сократа и Платона совокупно с Брутом и Периклесом встали на защиту мыслителя от диканьских набегов исторически случайных соотечественников.

...Эту затерявшуюся переписку из двух углов русской литературы после многолетних поисков и длительных усилий я обнаружила на первой же ее – русской литературы – незапыленной полке. Перелистывая неостывшие страницы и задыхаясь от первооткрывательской гордости, я поняла, что кроме момента явно драматического в моем открытии присутствует момент менее явный, но еще более драматический.

Если закрыть уши, прищурить глаза, отворотить нос и заглушить то утробное урчание души, с помощью которого мы безошибочно отличаем одного человека от другого («свой» – «не свой») и, напротив, всецело довериться понятийно-характеристическому инвентарю, – до жути похожими покажутся Гоголь и Чаадаев. Оба – теократы и выпускники лицеев, оба пришли в мир и живут в нем с сознанием предназначения высшего, чуть не апостольского; в сексуальном отношении оба равно (хотя и разно) небанальны; мистические озарения и явная (даже для той толерантной эпохи) психоватость – неотъемлемые черты душевного быта обоих.

Что остается за пределами этого общего послужного списка? Западничество одного и русофильство другого? А кто в письме написал: «Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент... – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине»? Чаадаев из второй (которой не было) поездки в Европу в философском послании к госпоже Пановой или частном – Пушкину? Нет, это пишет Жуковскому Гоголь из Рима – столицы мирового католицизма, вос-

петого Чаадаевым. Родина как будто тоже выходит общая. И кто из них больше европеец (или меньше русский) – поди разберись. Похоже, будь Чаадаеву так уж по себе в европах (где хорошо – там родина), не прикипел бы он к Новой Басманной, к азиатской опричной Москве: где родина – там хорошо. Вот как Гоголю в Риме. Нет, что ни говори, а судьба была милостива к Чаадаеву: живи он в Лондоне с его загадочной русской душой – ходить ему в городских сумасшедших (за непопулярностью в Англии юридивых), а здесь он офицер гусарский.

В «Записках сумасшедшего» черты пародии и самопародии так же переплетены, как в обликах (и облики) Гоголя и Чаадаева. Отсюда – Италия, Испания: сердечно любимая Гоголем латинская Европа и философически обожаемое Чаадаевым латинство. И еще: «Записки сумасшедшего» – единственная гоголевская вещь, написанная от первого лица.

А теперь откроем уши, распахнем глаза, водворим нос на положенное место и для начала сунем его в показания современников: чавкает, похрапывает, похрюкивает – Гоголь. Затянутый, холодный, брезгливый – Чаадаев. Взвесим наследство: вот густозаселенный черноземный материк гоголевского письма, разве что перережет его кое-где период да изредка пересечет абзац... А вот безлюдный островок писем в океане чаадаевского безмолвия.

В который раз подвела аналогия: на самом деле между Чаадаевым и Гоголем так же мало общего, как между царскосельским лицедем и нежинским. Потому что жанр разделяет больше, чем психология и происхождение объединяют. Где жанр – там родина.

...Из вышеизложенного математически следует, что сказать: «наш жанр – эссеистика» – такая же нелепость, как: «наша зубная щетка» или «наша головная боль». Из честности, однако, признаюсь, что мне известны две ситуации, допускающие такое слово – (и зло-) употребление. Первое – общение матери (неопытной) с ребенком (маленьким): «Где наша зубная щеточка?», «у нас болит головка?» Вторая – особый случай врачебной практики, лингвистический казус, неизвестный науке под именем *gronomina hiprosrati*: «Ну, как наше сердце? печень? почки?..»

Ситуации однотипны и структурно распадаются на сильного (мать, врач) и слабого (ребенок, больной), причем сильный хочет помочь слабому за счет своего с ним отождествления, то есть расширить зону своей ответственности и сузить его поле страха. Дети, как правило, вырастают, больные иногда выздоравливают, но страх остается всегда.

Русская литература только тем и занималась (занимается), что постоянно расширяла (расширяет) зону своей ответственности и, соответственно, – безответственности своих пациентов. О, если бы русская литература действительно была литературой проклятых вопросов! Скажем наконец горькую правду: это литература прок-

лтых ответов. Россия обрела в литературе безотказный способ перевода жизни в действительность (в смысле гегелевской разумности) и человека – в личность.

К чести большой (не путать с Великой) русской литературы заметим, что комические обертоны этой высокой болезни она прослушивала безошибочно:

«Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он скажет вам в своем «Гамлете» о состоянии души моей» (Ф. Достоевский, «Село Степанчиково и его обитатели», из монолога Фомы Опискина).

«Своею нерешительностью я напоминаю Гамлета, – думал Лаевский дорогой. – Как верно Шекспир подметил! Ах, как верно!» (А. Чехов, «Дуэль»).

Но что ирония литературы в сравнении с жаждой жизни? Жажда прибывает по мере того, как литература убывает, по крайней мере – та пригодная для жизни литература типов и характеров, какой она была в блаженном XIX веке.

Единственное непромотанное наследство – «лишние люди» – не в силах прокормить бесчисленных претендентов, поскольку является собой сегодня пример тавтологии. («Все люди на этом свете – лишние», – как пророчески заметил один из несправедливо забытых авторов минувшего столетия Антоша Чехонте.)

В плоскость литературного текста втягиваются социо- и культурологические понятия, призванные заменить одиночных праздношатающихся гамлетов. Потерянное поколение, растерянное поколение, растрепанное поколение, поколение пустыни...

Узурпация эссе в качестве общинной характеристики равна личностному самоопределению с целью присоединения.

Но эта жанровая отмель не в силах предоставить надежное убежище изгнанникам континента отечественной словесности, поскольку ее размеры совпадают с размерами живущего на ней краба-отшельника.

...Сочувствую всем видам страха и разновидностям одиночества – социального, психологического, культурного, человеческого... Я даже думаю, что в попытках преодолеть одиночество все имеют право на все (разумеется, в рамках уголовного кодекса и десяти заповедей).

Но прошу сделать поправку на климат: жарко на этом свете, господа! Слишком жарко, чтобы в кучу сбиваться.

*Таммузиоль 5741 год
хамсин по дороге на Вифлеем*

СВОБОДА И СЛОВА

ВСТАНЬ И БЕГИ

Когда я проснулась в начале душного октября 1976 года, передо мной сидела израильская журналистка, кажется, из «Маарива». Мы тогда еще были в новинку, и интервью брали, если не у каждого, то уж точно через одного. И первый вопрос, который она задала, был такой:

«למה באת?»

Не помню, что я ответила, скорее всего нечто, что по здешним, за четверть века не изменившимся понятиям, проходит по статьям:

«על רקע רומנטי» и «פּטתִי».

С тех пор мне столько раз приходилось давать интервью ивритским корреспондентам, что, пожелаю я собрать их воедино, вышла бы вполне пухлая книжка.

Но и через десять, и через пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет вопрос: «Лама бат?» возникает с регулярностью и неотвратимостью хамсинов. Как будто каждому подростку поколению тружеников израильских СМИ я обязана отчитаться в причинах непреходяще странного моего здесь присутствия. И потому уже давно, очень давно я заготовила стандартный ответ: «Знала, но забыла».

На самом деле, я, конечно, ничего не забыла. Как может человек забыть тот слепящий миг, когда все то неоформленное, хаотичное, с чересполосицей света и тени, дурного и хорошего, что именуется «жизнью», – вдруг стягивается в тугую, на манер морского, узел, в напрягшийся мускул железной воли, устремленной к одной единственной цели, и ты понимаешь, что возврата нет, что все черновики, фрагменты, наброски сложились в единый сюжет, в котором ты и автор, и герой одновременно.

Мог ли Достоевский забыть ту петербургскую морось, когда за утренним кофе с молоком и газетой ему на глаза попала заметка в разделе уголовной хроники: некий студент совершил убийство, поскольку, – как он чистосердечно пояснил, – находился в стесненных денежных обстоятельствах, и ничем другим поправить их не мог!?

Мог ли Раскольников забыть ту минуту, когда при взгляде на гадкую старушонку-процентщицу он с последней ясностью понял: святость любой человеческой жизни – ложь, в праве на жизнь нет равенства!?

Из этих двух мигнов прозрения и возник роман «Преступление и наказание», тот самый, который в своем последнем могильном убежище читал Саддам Хусейн. Что он искал в романе: оправдание преступления, неотвратимость наказания? Неведомо. Но после этого

ошеломляющего сообщения все разговоры о самодостаточности исламской культуры перед лицом культуры европейской стоят в моих глазах столько же, сколько русский рубль на международных валютных торгах, то есть равным счетом ничего.

Легкость и готовность, с которой Израиль принял политкорректную концепцию равенства культур, настораживает и смущает. Концепция эта, возможно, политически выгодна, но интеллектуально абсолютно не корректна.

Политических дивидендов от присоединения к конвенции у нас пока что не наблюдается, а вот культурный урон очевиден: израильская культура, и без того чересчур коллективистская и сильно усредненная в основном своем потоке, лишилась самокритичной тревоги, зато утвердилась в недаровитой самоуспокоенности.

Пример с «Преступлением и наказанием», конечно, мрачен. Но этим я вовсе не хочу сказать, что принятое некогда решение было окрашено в цвета страха и трепета, – нет! Но оно было фатальным, со всеми оттенками неизвестности и мрачной несвободы, которые фатальность предполагает. В таком выборе информация о предмете выбора, сколь угодна большая или сколь угодно малая, достоверная или не очень, не помогает и не приоткрывает сокрытое будущее. Так либретто балета сообщает о его содержании и ничего о самом балете.

Выбор, выбор... Почему его пришлось сделать? Антисемитизм? О, да! Но то был не антисемитизм «черты оседлости» и еврейских погромов, не гитлеровский, не сталинский, с его кампаниями против космополитов, театральных критиков и прочих убийц в белых халатах... И запрограммированным финалом в снегах Сибири при помощи экологически чистых средств (холод, голод, северное сияние, снежный саван), без всякой дорогостоящей химии и прочих зловредных нитратов.

Отрицание Катастрофы преследуется законом во многих странах Европы, что не мешает Европе бодро антисемитствовать. Но все же... Даже израильтян, весьма вяло откликающихся на недавнее еврейское прошлое, попытка отнять у нас Катастрофу доводит до каления и кипения.

О сталинском варианте окончательного решения я и десятки тысяч людей моего поколения знаем с такой же достоверностью, с какой бывший узник лагерей уничтожения знает повадки и приметы ада, в котором он побывал. И что же? Ни у кого я не встречала такого яростного сопротивления самой возможности обсуждения этой темы, как у израильтян – историков, советологов, просто нормально образованных и умеренно-левых уроженцев страны. Короче, у представителей слоя, которых в России именуют интеллигентами, а здесь – интеллектуалами. Но, как их не назови, они – та природная среда естественного для меня социального обита-

ния, та «малая родина», вне которой родина большая, историческая, превращается в пустой знак фантомного пространства.

Отказ от истины в угоду идеологической вере, таков был главный урок и первый удар, который я получила при первых же контактах со своими ивритскими однословниками. Урок я усвоила, от удара не оправлюсь никогда.

Что ж до антисемитизма после-сталинского, особенно 60–70-х годов, – то был антисемитизм усталого, дряхлеющего, задерганного общества, склеротически повязанного своим интернационалистским прошлым, но уже неспособного, да и не стремящегося сопротивляться ментальному напору православно-антисемитской страны.

При всем том место, которое евреи, начиная со второй половины 30-х годов, заняли в культурной (научно-художественной) элите, оставалось за ними по-прежнему. Кому-то это удавалось легче, кому-то трудней. Важнее психологическая доминанта: общее с собственно русским интеллектуальным авангардом омерзение к идеологическому надзору и претензиям власти на последнее слово о судьбах мира и человека давало еврейским интеллектуалам чувство духовной близости с их русским окружением. Еврейское существование не выпадало в горький социально-этнический осадок непризнанности и отщепенства. Экологических ниш хватало на всех. Одни предпочитали диссидентские кухни с сильным запахом текущей политики, я вольготней чувствовала себя на богемно-художественных сборищах. А примешавшийся к этому ядовитый привкус антисемитизма всецело зависел от порога чувствительности отдельно взятого еврея (я встречала и встречаю немало соотечественников, утверждающих, что никакого антисемитизма на их географической родине не было и нет, потому что лично они с ним не сталкивались. Охотно верю...).

Замечательно, что сионизм образца 70-х годов заново родился, вырос и окреп как раз в прослойке наиболее преуспевших, социально интегрированных евреев – докторов физико-математических наук, гуманитариев с именами, художников, людей экрана и рамп. И это в то самое время, когда массовый советский еврей клялся в верности социалистическому отечеству и, хоть не без оглядки на соседей и сослуживцев, но, тем не менее, искренне, призывал на голову Израиля все мыслимые беды, включая атомную.

И этот же еврей жил с остатками идиш в памяти и в доме, мацой на Песах, подпольно обрезанным младенцем и Шолом-Алейхемом в русском переводе на книжной полке. Конечно, это убудочный и позорный вариант сохранения национальной идентичности, но меня не прельщает и более чистоплотный: никогда не поверю в прямую связь между так называемым еврейским обра-

зом жизни и выбором Израиля. Если связь и существует – она обратная.

Исконно еврейские ценности: изучение источников и традиции, весьма популярное, кстати, среди евреев в пост-советской России, еврейская семья, сдобный, ни с чем не сравнимый аромат традиционного еврейского дома с ежепятничным возжиганием свечей и еврейской женщиной в роли святого образа в красном углу бытия... Весь этот подарочный набор напоминает мне знаменитое прустовское пирожное «мадлен», увеличенное до общенародных размеров, чей вкус и запах призван воззвать к национальной памяти и по ассоциации вызвать в ней ответную волну воспоминаний и привязанности к семейному лону.

Но, как для того, чтобы поднять цену пирожного до уровня философской ценности, потребовался Марсель Пруст, так сионистский вызов напрямую адресован личности, только личности, притом кьеркегоровского профиля: «Быть собой, значит выбрать себя в качестве себя».

«Чего вам здесь не доставало?!» – с горечью и ревностью вопрошали русские коллеги своих вполне успешных и благополучных еврейских друзей, которые внезапно всем предметам ширпотреба предпочли чемоданы.

Культурная элита – это сословие личностей. Только личность творит культуру, и только через культуру личность (даже иракского диктатора!) способна опознать, застолбить и утвердить себя. Именно здесь, в этой самой горячей точке миропонимания («Что есть личность?», «Что есть культура?») между израильтянами и выходцами из России обнаружилась пропасть такой глубины и ширины, что перекинуть через нее мост – не дано.

Однажды Ариэль Шарон, комментируя израильско-палестинский конфликт, упомянул Судеты, судетских немцев и гибель Чехословакии. Как водится, на высказывание лидера нации тут же оперативно огрызнулись. Один из откликов меня не просто поразил, а сразил. «Зачем Шарону Чехословакия? – горячился некто профессор социологии. – Я понимаю, был бы он выходцем из Европы... Но ведь он уроженец страны! Какое все это имеет к нему отношение?!»

Это не политическое суждение, это суждение антропологическое. В соответствии с ним, человек напрочь выведен из состава животного мира и низведен до статуса растения – только растение всецело определяется координатами «здесь» и «сейчас».

Но ведь еще наши предки в пастушеской древности освободили человека из-под юрисдикции природы и назначили ему местом обитания Историю. А где история – там господство памяти, воли и всех трех времен: прошлого, чтобы знать; настоящего, чтобы жить, и будущего, чтобы преодолеть смерть и продлить себя в бесконечность. Это Закон Человека, каждого человека. Что уж говорить

о личности... Для меня парадокс личности заключается в том, что она начинается там, где кончается личный опыт. Что и сколько из внеличного захватывает человек, такая ему и цена. Никакой «сипур иши» не объяснит «Войну и мир», перевоплощение Флобера в мадам Бовари или зацикленность Эйнштейна на тайне пространства-времени.

Поражает готовность, с которой обиходный иврит сдался соединению слова «культура» с самыми неожиданными и неподходящими партнерами. У нас есть «культура досуга», «культура жилища», «культура еды и питья»... А совсем недавно появились такие эксцентричные культуры, как «культура лжи» и «культура злонамеренных утечек информации». Иными словами, любой хоть сколько-нибудь организованный социальный опыт незамедлительно переводится в ранг культуры. Но это тупик, дремучее бездорожье, отступление в глубокую архаику.

Алию 70-х принято именовать «идеологической», то есть сионистской, как бы в укор и упрек последующим волнам – «колбасным», «беженским» и тому подобным. Но то, что израильтяне привычно и механически именуют сионистской идеологией, даже отдаленно не похоже на происходившее с нами.

Я абсолютно нерелигиозный человек, я – атеистка. И никогда не обращалась к примерам из ТАНАХа для описания своего личного опыта. Но тут, кроме «Встань и иди!», не срабатывает ни одно другое объяснение. Голос, правда, прозвучал не извне, а изнутри. И первые шаги пришлось сделать в том же внутреннем пространстве души. А что случилось после этого? Окружающий мир вдруг начал линять и выцветать на глазах, прекрасный город, в котором я росла, жила, любила, дурнел не по дням, а по часам. Погружался в недоступные и ненужные мне переживания. Короче, становился необратимо чужим. Голоса друзей, не услышавших одновременно со мной повелительного зова, звучали все глуше, как бы с другого берега бытия. Задолго до того, как я пересекла советскую границу и приземлилась в Лоде, я была уже не там и не с ними.

Вопреки распространенному мнению, как раз первые годы так называемой «абсорбции» для меня проходили на удивление легко. Не Израиль «абсорбировал» меня – я его впитывала и принимала. А тут в силу вступал экзотический ресурс, особенно обширный у пишущих людей и художественных натур: как-никак – приключение, авантюра, рывок из постылой заданности в царство осуществленной свободы. И только, когда поймешь, что это не побег от обыденности, а новая обыденность, и это навсегда, – наступает оторопь.

СТРАСТИ ПО МУЗЕЮ

Итак, дорогой друг. Вы наконец-то приняли «окончательное решение» и уже «в подаче».

Отказ маловероятен: кому нужна «музейная крыса», как Вы с усмешкой рекомендовались последние годы, или «хранитель древностей», как, любя, но тоже не без усмешки, называют Вас друзья (да и Вы сами в тесном кругу после третьей рюмки предпочитали этот титул имени-отчеству) ?..

Анкета Ваша безупречна: «не был», «не состоял», «не служил», «не имею»...

Официально заверенное отщепенство **там** дает Вам право обзавестись трехмиллионной родней **здесь**.

Конечно, музей музею рознь и, причастись Вы каким-нибудь вулканическим архивным породам, залегающим на полуподвальных и подвальных глубинах, каким-нибудь горючим материалам новейшей отечественной истории, которые сами собой воспламеняются от соприкосновения с дневным светом, – тогда, возможно, Ваш шаг и мог бы обернуться отчаянным прыжком в пустоту «отказа», хуже – в его суету, ту самую, от которой Вы так давно и удачно бежали в свою музейную пустынь.

К счастью, ничего похожего нет и не было. А есть, вернее – было (с работы ушли, конечно, «по собственному желанию»?): парк в Павловске, смесь тумана, разбухших хлопьев и блоковских строчек – зимой; летом – несмелая зелень, черная в белые ночи, шелковый шелест листьев и платьев из парковых сцен Достоевского (помню давнюю Вашу прелестную работу, отвергнутую всеми редакциями: «Павловский парк как персонаж романа Достоевского “Идиот”») и на все времена года – мандельштамовская «Музыка в Павловске».

Каждое утро Вы проходили Павловским парком, как проходят в школе хрестоматийные тексты: заучивая наизусть.

На дворцовой площадке Вас давно поджидал надменный мальчик в высоких ботфортах, до блеска отмытых снегопадами и дождями. Украдкой он салютует Вам узкой обнаженной шпагой. Балтийский ветер силится приподнять края треуголки и косичку, прижатую к вороту офицерского мундирчика прусского покроя.

Было два императора Павла: один – исторический, другой – Ваш, вот этот чернораморный подросток, высокомерный и впечатлительный, чье будущее – не без оснований – Вас тревожит.

«Музей, – говаривали Вы, – это место, где история переходит в культуру и тем получает смысл и оправдание. Музей – имперская игрушка, сказка о заморской принцессе, услышанная в детстве наследником престола. Потом он придумывает взрослые мотивы,

вроде расширения границ и пространства. На самом деле цель другая: собирание пространств, “мирок в табакерке”. Империи проходят и уходят – музеи остаются. Не говорите мне о почве и судьбе: моя почва – паркеты павловского дворца, моя судьба – его вещи. Я живу не в чужой истории, а в своей культуре, среди французской парковой архитектуры, английской живописи, саксонского фарфора и русской литературы...»

... У нас сегодня хамсин и суббота. В переводе это жара и тишина. Обе ненарушаемы: слово, с трудом добравшись до губ, неизнесенным соскальзывает обратно, как путник с вершины, на которой не за что ухватиться; душ соскальзывает с поверхности кожи, не проникая в поры. Сейчас мое письмо – нечто вроде «эр кондишн», искусственная прохлада воспоминаний, уход в любое из тех осенне-зимних утр, когда я, загостившись у Вас то ли вторую, то ли третью неделю, привычно, как на собственную службу, провожаю Вас на работу. Клочковатые облака и тучи еще сталкиваются в небе обрывками никого не убедивших аргументов, но эта стенограмма ночной беседы уже уступает место очередной попытке переписать день наново. Ночное вдохновение, с которым снег покрывал одну за другой улицы, аллеи, ограды, растеклось невнятными лужами. Навстречу нам из тумана проступает подтянутый контур дворца, слабо связанный с окружающим единством замысла.

У нас в руках пластмассовые ведра с тряпками и швабрами: мы идем смывать и счищать со статуй энергичные буквенные трехчлены, которыми вчерашние посетители выразили свое отношение к истории и культуре.

В буфете музейные дамы, приехавшие первой электричкой, попивают утренний кофе, обмениваясь театрально-семейными новостями, заполняют тушью и помадой пробелы на своих непроспавшихся лицах и торопливо перелистывают конспекты маршрутов очередной партии творцов и поклонников наскальных изображений.

Сегодня у Вас хороший день: нет экскурсий. Вместо них – подготовка выставки обеденных сервизов 18-го века в Тронном зале Большого дворца. Ко мне привыкли, и я лениво плетусь за Вами – помогать; лениво посмеиваюсь над привязанностью покойного императора к домашнему уюту и Вашей – к императору, а Вы так же лениво отругиваетесь, уголком скошенного глаза напряженно следя за тем, чтобы я не слишком приближалась к экспонатам: если что и роднит меня с князем Мышкиным – это способность разбить китайскую вазу в любом месте и при любых обстоятельствах.

...Окно, выходящее в беспросветно синее небо, вдруг подернулось изморозью. И, как всегда, – озноб от перехода из промозглых улиц в прогретые залы музея (не исключено, впрочем, что это хамсин: от него тоже знобит).

И только одно от меня ускользает: мои тогдашние чувства. Сейчас я ближе Вам, чем в те далекие дни в Павловске. И если Вы, оказавшись здесь, поймете меня нынешнюю, как я понимаю Вас прошлого, – мы снова традиционно выпьем за то, что не разминулись во времени и пространстве. Но выпьем иначе, чем в России: не по хмельной компанейской восторженности, не по застольному отщепенскому братству, а с тем чувством близости, которое дается только совместно разделенным опытом.

То ли возраст, то ли действительно искусство кончилось, а почва и судьба дышат так усердно, что почти душат, – я теперь иначе отношусь к Вашему затянувшемуся роману с культурой, даже в ее музейно-сервизном облике.

К прошлому я не привязана. Прожитое и пережитое, особенно пережитое сильно, вызывает у меня – в воспоминаниях – тошнотную спазму. Прошлое не сближает – только настоящее, да еще то из будущего, что грамматически выражается в формах настоящего времени, то есть будущее ближайшее: «иду», «бегу», «еду» в смысле «сейчас приду, прибегу, приеду». Потому и пишу Вам, что «едете», потому и не писала три года, несмотря на многолетнюю дружбу и Ваши, передаваемые вместе с приветами, обиды: письма в прошлое кажутся мне не меньшей безвкусицей, чем обмен эпистолярными исповедями людей, живущих под одной крышей.

Нет, прошлое решительно не имеет надо мной власти...

А все же какая-то ностальгия присутствует. Смутная, как хроническое недомогание, иногда она отвердевает узелком памяти, комом в горле, стягивается в четкое изображение, заполняет экран. И не лица оставленных друзей я вижу на нем: кто не со мной – тот не мой, общность исторической судьбы – необходимый признак не только нации, но и дружбы (любви – подавно). И не город, в котором родилась и прожила так долго, что умри я там перед отъездом – сказали бы: «...Ушла в расцвете сил» (каковой «расцвет», в отличие от «рассвета», одинаково приложим к любому десятилетию между тридцатью и шестьюдесятью). И не другие города, в которых было достаточно хожено, говорено, люблено, плакано... Нет, моя «доисторическая родина» не Киев, не Москва, не Ленинград, а – предгрозье, преддождье, предснежье. Покинутая культура – не музеи и концертные залы, а листопад, когда, обугленные ржавчиной, кружат листья над городом (все равно – каким). И не в гул отзвучавших бесед вслушиваюсь я по ночам, а в гул косых летних ливней, что широкими стежками подшивают землю к небу (все равно какую – все равно к какому). Чувство утраты? Да. Оно есть. Но не плоти языка, как Вы предполагаете, а плода каштана, безупречного, как безделка, сработанная Челлини.

Это о ностальгии... Что до израильских музеев – я расскажу и о них. Но не раньше, чем повожу Вас абзацев сорок по моим накопившимся пустыням: оно и методологически верно (как всякий

культурный «текст», музей нуждается в контексте), и психологически необходимо именно по отношению к Вам, считающему культуру синонимом жизни, а музеи – синонимом культуры.

Помните, в детстве, шатаясь по городу, мы часто играли в «уличное очко»? Только в государстве, где бедность не живописна, а бесцветна, где глаз страдает острым авитаминозом из-за нехватки впечатлений, могли придумать игру, построенную на невозможности или малой вероятности что-то увидеть. Самое же любопытное, конечно, было в том, что именно почиталось у нас редким, маловероятным или невероятным совсем: первый приз – сто – полагался за милиционера в очках; забыла уже, что считалось минимальным, но помню, что беременная женщина оценивалась то ли в пятьдесят, то ли в шестьдесят очков, то есть примерно в половину стоимости интеллигентного милиционера (которого, конечно, никто никогда не встречал). Израильские школьники – уверена – в такие игры не играют: в стране, где сотни японцев, увешанные могондавидами в рост их самих, размахивая белоголубыми флагами, расхаживают по городам с пением израильских песен на «израильском» же языке; где негры в кипах, приштиленных к вьющимся джунглям, истово бьются головой о Стену Плача, требуя от Господа немедленного восстановления Храма, а евреи с пейсами и повадками шолом-алейхемовских персонажей на других стенах, не Плача, но тоже невеселых, старательно решают уравнение на тему «сионизм – фашизм», – в такой стране невероятно само понятие невероятности.

Так вот, в Израиле то же, если не большее число очков, которое мы когда-то в России давали за женщину беременную, полагалось бы – за небеременную. И была бы израильтянка просто беременна... Ну, была бы она беременна одним ребенком, ведя за руку (даже неся на руках) другого... Но у нее, как правило, по ребенку в каждой руке, еще один (или два) в коляске и еще один (или два), как говорят здесь, «бадерех» – «в дороге», «на подходе»... А поскольку все ее, доступные наблюдению, дети похожи друг на друга, возникает эффект средневекового примитива или народного лубка, где последовательность во времени передается одновременностью в пространстве. Как будто одно и то же человеческое существо на разных этапах своего прохождения через жизнь вдруг развернулось перед тобой веером...

С точки зрения национально-патриотической и просто инстинктивно женской эта обыденная жанровая картинка изобильного плодоношения не может не радовать. Но где-то глубже естественных чувств или в стороне от них, во всяком случае – к ним отвесно, шевелится нечто, похожее на раздражение, почти брезгливость. Брезгливость не физическая, не личная, скорее – личностная: личности к роду. Протест против тиражирования типа вопре-

ки шлифовке единичного. И, конечно, – мысли о смерти, в которую погружена в Израиле жизнь.

Жизнь и смерть не играют здесь друг с другом в поддавки, в шарманочную «амбивалентность» («жизнь, чреватая смертью»), не сводятся к заношенным универсалиям («Дания – тюрьма, весь мир – тюрьма»); не постигаются даже через особое положение народа, живущего в антрактах между военными действиями, как актеры (не зрители!) во время спектакля – между действиями театральными... Нет, понятие жизни и представление о смерти разделяют в Израиле судьбу других предельных, элементарных формул, категорий и терминов, выражающих самые главные черты реальности и самое общее отношение к ней сознания: они конкретны, как уличное происшествие, остросюжетны, как информация о нем в газете, и захватывающи, как бракоразводный процесс близких друзей.

«В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Слово стало плотью».

Так почти два тысячелетия тому назад еврейский эссеист в характерной для той эпохи смешанной стилистике причитаний и поучений запечатлел мой опыт проживания на Святой Земле, который я сейчас силюсь передать Вам.

В Израиле нет слов – только плоть. Плоть времени и плоть камня, плоть жизни и плоть смерти, плоть любви и плоть ненависти... Неповторимая и смертная, как всякая плоть – в отличие от бессмертного общего слова.

Когда я говорю о жизни в контексте смерти, я имею в виду не археологические раскопки в толще культур, – но иерусалимскую улицу минут через двадцать после очередного взрыва средней мощности.

Исходят в отдалении пронзительным воем санитарные и полицейские машины, как трубы выездной сессии Страшного Суда. Непривычно свежо, почти празднично блестят отмытые мостовые и тротуары: ни пятнышка крови, ни следа ожога. Только зияющие витрины нескольких кафе и растерянный вид выставленных там пирожных напоминают о каком-то недавнем скандале.

Улица открыта для движения пешеходов – и первыми устремляются в нее детские коляски, сталкиваясь боками, подставляя друг другу колесики: мамы, не по своей вине нарушившие режим младенческого дня, торопятся детей накормить, наспать, наиграть...

Вы, разумеется, вольны увидеть в этом возвышенное (в своей простоте) доказательство победы жизни над смертью, «оптимистическую трагедию». Если Вы обладаете умом более взыскательным – поиграйте в «карнавальность», «амбивалентность», «предельную ситуацию» и прочее, во что, как в «уличное очко», играют сбжавшие с лекций отличники.

В России во все это играется хорошо: страна, по преимуществу, словесная. Грань между историей и культурой, жизнью и литературой настолько зыбка и незаметна, что до сих пор так и не ясно: Сенатская площадь декабрьским утром 1825 года – это историческое событие или бродячий литературный сюжет; сами декабристы – традиционные персонажи наподобие масок «комедия дель арте» (Рылеев – Пьеро, Пестель – Арлекин, а пропавший Трубецкой – Коломбина) – или люди, действовавшие в историческом пространстве? И уже прямо на наших глазах возникла «лагерная литература», да такого охвата, такой «формобразующей тяги», что опять диву даешься: было или не было? Например, очередной судебный процесс над «инакомыслящим» – замысел (властей) или вымысел (автора)? Да и судебный ли это процесс – или сцена судебного процесса из романа, продолжение которого следует и ожидается с тем большим нетерпением, что все основные повороты сюжета расписаны заранее?

«Русский роман» ныне читают так, как древние греки ходили в свои мифотеатры на свои мифотрагедии: не на события (они известны), а на слог и «подачу материала».

Авторы текущей «лагерной литературы» в качестве ее же персонажей неслыханно экономят время, обычно трудно распределемое между жизнью («записал») и творчеством («пережил»). Они ли совершают нечто, с ними ли нечто совершается, они производят действие или действие производится над ними – все одинаково оборачивается готовым текстом самопишущейся книги.

А если и предположить смело, что происходившее и происходящее в России – реальность, то не задумана ли и она ангелом-хранителем российской словесности специально для поддержания ее, российской словесности, неповторимо-страдальческого и нравственно-вопросительного облика?

Все – для слова, все – для победы: «на литературном фронте».

А в Израиле, как я уже Вам докладывала, слов – нет. Одна реальность. Во плоти. А плоть страшна. А запах ее, как справедливо отмечено, «душный и смертный». И рад бежать – да некуда. Ужасно....

...Я спокойно отношусь к виду собственной крови и с содроганием – к чужой. Это не доброта, не сострадание, но свойство противоположное, точнее – не имеющее к доброте и состраданию прямого отношения: абсолютная уверенность в реальности собственного существования и некоторое сомнение в существовании других.

Кровь из чужого пальца неотличима от моей и заставляет почувствовать реальность другого с той же мучительной безусловностью, с какой чувствуешь собственную.

Так безусловна (а значит – мучительна) реальность в Израиле.

Я говорю даже не о взрывах, не об угрозе войны, – но о той первичной данности, в которой все мы существуем и которую называют «природой»...

Только, ради Бога, не рассказывайте мне о Вашей любви к природе, особенно к русской природе. Необъятные русские просторы на самом деле умещаются внутри глаза, не имеющего вовне твердой опоры. Вы сами – зрачком – собираете в единый образ веснушки куриной слепоты, одуванчиков и лютиков, щедро рассыпанные по плоскому лицу полей и лугов с проступающими на нем скулами холмов, холмиков и горок, – образ тем более Вам дорогой, что Вы сами создаете его очарование

В России природа хорошеет вам в награду. Можете не замечать ее – она не в претензии.

В Израиле природа ... нет, не давит – она просто не обращает на вас внимания.

Случалось Вам нечаянным свидетелем, невольным соглядатаем присутствовать при чужой страсти (чувстве, а не действии)?

Допустим, у Вас свои заботы, свои проблемы, свои твердые представления, по которым страсти не то что не бывает, а – «прошли времена и безграмотно». Или, напротив – судьба одарила Вас любовью, достаточной для того, чтобы в графе «чувства» не красовался прочерк. Короче, Вы неуязвимы. И вдруг – Ваша оборона прорвана, чужая страсть хлынула в пролом, а Вы и не заметили, как и в какую минуту это произошло. «Мир только изменил оттенки, не меняя основных цветов», – успокаиваете Вы себя. Но Ваши неловкость и тревога растут, непричастность к происходящему захлестывает Вас с безутешностью детской обиды, жар, долетающий с той стороны, пробегает по коже знобким холодом одиночества и отчужденности; Вы понимаете, что Ваше присутствие нужно только для того, чтобы они еще острее почувствовали свою близость в чужом, избыточно ненужном мире. Даже если встать и уйти – не поможет, слишком поздно: безразличная к Вашему существованию страсть, как и положено большой массе, уже притянула Вас к себе, изменила направление ваших чувств, движение мыслей...

Теперь: «расчеловечьте» эту страсть, освободите ее и от того, кто ее испытывает, и от того, к кому она направлена (не делите на «объект» и «субъект»: эта страсть – разделенная, значит – удвоенная); замените грамматически и по смыслу безупречное, но редко употребляемое выражение: «Я испытываю страсть» – выражением тоже грамматически безупречным, совсем неупотребляемым и совершенно бессмысленным: «Страсть себя испытывает мною»; помножьте ее, себя испытывающую страсть, на 285 солнечных дней в году и 50 (тоже в году) хамсинов; на белый камень, который издали – в постройках и сам по себе – кажется воздушным; помножьте на неподвижно синее небо, которое давит, как камень; на деревья без единого зеленого побега, но цветущие лиловыми и красными цветами; помножьте на пустыню, которая всегда за тобой и у которой ты всегда на прицеле; еще раз помножьте эту

страсть на самое себя – и вы получите израильскую природу. Она четырехмерна: дополнительное измерение – страсть.

Заклинают: «Да хранит тебя моя любовь». Но кто осмелится сказать: «Да хранит тебя моя страсть»?

Любовь встречается редко, страсть – почти никогда, но ее тяга к самовысвобождению, «автоэмансипации» известна, как известно про выдуманного дракона, что он огнедышащий.

Всякое свойство стремится здесь стать монопольным качеством: белые иерусалимские каменные дома – это не дома из камней, а камень в форме дома (как встречаются камни, напоминающие овцу или человеческую голову). Жара и свет отделились от солнца и зажили отдельно; камни излучают свет, свет – в отместку – каменеет.

Ни на мгновение Вы не можете выйти из круга передающихся по цепочке монологов, из которых каждый не то, что с Вами, но и с соприродной ему речью никогда не вступает в «диалогические отношения».

Монологично небо. Монологична земля. Монологичен камень. Монологично еврейство...

Увы, мой друг, Вам суждено охладеть к Буберу (а заодно и к Бахтину), как я к ним охладела: не объясняют, не утешают, не забавляют... Утверждаю на основании нашего душевного сродства.

Вы спросите: «А что же осталось?..»

...Русский еврей впервые приобщается к Израилю не в угрюмой сутолоке ОВИРа, не в кошерной обжираловке венского пересылочного гетто, не в аэропорту Лода, а в ту минуту, когда с трагически-злорадным блеском в глазах доверительно сообщает: «Эйн тарбут баарэц» («В Израиле нет культуры»). Этот рефрен способен довести до иступления, особенно услышанный случайно на улице, в автобусе – и, конечно, в потоке русской речи; особенно, если ему предшествует надрывное: «В Черновицах мы-таки жили культурнее».

Встречаешь знакомого («своего круга»). Заходите в кафе. Между двумя глотками кофе рассказываете только что подслушанный «скверный анекдот по-иерусалимски». Знакомый (неприменно москвич или ленинградец) упоенно хохочет: «“Культурнее”... Нет, вы только вслушайтесь: “культурнее!..” Ох, уж это мне иерусалимское дворянство!..»

Но быстро, очень быстро смех стихает, ложечка бесцельно бродит по опустевшему дну, взгляд приобретает знакомое трагически-злорадное выражение, – и та же жалоба срывается с обиженных губ: «Эйн тарбут баарэц, эйн тарбут... эйн...» И это не цитата, не пародия, не самопародия – это и его искреннейшее, глубочайшее убеждение.

Напрасно Вы перечисляете фильмы Антониони, Феллини и Бергмана; напрасно тычете в отреченное лицо концертные программы израильских симфонических оркестров (и впрямь великолепные);

напрасно повествуете о том, как на прошлой неделе в прошлом месяце, в полупустом зале, в исполнении фантастического виолончелиста, слушали Шенберга, на которого в России сначала наложили запрет, а потом невозможно было пробиться; напрасно живопишете спектакль «Метаморфоза» (по Кафке, на иврите, в Хайфе) – одно из сильнейших Ваших театральных переживаний (а было их у Вас немало), напрасно рассказываете о выставке Хогарта в Иерусалимском музее и о том, что в запасниках того же музея (доступ открыт всем) хранятся оригиналы гравюр Дюрера, которые даже можно подержать в руках...

Напрасно... напрасно... напрасно...

В ответ – все то же отрешенное лицо, кружение ложечки в пустой чашке, остановившийся взгляд и скорбный шепот: «Эйн тарбут баарэц...»

И я, мой друг, уже никому ничего не доказываю, не просвещаю и не возмущаюсь. И не потому, что доказательства бессильны перед лицом их отрицающего убеждения, а потому что это я – не другой, не «кто-то» или «некто», а я, именно я сижу в кафе и бормочу: «Эйн тарбут баарэц...»

Не перечисляйте мне фильмы Антониони, Феллини, Бергмана – ходила; не тычьте в лицо концертные программы – слушала; не рассказывайте, что в Иерусалимском музее гравюры Дюрера можно взять в руки – все равно не возьму. Все равно – одна ли (не боюсь) или со всеми (не смущает) повторяю и буду повторять, что культуры в Израиле – нет.

То есть она, конечно, есть: израильские художники пишут картины, композиторы – музыку, поэты – стихи, романисты – романы. Картины выставляются в художественных галереях, музыка исполняется в концертных залах, стихи и романы громоздятся на прилавках. Живопись доступна зрению, музыка – слуху, только романам и стихам (в подлиннике), боюсь, суждено остаться недоступными навсегда (для нас) – из-за присущей нам обоим лени, выдаваемой за неспособность к языкам. Но это литературное недоедание, вызванное закрытостью чужих словесностей, компенсируется (особенно на первых порах) избытком прежде закрытого русского слова.

Помню, как однажды ночью, в Вашей павловской избушке, когда я, наконец, с трудом уснула после очередной разговорной бестолочи, Вы внезапно растолкали меня... Гриппозный сквозняк гулял по дому, в соседней комнате капризничал Ваш маленький сын и ворчала жена, в Вы стояли надо мной, расстегнутый на все пуговицы, и потрясали такой же расхристанной книгой – набоковским «Приглашением на казнь», – в которую почему-то были вклеены страницы из «Лолиты» и «Других берегов» (Набокова мы тогда совсем не знали, и вторжение иносюжетных текстов расценили как новаторство и своеобразие стиля).

Книга шумно осыпалась, а Вы причитали: «Как можно числить себя по русской культуре, не зная Набокова?!»

Со свойственной мне в те годы полемической злостью я ответила, что можно и пора спать. Но Вы, разумеется, были правы: не только по русской, а и вообще (и главное) по современной культуре, одинокой и эгоцентричной, числить себя без Набокова – нельзя.

Аккуратные разноцветные томики с дерзкой фамилией на супер-обложке (Набоков – «набок...», в сторону, в стороне) украшают сегодня книжные полки всех моих здешних знакомых. Даст Бог – украсят и Ваши...

...Люди, изнывающие здесь по Театру на Таганке или «Современнику», обнаруживают детскую привязанность к упаковке, однозначно для них связанной с содержимым. Они тоскуют не столько по театру, сколько по своим театральным ощущениям. Томительно-блаженные очереди у театральных касс, утренние спектакли с участием хрусткого морозца и кафе-кондитерской где-нибудь на углу Малой Бронной или Большой Садовой. Обжигающее прикосновение хрустальных башмачков, промерзших в авоське на пути от дома к театру и торопливо надеваемых вместо золушкиных сапог за колонной театрального фойе. Порывы легкого ветерка, пробегающие по партеру, как будто общее затаенное ожидание чуда, не в силах сдержать себя, вырывается наружу. И все эти милые подробности, обкатанные мизансцены, привычные интерьеры и обжитые декорации точно так же (а то и больше) входят в наш образ театра, как и само, совершающееся на сцене, действие.

Мы тоскуем по нашему «театральному роману», который начинается с вешалки – да там и заканчивается.

Здесь содержимое существует вне упаковки, театральное действие – вне театральных сцен.

Каждый вечер в 9 часов Израиль вымирает: перед экранами телевизоров он смотрит спектакль из прожитой им за день жизни с самим собой в главной роли.

Метафора «мир – театр», которую и последний бедняк не поднимет с земли по причине ее безнадежной избитости, здесь по ходу передачи теряет тире и кавычки, особенно если это театр военных действий... А таковых не занимать.

О, как неотразимы израильские генералы в роли израильских генералов, члены парламента – в роли членов парламента, простой человек с улицы, дающий интервью – в роли дающего интервью простого человека с улицы!..

Профессиональные израильские актеры в аналогичных ролях настолько же менее убедительны, насколько телевизионный репортаж или уличная жизнь убедительней здесь инсценировок, постановок, спектаклей...

Культура и бытие в Израиле поменялись не местами, а – ролями: в бытии угадывается продуманность замысла, упорядоченность

материала – от общей идеи до жанра, та ритуализованная форма, которую мы традиционно приписываем культуре, противопоставляя ее хаосной и бесструктурной реальности.

Реальность в Израиле нуждается не в художественном «изображении», «отражении» или «преображении», а в тщательном филологическом анализе на подступах к авторскому замыслу.

Культура относится здесь к действительности, как «Убийство Гонзаго» – к «Гамлету» или пьеса, написанная Треплевым, – к «Чайке», написанной Чеховым.

Ни пьеса, сыгранная в Эльсиноре заезжими актерами, ни «мировая душа», сыгранная Ниной Заречной, не могут соперничать с основным текстом. И не потому, что персонаж неизбежно уступает автору (Гамлет – Шекспиру, бродячий актер – Гамлету, Треплев – Чехову): «театр в театре» демонстрирует большую сложность и важность бытия, в роли которого выступает авторский театр, чем сопровождающего бытие искусства (театр персонажей).

Отсюда, с этого поворота моих блужданий, уже различим обетованный ответ на вопрос, почему в Израиле культуры нет, хотя она как будто есть, почему душа голодает там, где насыщаются глаз и ухо? почему чувство утраты разделяют люди, не имеющие между собой ничего общего, кроме этого чувства?

Оценка израильской культуры колеблется между утверждением, что ее нет вообще, и указанием на ее провинциальность. Разумеется, в Израиле есть свой провинциальный пласт, достаточно плотный для того, чтобы изгнанник из черновицкого духовного рая не дрожал от стыда и холода, созерцая свою культурную наготу. Но он дрожит. И меня пробирает дрожь. И Вас проберет...

Исчезла не культура – исчезли ее защитные свойства. Выцвели под израильским небом, как шелка и ситцы, привезенные из России. Исчезла культура – театральная занавес между нами и реальностью, заместительница, «исполняющая обязанности» жизни. А только такую мы знали, только с такой и жили...

Культура в Израиле провинциальна не относительно неведомо где пребывающего центра, но относительно самого бытия. Она периферийна по отношению к нему, как периферийна (и провинциальна) пьеса Треплева в сравнении с пьесой Чехова.

Есть один нелюбимый мною психологический закон, трудно поддающийся формулированию, но в проявлении не менее очевидный, чем иные физические законы – например, расширения тел при нагревании. Я называю его «законом компенсации за счет суррогата». Или за счет аналогий. В России я презирала подстановки, основанные на компенсации, и компенсации, живущие подстановками: «одно вместо другого» и «другое» – вместо всего. Поэтому и не любила там жить «культурной жизнью»: вся она представлялась мне одной сплошной компенсацией. За все. И прежде все-

го за то, что вне «культуры» (а по мне – даже и с ней) страна сия «безвидна и пуста...»

Я не люблю компенсаций, и потому всегда отказываюсь от роли новогоднего подарка, недополученного кем-то в детстве, равно как и от роли источника страдания, которое с моей помощью должно кого-то, недострадавшего, очистить и возвысить. Я не люблю компенсаций, и потому стараюсь не смотреть на других взглядом реставратора, ищущего под видимым изображением «черты другие»; и точно так же не выношу, когда «черты другие» ищут во мне, – безразлично, черты ли это позапрошлой любви или поколения, к которому я будто бы принадлежу. Нельзя нанести мне большего оскорбления, чем сказав, что я кого-то напоминаю; и точно так же к каждому я стараюсь отнестись так, будто он издан в единственном экземпляре. Горькая правда, однако, состоит в том, что мне уже давно все напоминают всех – печальное следствие привычки к замкнутой среде, к «своему кругу». В Израиле эта психологическая перенасыщенность странным образом распространилась на уличную толпу, на первого встречного, знакомого и незнакомого.

Израиль – страна архетипов: двойники моих школьных подруг, оставленных друзей и забытых родственников разгуливают здесь в ошеломляющем изобилии, не подозревая о своих давних со мной связях. Я склонна расценивать эти сходства как попытку спровоцировать мышление на очередную аналогию – из тех, на которые так щедр Израиль и для которых на самом деле нет никаких оснований. Мышление по аналогиям и переживание, компенсирующее себя суррогатами, воспитаны в нас прежней культурой. Израиль разбивает их с силой, прямо пропорциональной его же магической способности создавать миражные сходства.

Бывшие питерцы (ныне – иерусалимцы), с удивлением обнаружившие в себе любовь к Иерусалиму (конечно, «странную»), обычно оправдывают ее тем, что Иерусалим «напоминает Ленинград» (простите: Петербург). Длинным иерусалимским днем гуляю с подругой вдоль улиц, которые только названиями отличаются друг от друга. «Я всю жизнь прожила среди камней... – говорит подруга, осторожно (обжигает!) поглаживая каменные стены домов, каменные ограды, расступающиеся в угоду нетерпеливому любопытству глициний, плюща или винограда, каменные скамьи, на которые невозможно присесть, и просто толпящиеся всюду камни... – Я всю жизнь прожила среди камней, – говорит она и тут же испуганно отдергивает руку: светлая ящерица с точеной головкой выскальзывает из-под ее ладони и растворяется в камнях...

...Петербургские камни – компенсация за болото, на котором они воздвигнуты. Да и не камни это, а цитаты в камне, цитаты из европейской культуры, римские копии злинских мраморов, снятые романотерманскими мастерами и подмастерьями. Петербург-

ские камни хочется взять в кавычки, как популярные афоризмы или классические строчки в рукописи неизвестного автора, имитирующего острый приступ гениальности и выдающего их за свои.

Это побледневшее от двухвекового холода олимпийское племя, разбросанное по геометрической плоскости города, эта италийская бронза и медь, покрытые зеленой плесенью, эти античные портики и позднеэллинистические колоннады, оторопевшие от близкого соседства с позднекупецким барокко, связаны с хлюпающим небом, чухонской зеленью и хмурыми лицами, как французские словечки с русской речью в монологах Верховенского-старшего: «Je suis un опустившийся человек».

...Не помню, рассказывала ли я Вам, что неприязнь к музеям, которая так мешала нашей дружбе, осталась у меня после первого посещения Эрмитажа.

Я готовилась к нему, как обычно готовилась к театру. На чудо искусства я хотела ответить чудом собственного преображения: самое лучшее платье, самые лучшие туфли и самое лучшее лицо из всех, какие имелись в моем гардеробе

Эрмитаж, как и театр, начался с очереди. На ней же сходство и закончилось. Путь к вешалке пролегал через черный ход и подвал, как будто недостаточно многочасового стояния и тоскливого страха, что не хватит билетов или закроют на переучет именно то искусство, ради которого я тут мерзну (тогда это был импрессионизм).

Оказалось – недостаточно... Когда я, вместе с сотнями других граждан, примостившись на низенькой скамье и красная от натуги и стыда, пыталась примирить выданные в гардеробе чудовищные грязно-белые лапти с моими западногерманскими каблучками-«шпильками», и, обматывая вокруг щиколотки обгрызенные тесемки, рвала нейлон, – я чувствовала эти лапти не на своих ногах, а на своих щеках: как разлапистую ленивую пощечину, подлую своей безнаказанностью.

Все остальное уже не имело значения. Марсообразные культуры древнего Востока, цветущие греки и упадочные римляне, раннее и позднее средневековье, двусмысленный Ренессанс и простодушные голландцы, пуантилисты и фовисты, зеркала и паркетные – все с одинаково старательным равнодушием отражали мою фигуру, сочетающую лаптеобразные конечности (вообразите походку!) с узкой юбкой, и очередную культуру, воспроизводимую вместе со мной отражающими поверхностями.

В отношениях с эрмитажной культурой вы сразу обречены не на роль проигравшего, а на еще горшью – неучастника: не прикасаться! не садиться! не наследить! – как воры или лакейская родня, которой показывают господский дом в отсутствие хозяина. Поэтому и вход не с площади, не через парадный подъезд с атлантами, мрамором и позолотой (закрит на время хозяйской отлучки,

стало быть – навсегда), а с набережной, через черный ход и кухню (то есть буфет).

«Дом без хозяина» остался от империи. Но от нее же осталось отношение к культуре как заморскому товару, который в местных условиях не производится, а если и производится, то с таким напряжением и такими затратами, что производственный процесс приравнивается к жизненному.

И еще – страх, что товар попортят, и отношение к посетителю даже не как к господской челяди, а как к деревенской лапотной черни, – с заменой соломенных лаптей на матерчатые.

До сих пор в России образ культуры неотделим от образа господского дома. Не культура – «дом культуры» (еще лучше «дворец»), будь то Эрмитаж, библиотека им. Ленина (бывший дом Пашкова) или концертный зал имени Чайковского.

Сразу за дверьми дома – снег, распутица, бесформица, нелепица, болото... Петербург – город музеев, город-музей, город-дом и потому, конечно, – символ культуры в России.

Я понимаю, почему питерцы так любили свой город: они, единственные в России, жили в трехмерной цитате, все остальные – в двухмерной, в плоскости книжного листа.

Кто сказал, что «пробиться друг к другу никому не дано»? В России достаточно одному произнести эту строку, а другому – подхватить ее, чтобы тепло взаимопонимания одолело любую вьюгу, любой холод одиночества. Потому что, как справедливо сказал Мандельштам, «цитата – это цикада». Она живая.

Под моим окном цикады стрекочут, не переставая. Я могу поиграть в обратимость сравнения и сказать, что «цикада – это цитата». Я только не знаю – из какого текста, из какой книги? Как не знаю этого про иерусалимские камни, про небо и хамсин, про всю здешнюю жизнь, через которую не могу пробиться ни по одной строке, ни по одной строфе, ни по одному абзацу.

Из этой бессловесности не ностальгию, а глубокую зависть я испытываю к безопасной красоте Петербурга, не каменной – цитатной мощью защищенному от всех стихий. Я готова разделить Вашу любовь к вещам и музеям, но у израильских музеев так же мало общего с тем, что Вы привыкли называть этим словом, как у щербатых иерусалимских камней – с петербургским гранитом.

Не надо сравнивать. В Ленинграде – Эрмитаж, в Париже – Лувр, в Иерусалиме – Яд-ва-Шем.

П. С. Меня удивил Ваш вопрос: что с собой брать? Насколько я помню, у Вас никогда ничего не было.

ПРИЧАСТНОСТЬ И ОТЩЕПЕНСТВО

*(Ханукальная лекция, прочитанная
в Институте Ван-Лир)*

В жизни каждого человека наступает возраст, когда прошлое представляется огромным материком, заполняющим почти весь горизонт сознания, а будущее – зыбким островком, который становится тем меньше, чем ближе к нему придвигаешься.

Бесперебойная связь между материком и островом затруднена всегда, везде и у всех, но она, эта связь, вообще прекращается в случае эмиграции, когда непрерывность жизни нарушается резко и неотвратно. И вот уже ты стареешь не под тем небом, которое когда-то взрослоло вместе с тобой и при твоём участии. Эмиграция – это готовый мир готовой природы, готовых вещей, слов и людей, – вместо утраченного мира, который весь, – от собственной гребенки до шекспировской драмы, от первой любви до приклеенного к окну городского пейзажа – был результатом твоих усилий, твоей способности называть и создавать вещи; мира, который должен был умереть вместе с тобой, как вместе с тобой родился ...

Эмиграция – это чувство, что прошлое понадобилось только для того, чтобы стать материалом ностальгических снов, окрашивать их в свои цвета, озвучивать своими голосами.

Эмиграция – это развод, который ты даешь собственной жизни, и вы оба – ты и жизнь – плететесь разными дорогами, почти не узнавая друг друга, связанные только общими воспоминаниями, все более тусклыми.

Но чем дальше расхождение, тем неотвратимей встреча, ибо: что есть наше «я», как не единство памяти, опыта и воли?.. Я последовательно отбрасывала множество слов, образов и понятий, пока не остановилась на тех единственных, с помощью которых лоскутное содержание моей жизни приобретает форму, композицию и даже некоторые художественные достоинства. Это ключевые слова – отщепенство и причастность.

Во избежание возможного недоразумения, я хочу сразу провести четкую линию размежевания между отщепенством и отчужденностью. Их легко заподозрить в синонимичности, что было бы досадно, поскольку разница между ними и есть, в сущности, разница между западным и русско-советским личностным опытом.

Отчуждение – это позиция и статус человека перед лицом бытия.

Всматриваясь в мир, человек не видит в нем себя; человек не отражается в мире, хотя мир отражается в нем. Их положение неравно. Человек не узнает в мире того целостного себя, каким он ощущает и знает себя изнутри, в глубинах своего «я». Он не узнает себя ни в любви, ни в ненависти, ни в продуктах своего творчества, ни в результатах своего труда, ни в деревьях, ни в звездах, ни в речи, ни в молчании, ни в Боге, ни в дьяволе...

Социальное отчуждение – только одно из наименований в бесконечном преискуранте отчуждений всех от всего. Известны различные проекты преодоления отчуждения – от психоанализа до социальной революции, – но устранить отчуждение невозможно, оно – условие человеческого существования.

Замедленный, как киносъемка, взгляд, которым человек однажды обводит свою собравшуюся за столом семью, – оскалы лиц, неряшливые блики света на скатерти и посуде, фальшивые голоса, – и вдруг перестает понимать, какое он ко всему этому имеет отношение; чувство, с которым просыпаются среди ночи или на рассвете в собственной постели собственного дома, который за время сна злонамеренно поменял местами стены, потолок, окна, так что только страх кажется знакомым и связывает с прошлым, – таковы наиболее популярные, доступные всем образы отчуждения.

Совсем иное дело – отщепенство. Его смысл, природа и повадки, как колос в зерне, дремлют уже в самой этимологии слова «щепа», «щепка», «отщеплять». Речь, стало быть, идет о некоей части чего-то, вынужденной вести самостоятельное существование (притворяться целым), поскольку она, эта часть, в силу каких-то причин отлучена, «отщеплена» от некоей целостности, которой раньше принадлежала.

В русской культуре (особенно поэзии) отщепенство – тема-фаворит, одна из самых интимных и традиционных тем. С неотменяемой актуальностью и полнотой она развернута уже в хрестоматийном стихотворении Лермонтова «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...», где отщепенство впервые обретает четкий визуальный образ (ветка – листок) и не менее четкую аллегорическую фабулу: дубовый листок долетает до теплого южного моря, видит там прекрасную чинару, устремляется к ней, но чинара отвергает его, поскольку он «...листам ее свежим не пара». Кроме достаточно банального образа неразделенной любви к «чужой», «иной», здесь, по моему убеждению, зафиксирован также глубинный опыт русского отщепенства: тот, кто оторвался от одного дерева, – мечтает приникнуть к другому.

Через сто лет старый опыт отщепенства в новых исторических условиях с математической непреложностью сформулировал Ман-

дельштам: «Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье...»

Чтобы почувствовать патетическую роль этой строки, не обязательно знать все стихотворение, ибо подлинная драма разыграна в первых же двух словах: «...непризнанный брат».

Русское отщепенство – это всегда ностальгия по утраченному раю причастности. Понятно, что такое драматическое переживание своей отдельности (отщепленности) возможно только в обществе и культуре, где коллективизм – это не внешнее (историческое, политическое) принуждение, но и духовная ценность в глазах отдельной личности.

Эмоциональный аккомпанемент отчуждения – чувство абсурда, эмоциональный фон отщепенства – разочарование (обманутость).

Ни в чем так откровенно и демонстративно не заявляет о себе «русскость» новых репатриантов, как в их всеобщей и обязательной разочарованности.

«Разочарование» – самое ходкое слово в их словаре, у него только один соперник – слово «ностальгия».

Русский еврей в Израиле постоянно и тотально разочарован: он думал, что Израиль – это единственное государство, где он может чувствовать себя евреем, а оказалось, что... он думал, что Израиль – это единственное государство, где он сможет не чувствовать себя евреем, а оказалось, что... он думал, что он здесь нужен, оказалось – нет ... И т.д. и т.п.

Если бы в лице израильского общества русское отщепенство действительно столкнулось с западным отчуждением, – не было бы надежды не только что на «успешную абсорбцию», но даже на сносное сосуществование.

К счастью (хотя и к сожалению), реальность не такова. Когда у израильтян и новых репатриантов пройдет взаимная ошарашенность и они спокойно всмотрятся друг в друга, – обнаружится сходство, о котором ни одна из сторон не подозревает: израильтяне – это тоже племя разочарованных.

Израильтянин разочарован: в сионизме, в обществе и государстве, в городской жизни, в кибуцной жизни, в настоящем, в будущем и, главное, в прошлом... Подобно русскому репатрианту, он чувствует себя обманутым, отвергнутым и обворованным...

Эта парадоксальная близость, на мой взгляд, указывает не только на поразительную живучесть общеврейской ментальности, исторически прикованной к общей судьбе и общинным идеалам, – это все еще громкое эхо недавнего, уже собственно израильского опыта – опыта общества с господствующей коллективистской идеологией.

Разочарованность и сиротство – неизбежные продукты распада такой идеологии в любом месте и в любое время.

И все же: если «вычесть» израильский опыт из русского – разность окажется в пользу израильтян, или, что то же самое, в пользу общества свободного (со всеми ограничениями) в сравнении с обществом неограниченно несвободным.

Разочарованный израильтянин во всем корит себя – до мазохизма, «русский» во всем обвиняет другого – до сатанизма: заговор, обман, ловушка, сознательное злоумышление – вот самые ходкие категории, в которых ощупывает и опознает мир русское сознание.

Иными словами, израильтяне причастны западному опыту отчуждения, русские не могут (или не хотят) избавиться от привычно-сумрачного уюта отщепенства.

Отщепенство и причастность легко переводятся на язык классического романа и звучат так же естественно и почти торжественно, как, скажем, «Гордость и предубеждение», «Война и мир», «Красное и черное», «Преступление и наказание»...

Огромная разница между моим «романом» и традиционным в том, что те крайние точки бытия, между которыми прошедший век уверенно раскачивал человеческие судьбы, – они, эти почтенные антиномии, начисто лишились цельности и определенности.

В самом деле: где сегодня кончается война? Что называется миром? Каков цвет отщепенства – красный, Революции, или черный, реакции? Всегда ли отщепенство – преступление? Обязательно ли причастность – наказание?

... Израильтяне любят задавать детские вопросы: что это значит – быть писателем? Не вообще – а для тебя лично? Дирижером, бухгалтером, раввином, массажистом? Не вообще – а для тебя лично? Почему это, а не то? Так, а не иначе?..

Короче – «сипур иши», что дословно переводится как «личный» или «автобиографический рассказ», но в принципе непереводаемо, ибо «сипур иши» – это особый жанр, цельная концепция, почти философия жизни. Я думаю, дело не в психологии израильтян, а в особенностях израильской культуры – очень молодой культуры очень старого народа. Только ведь и молодость культуры – это очень давний, древний и, в сущности, забытый процесс. В традиционно западном понимании культурой называют совокупность индивидуальных усилий и личностных достижений, преимущественно в искусствах и науках.

Западная культура – это культура имен и названий: Бах – «Фуга», Данте – «Божественная комедия», Бальзак – «Человеческая...», Эйнштейн – теория относительности, Кантор – теория множеств и т.д. – до бесконечности.

Чтобы такой редкий тип культуры оказался возможным, когда-то понадобился отрыв десятков и сотен отщепенцев от первичной коллективной цельности, от уютной родовой причастности, понадобилась «приватизация» всех видов духовной деятельности, бывших ранее коллективной собственностью, а в случае литературы – прежде всего – «приватизация» языка.

Интерес израильтян к «сипур иши» – это свидетельство все еще не преодоленного коллективного бытия, это детский интерес к отщепенцу, т.е. к тому, кто оторвался от общины, а то никогда ей и не принадлежал, безразлично – политическая это община, религиозная или социальная.

«Сипур иши» как жанр, победоносно захвативший израильскую журналистику, радио и телевидение, – представляется мне, в первую очередь, попыткой компенсировать европейский психологический роман 19 века.

Человеческий тип, более всего, по моим наблюдениям, занимающий израильтян, – это потенциальный герой (или хотя бы персонаж) классической прозы, человек «перехода»: от веры – к безверию, от безверия – к вере, слева – направо, справа – налево, из одной страны и культуры в другую страну и культуру.

Замечу также, что современного молодого израильтянина слово «сионизм» в качестве объяснения последнего перехода – из страны в страну – никак не удовлетворяет. Что было бы прекрасно, если бы не сопровождалось недоверием, притом недоверием именно к личностному хотению, не мотивированному средой и внешними обстоятельствами выбором.

Например: как может возникнуть еврейское самосознание при полном отсутствии еврейского воспитания? А ведь возникало, и не только у меня одной!..

Или: как можно было не принимать советское общество без влияния семьи? А если не семьи, то хоть какого-то круга, кружка, а если не было и кружка, то хоть одного авторитетного человека!..

Но не было и одного авторитетного человека: вся моя жизнь (и не только моя!) – это выбор вне традиции, самоопределение вне воспитания и поступки без подсказок.

Личность гарантирует свободу выбора, но сама по себе результатом свободы выбора не является, личность дана в факте существования, а не выбрана в акте самоопределения. Короче, личность – как талант: либо она есть, либо ее нет.

К чести израильтян, однако, скажу, что в их остром ощущении «другого», «иного», даже «чужого» – нет, притом абсолютно, ни агрессии, ни зависти, ни ненависти – только любопытство.

...Есть некий общественный договор (если не уговор), которому равно послушно и равно неохотно пытаются следовать в официаль-

ных выступлениях (встречи, радио, ТВ) и «русские», и израильтяне: израильтян и «русских» не называйте, черного и белого не упоминайте, «да» и «нет» не говорите...

Нет такого понятия – «израильтяне», они все разные, есть один, отдельно взятый израильтянин... И «русских» нет. Они, представьте, тоже разные. У каждого свое имя, фамилия, лицо и даже судьба...

Короче: жизнь сложнее наших схем, а потому – «Смерть стереотипам!». Но я бы как раз хотела сказать несколько слов в их защиту.

Призывать к отказу от стереотипов – все равно что призывать к отказу от мышления как такового: обобщение – физиологическая потребность мозга, а стереотип – это обобщение, приложенное к конкретной ситуации.

Можно отказаться от стереотипного образа врага – враг от этого не исчезнет.

Не будем требовать друг от друга невозможного: именно в Израиле, где жизнь не успевает устояться, отлиться хоть в сколько-нибудь законченную форму, где все виды – несовершенные, где настоящее с такой быстротой теснит прошлое, что не оставляет времени для будущего, – именно в Израиле без стереотипов не обойтись. Единственная альтернатива – лицемерие, – ведь про себя, среди своих, мы все равно говорим: «русские», израильтяне, арабы...

И это, в сущности, справедливо: люди, принадлежащие к одной группе, намного больше похожи друг на друга, чем им того бы хотелось, а со стороны черты общности бросаются в глаза куда резче, чем отличия.

...Каждое общество по ходу своего существования выстраивает стереотипный образ самого себя. Он-то, этот исходный стереотип, и есть норма, точка отсчета для любых других, со стороны вторгающихся стереотипов.

Спрашивается: кто в Израиле создатель нормативного стереотипа, держатель «контрольного пакета» национальных акций?.. Конечно же, единственный хозяин страны, ее уроженец, носитель языка и господствующей культуры.

В действительности, однако, дело обстоит не совсем так, а точнее – совсем не так.

В действительности, соблазненная эпитетом «еврейское», свободно парящим над государством Израиль, каждая новая большая алия привозит с собой такую систему абсолютных ценностей (конечно же, «еврейских»), относительно которых именно она, эта алия, оказывается искомой причастностью, а израильтяне, напротив, – отщепенцами.

Так, идеологи восточного еврейства в роли абсолютной ценности выдвигают религию – и секулярный Израиль уходит в глухую оборону.

Русские евреи, точно так же как в свое время выходцы из восточных общин, предлагают свой абсолют, свою высшую ценность, свою религию. Их религия называется культура. Израильтяне сталкиваются сегодня с совершенно неизвестным и непонятным им видом религиозного фанатизма – фанатизмом культуры.

Я родилась и росла в обществе, где само понятие и слово «отщепенец» были не философией, психологией или социальной категорией, но – политическим обвинением, статьёй в уголовном кодексе. Я, правда, уже не застала эпохи, когда слова «отщепенец» и «смерть» были синонимами, когда отщепенскими, т.е. приговоренными к смерти, объявлялись целые классы и массы людей.

Нет, годы моего детства, последние годы сталинского средневековья, были куда более вегетарианскими: речь преимущественно шла не о массах, но о группах, не слишком многочисленных, но весьма эксцентричных: театральные критики, космополиты, генсеки...

У каждого человека кроме даты физического рождения есть дата рождения духовного... Психологи утверждают, что жизнь определяется травмой рождения. Я подтверждаю их правоту: мое «второе рождение» действительно было травмой и, как всякая травма, сопровождалось страхом и болью.

Страх исходил от замерзших чернил в утреннем классе, карбидных ламп по вечерам и шороха газет в школе и дома.

Когда на уроке какое-нибудь белокурое ангелоподобное славянское существо спрашивает учительницу невинным голосом: «Марьяна, а что это значит – беспачпортные бродяги?» – все, как одна, еврейские девочки (а нас в классе больше половины) краснеют и опускают головы. Нам стыдно. И нам страшно.

Но и стыд и страх прошли... Что же осталось?

А вот что: евреи не были одиноки.

В те же годы, в тех же газетах, той же силы удары обрушились на: Шостаковича – за формализм, Ахматову – за декаданс, на генетику, эту лженауку буржуазных мракобесов...

Евреи оказались не просто в хорошей компании – решением партии, правительства и лично тов. Сталина их причислили к высшему обществу, к элите, к духовному дворянству страны.

Так в очередной раз родился еврейский культурный миф, в благословенной тени которого мы до сих пор прячемся от жестокого жара истории: у русского еврейства и русской культуры одна судьба – судьба отщепенца, изгоя и жертвы.

Но и это еще не все, и это только половина правды. Есть и другая: тот, кто, подобно мне, жил в те годы и помнит их запах, неустранимый и незабываемый, как все запахи детства, согласится, что не всегда то был запах страха, атмосфера всеобщей дрожи в ожидании неминуемого конца... Нет, то была атмосфера невыносимой государственно-имперской скуки, то была раздирающая рот зевота, растянувшаяся на годы.

И потому даже политические кампании против очередной группы отщепенцев воспринимались теми, которого они не затрагивали (и особенно детьми), с любопытством цирковых зрителей: а кто у нас сегодня отщепенец? В чем обвиняют? Как объясняют?

За полетом крошечной мушки, этой принцессы-дрозофилы генетиков, мы следили с таким же замиранием и восторгом, как если бы в наш бедный класс влетела гигантская тропическая бабочка.

Переживание отщепенства как зрелища, цирка, карнавала, яркой вспышки страстей в веренице серых однообразных дней, передалось и тем поколениям, чье физическое рождение и духовное возмужание пришлось на послесталинские десятилетия.

Когда возникло диссидентство, это полудобровольное, полупринудительное движение отщепенцев, – что давало им силу годами выстаивать на мушке у ГБ, на подозрении у соседей, часто – без работы и всегда – в плотном окружении ненависти отнюдь не молчаливого большинства? Только одно: ощущение необычности, нетривиальности, в конечном счете – праздничности отщепенства.

(Разумеется, до тех пор, пока само диссидентство не превратилось в такой монолитный официоз, что только бунт против этой новой «административно-приказной» причастности мог спасти чары отщепенства.)

...Наивные израильтяне наивно полагают, что Дом (не квартира – Дом) лучше бездомности, семья – лучше сиротства, соучастие, причастность – предпочтительней отверженности и отщепенства.

Но для русского еврея-интеллектуала норма, желательная норма – это как раз аутсайдерство, неприкаянность, непричастность... Отщепенство – это честь, достоинство, избранность, которые ни в коем случае нельзя продавать за чечевичную похлебку причастности. Ибо причастность – это скука, однообразие, принуждение и нивелировка.

Отщепенство создало свой язык, самый экономный, но и самый выразительный из всех существующих языков. Он состоит всего лишь из двух частей речи: «мы» и «они». Но два эти местоимения заменяют глаголы действия, прилагательные оценки и экспрессивные междометия.

На днях в супермаркете незнакомая дама с интеллигентным лицом, корректными интонациями и московским выговором ошеломила меня вопросом: «Говорят, у них хороший маргарин... Не подскажете, где искать?» Я спросила: «У кого – у них?..» Она, к ее чести, покраснела.

Русские евреи хотят от Израиля не новой причастности, а старого отщепенства, т.е. привилегий, которые у них экспроприировала горбачевская революция.

Израильской культуре изначально была отведена роль советской, и только по одной причине: израильская культура – господствующая.

Отщепенство – единственное из человеческих состояний, обладающее не мнимой, а подлинной свободой от любых обязательств – исторических, социальных, национальных... Отщепенец – всегда жертва, а какие обязанности могут быть у жертвы?.. Одни права: ведь все равно – «не у тебя, не у меня – у них вся сила окончаний родовых».

... Мои друзья израильтяне часто спрашивают меня с сочувствием и надеждой:

«Ведь правда, что ты была там чужая и здесь – чужая? Там – как еврейка, здесь – как русская? Там – по происхождению, здесь – по языку и культуре?..»

О, если бы это была правда! Насколько легче бы мне жилось!.. Ведь я тоже оттуда, я того же опыта, той же крови, тех же снов... И для меня отщепенство – легкое бремя, комфорт души, а если что и выносится с трудом и скрежетом – так это именно причастность.

Кто выбрал Израиль – тот связал себя с самой отщепенской из всех причастностей и самым причастным из всех отщепенств. Но что значит массовая алия?!

Отщепенство, которое интуитивно мыслится в виде рассованных там и сям тоскующих одиночек, – стало массовым, как некогда диссидентство. Оно переживается экстатически и сообща, празднуется коллективно. Причастность же в Израиле, напротив, принято переживать в одиночку и не оповещать о ней общественность.

Иными словами, «русское» отщепенство, в силу массовости и легитимности, приобрело все черты причастности, а постыдная причастность перешла на положение отщепенства.

Я получила письмо из России от друга моей юности, поэта и еврея, который – пока! – не собирается уезжать, но на всякий случай интересуется: кто такие израильтяне? Такие же евреи, как мы, или уже другие?..

В письме мой друг сообщил, что он в очередной раз женился и стал отцом, что у его молодой жены были трудные роды, и она, чтобы преодолеть боль и не потерять мужество, до последней ми-

нуты, т.е. до первого крика младенца, читала стихи Мандельштама. И он, мой друг, спрашивает меня: можно ли представить, чтобы израильтянка в сходной ситуации читала стихи великого израильского поэта, и если – да, то какого?..

Я честно ответила, что такое маловероятно. Если израильтянка религиозна – она будет молиться, а если нерелигиозна – кричать... Но скорее всего, одна не успеет помолиться, а другая – накричаться, поскольку обеим сразу сделают кесарево сечение: в Израиле не любят, чтобы женщина страдала при родах.

Признаюсь, отвечала я не просто честно, но и злорадно, ибо та привычная доблесть, с которой русские (в кавычках и без) путают искусство с религией, стихи – с молитвой, поэта – с пророком, кажется мне невыносимо фальшивой и еще более невыносимо устаревшей.

Законы религиозного сознания одинаковы, независимо от объекта веры. Кто молится, тот причащается божеству, в мистическом пределе – сливается с ним: так верующие в Мандельштама чувствуют себя некоторым образом самим Мандельштамом. Или Ахматовой. Или Цветаевой. Или вообще всей русской культурой.

Если равенство делится на лучшее и худшее, то такое равенство – перед божеством и в божестве, – конечно, худшее: это не «приватизация», это экспроприация.

Я научилась видеть в культуре всю полноту отношений, равноправную игру всех участников, будь то литература, поэзия, экономика, поликлиника, секс...

Я утверждаю: провал экономики – это и провал культуры, пустые полки в магазинах – это пустоты в культуре. В ответ мне обычно приводят несколько имен художников из Москвы и поэтов из Ленинграда – или даже Санкт-Петербурга.

Так что же в конце концов происходит в Израиле? Кто с кем, что с чем встречается? Культура – с бескультурьем? Неправда. Две разные культуры? Тоже нет. На самом деле встретились старые знакомые, которые только делают вид, что не узнали друг друга, – встретились израильтяне и евреи, Израиль и галут.

Что это евреи русские, советские, оно, конечно, важно, но не принципиально, существенно, но не сущностно.

Будем справедливы: в советской империи-монстре не содержалось ничего, что было бы так уж неизвестно и чуждо историческому опыту вообще, а русскому – в особенности.

Сейчас, когда этот (тот) мир, еще недавно объявлявший себя «новым», распался на наших глазах, видно, из каких древних элементов он состоял.

Как на Страшном суде, ожили все исторические мертвецы: родовые междоусобицы, клановая вражда, племенные войны, феодалы, цари, короли...

Так и советский еврей на поверку оказался все тем же старым галутным евреем, «вечным жидом» – странником по временам и пространствам. Что нового в его культурном мессианстве, в его взгляде на себя как на воплощение духовности, как на идеального представителя – нет, больше, выше – рыцаря той культуры, к которой он в данное время и в данном месте принадлежит?.. Сегодня это культура русская, вчера была – немецкая.

Что можно возразить против рыцарства? Только одно: еврей – «рыцарь бедный», его прекрасная дама принадлежит другому, живет в своих владениях и как-то несильно бледнеет и худеет оттого, что самый верный ее паладин вдруг исчез...

Есть что-то смешное и жалкое в этом безответном служении, в этой неразделенной любви.

Я предпочла бы видеть в галутных евреях не «рыцарей бедных», а Дон Жуанов культуры: обвинение в космополитизме – самое комплиментарное, какое когда-либо было им предъявлено. К сожалению, в случае русских евреев (как до них – немецких) оно оказалось утопией: русские евреи вывезли из России, как самое драгоценное свое достояние, русский культурный шовинизм, заношенное до дыр и многожды перелицованное русское культурное мессианство.

Что может произойти при совместном проживании израильянина, гордого своей – в кои-то веки! – укорененностью, и еврея, все еще гордящегося своей беспочвенностью и отщепенством? Взаимовлияние культур, как принято говорить и надеяться? Не верю. Победа одной из них? Сомневаюсь: для этого обе недостаточно сильны, но и недостаточно слабы.

Взаимная ненависть? Похоже, но не хочется. Я думаю, лучший выход – это обмен, как предлагает Хаим Гури в своем обаятельном стихотворении:

Ты дашь мне тяжелокрылые шуршащие леса,
А я тебе – тяжелый зной («шарав кавед») и святые места,
Ты дашь мне географию, растянутую в никуда,
А я вручу тебе наследство – историю, сошедшую с ума!
Ты дашь мне классный футбол на зеленой траве,
А я тебе в соседи дам магометан и безысходность.

(Перевод подстрочный. В тексте игра слов: «шарав кавед» – сильный хамсин и позывные отбоя ракетной тревоги в дни иракской войны 1991 года.)

...Отщепенство давно не одевается по романтической моде героев Байрона; отщепенство больше не пахнет абсентом из парижских кафе, где просиживали свои отщепенские жизни Верлен, Бодлер и Рембо; отщепенство не живет на чердаках и мансардах жизнью одиноких гениев... Короче: отщепенство потеряло все жанровые признаки «сипур иши»... В 20 веке отщепенство – это историческое принуждение, а не свободный выбор и призвание.

Отщепенские массы – это новый трагический опыт для многих народов. Но только не для евреев – для них это опыт не просто старый, но, в сущности, устаревший. В терминах литературной критики легче всего определить отношения между Израилем и галутом как отношения между новаторством и эпигонством. Новаторство требует таланта, решимости, мужества... Эпигонство – это бесконечное воспроизведение одних и тех же текстов.

Поэтому быть отщепенцем в Израиле – это не несчастье, не стыд и не преступление – это бездарность.

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

Упрямо нерешаемая проблема, которую Израиль упорно стремится решить, формулируется как «центр – периферия». Но в переводе на русские реалии она звучит куда более определенно и однозначно: столица – провинция.

По правде говоря, среди множества неотступных израильских проблем натянутые отношения между центром и периферией – это не самая большая драма, скорее периферийная. Зато в ментальной топографии выходцев из России раздел мира по линии «столица – провинция» занимает едва ли не центральное место. Именно он, этот раздел, во многом определил, определяет до сих пор и предопределяет неудачу романа между «русскими» и коренными израильтянами.

...Я родилась и росла в большом городе удивительной и нежной красоты. Он то плавно, то торопливо сбегал к реке, которая, разделяя город на два рукава, его же соединяла в одно нарядное цветастое платье.

Таинственными островками, излучинами, заводами, пляжами и плавнями река по красоте явно превосходила и мелководную Москва-реку, и раздвинувшую городские граниты петербургскую Неву. Но, даже воспетый гением Гоголя, Днепр не влился в один ряд с такими «речными божествами», как Сена, Темза, Рейн да и та же Нева... Потому что омывал провинцию.

Перечень целого созвездия творцов русской культуры, родившихся в этом городе, охватывает едва ли не все буквы русского алфавита, от «А» – Ахматова (великая русская поэтесса XX века), «Б» – Булгаков (автор любимого в Израиле романа «Мастер и Маргарита») и до, скажем, «Э» – Эренбург (знаменитый писатель советского периода русской литературы).

И все они вспоминали город сквозь слезы, но никогда туда не возвращались. Потому что это была провинция.

Город походил на первую любовь, с которой расстаются специально для того, чтобы всю оставшуюся жизнь иметь право по ней тосковать. Но не возвращаться.

Когда я появилась на свет, город насчитывал столько жителей, сколько было в Израиле в канун Шестидневной войны.

А когда уезжала, – его население равнялось населению нынешнего Израиля.

И все равно то была провинция,

Сегодня Киев – столица внушительного по территории и народонаселению славянского государства.

Его столице еще предстоит отыскать и отстоять свое место рядом с легендарными восточноевропейскими столицами – Прагой, Варшавой, Будапештом...

Если Киев проявит выдержку и мудрость, он не вступит в ретроактивное соревнование с Москвой и Петербургом: не стоит начинать новую жизнь там, где в старой ты потерпел поражение.

Тем более, что у Киева, как и у других городов, подчас сказочно обольстительных, но втянутых в орбиту российской государственности, все равно не было никаких шансов: в до-советской или пост-советской России все, что не столица, – это провинция.

Столица отводит в свое русло главные финансовые реки и экономические потоки.

Но все это мало праведное богатство не стоит гроша в сравнении с тем могучим оттоком творческих сил, который из века в век, из года в год, невзирая ни на какие бедствия и катастрофы, устремляется в столицу из провинции.

И в этом массовом заплыве на дальнюю дистанцию евреи доплывают одними из первых, если не вообще и всегда – первыми. Они не растягивают свою мечту о столице на три действия, как чеховские три сестры с их постоянным припевом: «В Москву! В Москву!», и, конечно же, не трогаются с места... Нет, русский еврей переводит мечту в реальность с энергией и хваткой, которая и не снилась не то, что трем, но тридцати трем тысячам сестер и сорока тысячам братьев в придачу!

Потому что столица – это власть политическая, духовная, культурная. Власть над хорошими манерами и манерой одеваться, власть над стилем жизни и стилем мысли.

Зато и самое радикальное противостояние власти – любой! – тоже окапывается в столице.

Кроме «вертикали власти», Россию растягивает еще и горизонтальная оппозиция: «город – деревня».

Город, не обязательно столица, просто город, как, впрочем, и большая деревня, крадучись переходящая в «поселок городского типа», тоже сходит за город, только маленький. Правда, и маленький город – городок, нуждой пригвожденный к своим земельным участкам, – это всего лишь большая деревня.

Впрочем, вся эта «деревенская проза» есть сугубо внутреннее дело России. Дело затяжное, безнадежное: слушание переносится из века в век, а решение так и не выносится.

Вмешиваться в этот сюжет нет никакого резону еще и потому, что евреи из него выбыли начисто: Катастрофа уничтожила практически все сельское еврейство, да так успешно, что даже исконное место его обитания – вымыло из оборота русской речи, как если бы оно было заимствовано из языка идиш.

(Сегодня оно фигурирует лишь в названии безвкусного и бездарного шоу под названием «Песни еврейского местечка» произ-

водства нынешней еврейской общины в России, сочиненной американскими евреями столь же убого, как и само шоу).

Россия еще, куда ни шло, может тешиться утопией прошлого: могущество в одну шестую населенной суши, три океана, двенадцать морей да границы по центру Европы и середине Азии.

Ну, а евреям – что? Черта оседлости? На самом деле, то, что было тенденцией еще в начале XX века и усилилось после революции, – после Катастрофы стало непреложным фактом: еврей бесповоротно утратил корни в русской земле и возвращается туда только мертвым.

Он плод и цветок городских асфальтов, и судьба его по-прежнему вершится на перегоне между провинцией и столицей.

Когда в 70–80-е годы, в глухом непредчувствии исхода советских евреев начала 90-х, на Израиль начали накатывать волны большой, по тогдашним меркам, – алии, израильский истеблишмент недальновидно пожертвовал своим зрением в угоду мировоззрению: он не то, чтобы закрыл глаза на русского еврея образца 60–70-х годов, – он их отвел в сторону, поскольку «образец» был ему неприятен и не по карману: мало того, что горожанин, как правило, уже потомственный, – он был еще и буржуа, насколько это возможно в бесклассовом обществе (оказалось, возможно!), т.е. принадлежал к историей обесщеченному и обеспеченному среднему сословию, притом со своей верхушкой в лице научной интеллигенции с дипломами, именами (случалось, международными) и вполне удачными, но непонятно во имя чего отброшенными карьерами.

Ну, и о чем с такими прикажете разговаривать? Что социализм – светлое будущее всего человечества? – Смеются... А мы-то думали: приехали достраивать вместе с нами социализм истинный вместо неистинного, загаженного русскими... Так вот же он, истинный: привольно цветущие кибуцы вместо принудительно нищих колхозов, выморочных колхозов... Так ведь они колхозов и не нюхали, а потому кибуцов не захотели.

Нет, ненастоящие какие-то получились евреи. Настоящими были те, другие, ихние отцы и деды, ибо настоящий еврей по происхождению – уроженец местечка, а по убеждению – социалист.

...Как культура европейского (и только европейского!) образца, лишь позже других сыгравшая свою партию в европейском оркестре, русская культура в распределении своих мощностей между

столицей и провинцией и похожа, и не похожа на остальную Европу.

Совсем не похожа, например, на Англию: там от Диккенса до Агаты Кристи событие культуры, как и событие преступления, происходит в любой точке королевства.

В лучах Оксфорда и Кембриджа Лондон отступает в тень, и неслучайно последняя всемирная слава Англии – «Битлз» – начинали как «Ливерпульская четверка».

В Германии культура гнездилась в любом городе и городишке, где просиял ученостью университет или обосновался гений: Веймар – это Гете, Кенигсберг – Кант, Вюртемберг – Лютер, Виттенберг – принц Гамлет, а уже в конце XIX – начале XX века захолустный Марбург привлек к себе внимание просвещенной Европы тем, что в тамошнем университете еврей-профессор Герман Коген возрождал к новой жизни учение кенигсбергского профессора Иммануила Канта.

Несмотря на рейхстаг и ежегодные растатуированные демонстрации сексуальных меньшевиков, современный Берлин никак не тянет на культурную столицу объединенной Германии, ни даже на ту свою прошлую известность, когда в преподавателях Берлинского университета числился профессор Гегель.

Пожалуй, в паре с Россией выступает только Франция, где Париж – это не символ и не визитная карточка французской культуры, а самое французская культура и есть.

Завоевание провинциалом столицы, а уже оттуда, если повезет, и всего мира – это стойкий сюжет не только французской и русской литературы, но и действительной истории обоих народов: от Генриха IV, провинциального короля провинциального королевства, ставшего королем великой Франции («Париж стоит мессы!»), – и до Робеспьера, адвоката из забытого Богом Арраса, пославшего на парижскую гильотину королевство Франция, а затем – как из охотничьего рога изобилия: гасконец д'Артаньян, корсиканец Наполеон, бальзаковский Растиньяк, Жюльен Сорель Стендаля.

В России, завоеывая столицу, провинциалы еще как бы и мстили ей доведением до взрывного радикализма столичных же идей: революционер середины XIX века Чернышевский, призывавший Русь к топору, родом из саратовской глуши. Провинциал Раскольников столицу, правда, не завоевал, зато прошумел на весь мир. Ленин – уроженец провинциальной скуки под названием Симбирск, а Сталин, так тот не просто провинциал, – он еще из провинции в самом ее унижительном виде: так называемой «национальной окраины».

Вообще же о русских гениях (не обязательно злодеях) можно сказать то же, что французы говорят о своих: они рождаются в провинции и умирают в столице.

Отличие, притом знаковое, заключается в том, что в России столиц целых две: Москва и Петербург, он же бывший Ленинград, а в советскую эпоху – Ленинград, он же бывший Петербург.

...Достоевский писал, что «города бывают умышленные и неумышленные», а про Петербург выразился так: «Петербург – самый умышленный город на всем земном шаре».

И так оно и есть: Москва неумышленна, как явление живой природы, как лес, роща, поле или человеческое жилье, в незапамятные времена сметливо раскинувшееся в прибыльном месте (долины рек, пересечение торговых путей, изобилие живности в окрестных лесах, естественные укрытия от неисчислимых врагов и т.п.).

Москва, независимо от эпохи и правителей, произрастает, нагромождая улицы и этажи, как могучее дерево выбрасывает все новые и новые ветки и, одновременно, сбрасывает другие площади, переулки, дома, как омертвевшие сучья или опавшие листья. Что бы ни встраивалось в Москву, – ей все к лицу, ничем не испортишь. Что прянично-сусальные купола приземистых церквей, что «поздняя готика» сталинских высоток, – все едино.

Зато Петербург... О! Петербург! Авторский город, произведение искусства, архитектурный ансамбль классической музыки, «окно в Европу», чтобы Россия время от времени освежалась и не задурела окончательно в чересчур густой – хоть топор вешай – атмосфере Москвы.

Когда большевики, обещавшие Русь азиатскую, мужицкую превратить в Россию европейскую, индустриальную, перенесли столицу из Петербурга в Москву, наиболее проникательные из русских интеллектуалов той эпохи увидели в этом жесте не шаг вперед, а прыжок назад, враждебность Западу и ставку на безличностную азиатскую народную стихию.

Но Петербург легче было уничтожить, чем отнять у него русскую же, извечную ностальгию по Европе, имперский «шик» и верность классицистской ясности и строгости формы.

Москва и Петербург – это не просто две столицы. Это две культуры, два разных строя души, две противоположные ментальности, два пути, предлагаемые человеку, родившемуся в России и соучаствующему в русской культуре в любой роли – творца ли, потребителя – все равно.

Эта «повесть о двух городах» объемом в триста лет построена не на «диалоге», «взаимовлиянии» или там «взаимопроникновении», почитаемых в нашей стране как залог культурного процветания. Нет, герои этого по-настоящему (а не по Меиру Шалеву) русского романа враждуют, соревнуются, вступают поединок и все это – при полной невозможности расстаться.

А потому русская литература легко и податливо разделяется на «московскую» и «петербургскую», в каждом из отделений демонстрируя равных по мощности, но разных по сущности гениев.

«Петербургская» проза – это Гоголь и Достоевский в XIX веке, а в XX-ом – Андрей Белый, гений русского модерна начала прошлого столетия. (Его роман «Петербург» был переведен на иврит, но оставлен без внимания, – к сожалению, хотя и по понятным причинам: новую, начала XX века, русскую действительность (а всякая актуальность есть новость) Белый осмыслил и описал с помощью образов и сюжетов Толстого и Достоевского, доведенных до градуса кипения, символа и мифа. Что, на самом деле, как раз и есть формула «постмодернизма» как финального аккорда модернизма. Но мы из всех парадоксов, возможностей и богатств постмодернизма ухитрились извлечь только вяло текущий «пост-сионизм», больше похожий на посттравматический синдром, чем на явление культуры, пусть даже политической.)

Петербургская поэзия: охват – от Пушкина до Ахматовой с длительной и глубокой остановкой дыхания на Александре Блоке.

Что ж до Москвы, то Владимир Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим московским поэтом, а лучший московский роман – это, конечно же, булгаковский «Мастер и Маргарита».

Евреи, с начала XX века и на всем его протяжении метеорно врывавшиеся в русскую культуру, тоже, и не без удивления, обнаружили в себе две души – московскую и петербургскую. И не просто обнаружили, но и выразили с силой, не уступающей ни по уровню, ни по мировому резонансу гениям русской крови и почвы.

В Петербурге – Осип Мандельштам, лучший из лучших поэтов гениального для поэзии XX века, а затем, едва только убили Мандельштама, – в Ленинграде родившийся Иосиф Бродский.

Из «окна в Европу» он шагнул на Запад через дверь эмиграции, жил в Америке, Нобелевскую премию получал всего лишь километрах в двухстах от своего родного города – в Стокгольме.

Другой еврей, Борис Пастернак, поэт московской погоды и подмосковной природы, Нобелевской премии (по воле советского народа не полученной) удостоен за не лучшее свое детище – сугубо московский роман «Доктор Живаго».

...«Первопроходцы» 70-80-х годов с ходу налетели на неизбежное препятствие – необходимость «абсорбировать» Израиль в себе, что ничуть не уступало трудностям самого Израиля в «абсорбции» русского еврейства.

И тогда, для облегчения жизни в условиях невесомости, «русские» сочинили для себя игру: заместить двумя столицами Израиль – Иерусалимом и Тель-Авивом – вакантные должности Москвы и Питера.

Занятно, что Тель-Авив, несмотря на очевидную свою «умышленность» и дыхание моря (пусть не Балтийского, а Средиземного, но все-таки моря!), привлекал, в основном, именно москвичей: кавардак улиц, сумятица и разнобой архитектуры, говорливо снующая толпа, все же более улыбчивая и приветливая, чем неизменно угрюмые питерские скопища Иерусалима...

Напротив, уроженцы Петербурга в символической и мифологической плотности Иерусалима пытались узреть аналогию литературно-пластической мифологии Петербурга.

Ничего не вышло, игра быстро выдохлась и сама собой увяла. Да и как могло быть иначе? Иерусалим так и не перевел свою мифологию в культуру: где иерусалимская школа поэзии? театра? философии? Где иерусалимский стиль поведения, речи, моды? Ничего такого нет и не предвидится.

Что же до Тель-Авива – тут еще обидней: свое почти столетнее бытие он не довел даже до уровня городской мифологии – что уж тут говорить о «переплавке» мифологии в культурное творчество?

Зато и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е годы новоприбывшие шли на первое свидание с Иерусалимом с сильно бьющимся сердцем и романом «Мастер и Маргарита» в руках.

Туда, туда, на самую середину – холм, балкон, взгорье, откуда со всех ног бросается в глаза и заполоняет их панорама этого волшебного города, ненавидимого римским прокуратором. Ненавидел – и нам завещал... А мы – любим! А где она, эта «глыба мрамора с золотой чешуей вместо крыши – Храм Ершалаимский»?.. Ах, да, конечно, знаем, что нету, но тут написано, что есть!

Уже две тысячи лет, как сгорел, одна стена осталась? Да и та Плача?

Не надо плакать: мы насадим новый Храм, лучше прежнего, и радость, тихая радость поселится в наших сердцах!..

А теперь – к Соломоновым прудам, Хевронским воротам и, конечно, на ту улицу, по которой, изнемогая под римским крестом, волокся к месту казни бедный философ Га-Ноцри. А еще ту улицу покажите, где негодяй Иуда тискал жительницу Иерусалима, красавицу-гречанку Низу... Ничего, что устанем: в Гефсиманском саду отдохнем...

Конечно, в этих, взятых напрокат из русской литературы восторгах было много комичного. Думалось: подождем, заговорим на иврите, обживемся, а уж тогда и приникнем к собственному, незаемному и нетленному лику Иерусалима.

Ну, обжились, заговорили, а впечатанного в слово Иерусалима так и не нашли.

И если бы не нашли только русские евреи...

На основании обширнейшего опыта литературных вечеров, частных встреч, частных разговоров – утверждаю: ивритоязычный Израиль роман Булгакова, что называется, «усыновил». И прежде

всего – из-за иерусалимских глав (хотя, глазами читателя русскоязычного, они сильно уступают московским).

В числе страстных фанатов этой новорожденной израильской звезды я встречала не просто религиозных – ортодоксальных евреев. И это при том, что автор – христианин, герой – основатель взошедшей на нашей крови религии, лже-мессия, «мамзер» – сын римского солдафона и еврейской блудницы.

Все выглядит незначительным в сравнении с той ролью, которую Булгаков отвел Иерусалиму – ролью мировой столицы. И не в «божественной» географии – что ни для кого не новость, а в самой что ни есть человеческой истории, притом жуткой – истории XX века, где на одном из самых ее крутых поворотов Иерусалим «вписался» в Москву и предопределил тамошний порядок действий.

А раз так – значит, в отечественной словесности такого места у Иерусалима нет.

Дело не в израильской литературе – дело в самом Израиле: здесь нет и не может быть столицы, потому что он весь – провинция, или, на языке оригинала, периферия, и противостоит ей не столица, а – центр.

В центре больше денег, больше культурно-просветительных и питейных заведений, больше кафе, ресторанов, рабочих мест, словом, – всего больше. Отличие – чисто количественное, центр и периферия похожи на полное и сокращенное издание одной и той же книги.

Такое «разночтение» элементарно устраняется средствами бюджета, спонсоров, жертвователей...

Но никакой бюджет и никакие спонсоры не в силах привести к рождению трагедии из духа музыки, или музыки – из духа города, ведь это столичные жанры. А столица – это принципиально иной склад и облик мира, это вызов, альтернатива, соблазн, приманка, тайна и лабиринт.

Так в старой доброй или не очень, но великой Европе английские и немецкие университетские столицы бросали вызов человечеству и слишком человеческому тайнами и приманками своих философских, научных и художественных лабиринтов.

...Израиль весь – сверху донизу и справа налево – социален, следовательно, провинциален. Так называемые «беайот хевратийот» на язык израильской реальности переводятся не как «общественные», но «общинные проблемы». Внутри- и межобщинные противостояния организуют израильский социум и покрывают, как пластиковая пленка парники, весь спектр существования страны. Понятно, что в условиях такого «парникового эффекта» мучительно трудно дышать.

Только в провинции, где людей мало, а судьбы их решаются где-то там, в мировых столицах, личные отношения любого по-

рядка (семья, общее детство, совместное пребывание в школе, армии и т.п.) лепят по своим моделям политику, бизнес, средства информации, короче, – все базисные установления: от судебно-полицейских до банковско-парламентских. Отсюда – угнетающая неподвижность, застойность, старообразность израильского образа жизни. Преклонный возраст наших политических лидеров даже не символизирует, а есть эта всеобщая замшелость.

Время в провинции всегда течет медленней, чем в метрополии, подчас просто точится по капле вместо бурных потоков, заливающих столицы...Субстанция провинциального времени более густая и вязкая, с запахом местных сплетен и домашней стряпни.

Но обычно провинция – это только часть государственного организма, и то бремя исторического времени, которое взваливает на себя столица, компенсирует леность и медлительность провинции. Если же провинциальным временем отмеряет свою жизнь отдельное суверенное государство, – это катастрофа.

Израиль захлебывается разговорами, как всегда тонет в них провинция. Творчество требует уединения, одиночества, самоизоляции. Что традиционно гарантируют столицы с их соревновательными страстями, отчужденностью, жесткостью и несентиментальностью как нормой существования (русские так и говорят: «Москва слезам не верит», «Питер – бока повытер»...).

А что у нас? А у нас бытие воюющей и повседневно рискующей жизнью нации предлагается переключать на быт «штетла» более, чем столетней давности: «еврей отвечает за еврея», «дом Иакова», «семья», невыносимый «баит хам» («теплый дом»), так жутко приближенный языком к сходной идиоме «кевер хам» («теплая, то есть неостывшая могила»); призывы к тому, чтобы сердца и культуры бились в унисон – «керув левавот», «керув тарбуйот»; наивно-пасторальная вера в то, что, чем люди больше и ближе узнают друг друга, тем вражды меж ними меньше (в реальности верно как раз обратное), а потому: «ледабер, ледабер, ледабер» – «говорить, говорить, говорить», разговаривать безостановочно и со всеми.

Провинциальные посиделки – вот что такое вся эта суетливая говорливость. Именно она сходит у нас за культуру и даже «диалог культур».

Но в культуре подлинной обмениваются не телами, а вещами, не народонаселением, а продуктами творчества – от литературы и театра до научных открытий.

Это абсолютная ложь, будто «русские» и израильяне плохо понимают друг друга, а плохо понимают оттого, что недостаточно знают, а недостаточно знают в силу не полной друг другу открытости, слабо поставленного «диалога»...

На самом деле корень разногласий не в недостатке взаимопонимания, а в его переизбытке: понять другого – нетрудно, труд-

но – принять. На поставляемые израильтянами культурные гостинцы «русские», в лучшем случае, отвечают ухмылкой, израильтяне мстят им всеми видами социального давления и отторжения.

Оттого, что провинцию называют «периферией», она не перестает быть провинцией, оттого, что отсутствующую столицу именуют «центром», – центром национальной жизни он не станет.

Русский еврей, если только он всерьез и надолго «осел» в Израиле, сам – в себе и для себя – обустроит свой Израиль, по своим столичным проектам, и не примет из чьих бы то ни было рук рекомендованное градостроительство и градоискательство. Самое лучшее – оставить «русских» в покое и позаботиться о себе.

СВОБОДА И СЛОВА

Дневник писателя

I

...Вороха интервью, которые брали у меня ивритские газеты, радио и TV, набежало за двадцать лет на упитанный том.

Не сразу, совсем не сразу, но уже давно стоит мне согласиться на очередное интервью, и чувство глубокого недовольства накрывает меня с головой. Обычно оно проходит три этапа: первый – зачем вообще согласилась? Второй, когда за журналистом закрывается дверь моего дома или за мной – дверь студии: зачем сказала то, что сказала?.. Высшей отметки недовольствие достигает по выходе материала в печать и эфир.

Нет, мне не приписывают того, что я не говорила, и не перевирают сказанное. Так в чем же дело?.. Откуда эти слезы?.. Я не боюсь, что мою мысль не поймут (подумаешь, бином Ньютона!), но неизменно опасаясь, что ее поймают и употребят не по назначению.

Я – частное лицо, литератор-надомник, средств у меня никаких, одни цели. Поэтому подозрение, что меня используют в неизвестных, чуждых, а то и враждебных мне целях, особенно невыносимо.

Вообразим мысль в виде теннисного мяча, во время игры случайно выпрыгнувшего за пределы корта. Мяч не утратит упругости и прыгучести, но его дальнейшая судьба всецело зависит от тех, в чьи руки он попадет.

Мячом можно разбивать соседские окна, мяч можно гонять по двору, как приبلудную собаку, загнать под диван, забросить на шкаф, чтобы отдохнул и отлежался в пыли... Все эти разнообразные действия не лишены цели и смысла, но мяч предназначался для совершенно другой игры, по другим правилам, с другим результатом и эффектом.

...Если принять вопрошающую часть типового израильского интервью за единицу измерения времени, вывод напросится один: времени нет, никогда не было и не предвидится.

В течение двух десятков лет мир перестраивался и ускорялся, рухнула с треском, но без особого шума «империя зла», ее роль перехватила и добросовестно исполняет «империя добра»; «мировая деревня» уверенно превращается в «мировой аул», новые народы и государства расползаются по глобусу, человечество подсело на интернетную иглу, а любопытство ивритских СМИ по-

прежнему исчерпываются двумя независимыми вопросами: «еврей ли вы?» и «почему нет в продаже животного масла?»

Разумеется, как всякий сакральный текст, ильфо-петровские цитаты следует понимать не буквально, но аллегорически.

С другой стороны, варианты «еврейского вопроса» при переводе на язык оригинала не слишком отличаются от первоначальной заготовки: вместо «еврей ли вы?» принято спрашивать: «Что это значит – быть евреем?» (Подтекст: мы знали, но забыли, ведь мы – израильтяне.)

Вариант: «Что такое антисемитизм?..» (Подтекст: слышали, но не знаем, ведь мы – израильтяне.)

Что ж до «животного масла», то под ним, в отличие от спиритуальности первого вопроса, должно разумеется реальную сферу бытия в диапазоне от денежного довольствия в стране исхода до состояния потерянности и безысходности на исторической родине. (Чем жалостней и безысходней, тем лучше: ивритский читатель любит мизераблей и не жалуется самоуверенных.)

С учетом эксцентрических занятий опрашиваемого неизбежны также следующие вопросы: правда ли, что существует русско-израильская литература? Если нет, то почему? Если да – то зачем? А также: каким литератором вы себя считаете – русским или израильским? (Эмоциональный подтекст здесь тот же, что при вопросе ребенка: кого ты больше любишь – папу или маму?)

...Лет 12 тому назад вбежала в нашу распаренную квартиру тоже непрохладная девушка-журналистка, с ходу напомнившая мне милостивую курсистку с одноименной картины художника Ярошенко (минус шапочка, муфточка и пейзаж за спиной).

Дадим гостье имя: пусть будет Нурит. Нурит втянула интерьер хищным зрачком, споткнулась взглядом о лежащую на столе книгу, опробовала на глаз сдобную кириллицу, увязла, спросила требовательно: кто?

Мы чистосердечно признались: Борхес. (Первое советское издание, ходило в книжных новинках.)

Нурит (в ужасе):

– Но ведь он – реакционный писатель!

Мы удрученно переглянулись.

В темпе проиграв обязательную гамму – почему мы евреи, как мы решили поменять родину, язык, кухню? – я (она то есть) так бы не смогла! – Нурит взяла решающий аккорд: – Русско-израильская литература – это что такое?

Пояснили.

– А поэт хороший у вас есть? – интересуется.

– Есть! Есть! – хором обрадовались мы. – Есть такой поэт. Зовут Михаил. Как раз недавно закончил мощную поэму «Вавилон» и цикл стихов о Ливанской войне, тоже сильно неслабый.

Спрашивает:

– А он за войну или против?

Мы хотели было пояснить, что поэт (как, впрочем, и мы) всецело за войну, если она победоносная, и резко против, если проигранная. Но вовремя вспомнили, что в широком спектре гражданских чувств, заявленных нашей гостьей, чувство юмора не участвовало, и промямлили в ответ нечто мутно общегуманное.

Уходя от нас, уже в дверях, Нурит завещала:

– Кто не определил сегодня свое отношение к Ливанской войне (понятно, отрицательное) и палестинской интифаде (разумеется, положительное), тот не имеет права называться писателем.

И умчалась дальше. А дальше был Юрий Милославский, очень талантливый прозаик, «черный человек» алии 70-х, возненавидевший Израиль с энергией и страстью уроженца Малороссии, где даже на трудное послевоенное детство приходилось больше солнца, жиров, белков и витаминов, чем в других губерниях не для счастья родившейся империи.

Антисемитизм Ю. М. был не простой, а художественный: к примеру, крестился он именно в Иерусалиме – и только после этого съехал в Штаты.

«Русское» общество возмущалось им до хрипоты, но втайне гордилось, ибо видело в Милославском достойный ответ русских израильтян русским «американцам», на чьи безбедные головы примерно в то же время свалился Эдичка Лимонов.

Милославский, конечно, был пожиже, но слишком густо краснеть за него все же не приходилось: ядохимикатная смесь сентиментальной порнухи с истерическим нигилизмом удовлетворяла самый требовательный невзыскательный вкус,

Ивритом Ю. М. владел безукоризненно, со всеми оттенками, полутонами и нюансами, так что их беседу с Нурит я представила себе не без сладкого злорадства: в сравнении с тотальным неприятием Израиля (Ю. М. именовал его не иначе, как «Южная Сирия») крутая левизна израильтянки выглядела бедно.

И вот меня, сионистку, националистку, поклонницу реакционера Борхеса, и антисемита, выкреста и чернушника Милославского в компании еще нескольких литераторов (кого точно – не упомяну), кроме языка тоже мало друг с другом связанных, бойкая журналистка на равных вписала в один «Замкнутый круг» – так называлась опубликованная в «Гаарец» обширная корреспонденция, кое-где разбавленная образцами прямой речи каждого из нас, но прочно сцементированная автокомментарием и выводами: «русские» – это гетто, страшно далеки они от Израиля и сближаться с ним не желают; они одержимы комплексом имперского превосходства, или, что то же самое, комплексом эмигрантской неполноценности, а также поголовно ушиблены антикоммунистическим синдромом, который, сами понимаете, есть не что иное, как тоталитарная ментальность.

(Спустя недолго Нурит выпустила сборник рассказов, на один литературный сезон стала популярным автором, а потом так же неожиданно растворилась в здешнем словесном мареве, как внезапно прорезалась.

Сборник она мне прислала, а по телефону попросила обратить особое внимание на один из рассказов, где, по ее заверению, она в художественных образах запечатлела загадочную русскую душу в нашем сводном исполнении.

На всякий случай она также порекомендовала не обижаться, если в одном из персонажей я узнаю себя: таковы суровые законы литературы, сама понимаешь. Как не понять... Себя я, тем не менее, не узнала, как, впрочем, и никого другого. Единственным давним и давно надоевшим знакомцем оказалась сама проза, старательно описательная и тоскливо психологическая. Таковую на всех европейских языках писали и пятьдесят, и сто лет тому назад. Славы она не принесла никому.)

...Упорство, с которым русскоязычная община отстаивает свое право на культурное самоопределение вплоть до отделения, принято объяснять тем, что критическая масса носителей великого и могучего вот-вот доберется до красной отметки в миллион душ, а в обозримом будущем, не исключено, и перемахнет через нее.

А люди, в массе и по природе, хоть и любопытны, но ленивы и консервативны: если можно сохранить среду обитания при изменении условий существования, кто ж от этого добровольно откажется?..

Утверждаю: такое объяснение есть заблуждение, основанное на незнании.

В 80-е годы, а это было время почти полного замерзания репатриантского потока, творческая лихорадка сотрясала русскоязычную словесность – от поэзии до публицистики – сильнее нынешнего.

(Учтем скромность и малость тогдашней читательской аудитории, она же – потребительский рынок: меньше 200 тысяч человек, включая выходцев из Грузии с их автономной культурной ориентацией.)

Было ли «русское» культурное содружество тех лет ярче и талантливей пополнения 90-х, судить не берусь. Не хочется, да и не важно. Другое важно: культурная неутомимость и жестоковывность «русских» уже тогда отозвалась в господствующей культуре шумовой помехой, дискомфортом присутствием «чужого», на которого необходимо навесить опознавательный ярлык и поставить на соответствующее место.

Место определили быстро и находчиво – в аду национального подсознания, т. е. там, где сами хозяева положения больше всего боятся оказаться: «замкнутый круг», сиречь – гетто.

Во имя справедливости: в те годы в этой оскорбительной дефиниции присутствовал все же ощутимый привкус правды. Количественная незначимость переселенцев в сравнении с коренным этносом, вынужденно-добровольная культурная самоизоляция, безнадежная отрезанность и недостижимость языковой родины – все это приметы, слишком явно провоцирующие прямую аналогию, чтобы можно было ею пренебречь во имя душевного благородства или интеллектуальной корректности.

Но вот что плохо: за полтора примерно десятка прошедших лет расположение желтых, красных, белых и голубых звезд изменилось так радикально, что впору объявить новое небо и новую землю: во много раз утяжелилась русскоязычная масса в Израиле, с русской языковой границы снят замок, прошлое перестало быть мифом о потерянном рае: чтобы вернуть времени желанную непрерывность и преемственность, достаточно купить билет на самолет или включить любой из русских каналов TV...

Русское еврейство в Израиле живет на таком же историческом и культурном сквозняке, что и вся западная цивилизация, включая Россию, кстати. Кстати...

Между тем желтая метка «русское гетто» до сих пор остается наиболее ходкой монетой в ивритской журналистике, да и в обыденной речи израильтян. (Сужу по добротному личному опыту.)

Эта нудная инерция больше говорит о застойности израильского сознания, чем о реальном самочувствии «русских» израильтян.

Выход предполагался (предлагался) один: разорвать круг, выучить иврит до полного слияния с ним и признать вхождение в местную культуру достойной платой за тяготы душевной перестройки.

Ничего не получилось.

Да что там баснословные 80-е?..

...Если бы количество прожитых мною здесь лет перенести в начало жизни, на них пришлось бы: рождение, детство, отрочество и юность под сенью всех лип русской классики, среднее и высшее образование, первое замужество и первые мечты о разводе...

Так вот, оказавшись в Израиле в середине мифологических 70-х, я застала вполне обжитый и ухоженный русский остров: разудалая полемика двух ведущих толстых журналов при глумливом науськивании тонких; архаисты и новаторы, реалисты и модернисты; наконец, отлаженный литературный быт с отъемом и уводом жен и любовниц идейно-эстетических противников; действовал даже русский студенческий театр (при Иерусалимском университете), где мне посчастливилось увидеть поистине великолепную постановку гоголевской «Женитьбы»...

И вся эта залетная буйноцветущая флора не выказывала ни малейшего желания превращаться в укорененную жароустойчивую сабру.

Чего мы тогда действительно хотели, так это того, чтобы в нас признали своих, других, но – близких: ведь равенство не есть тождество, а другой не обязательно чужой.

Теперь, кажется, ни близости, ни признания особенно не жаждут.

Нет, что-то изначально не задалось в отношениях русских евреев с израильской культурой.

Не приключилось не то что «химии», выражаясь общепринятой в разговорном иврите, но оттого не менее гадкой метафорой, – даже физической приладки и притирки не произошло.

Дабы окончательно распрощаться с 70-ми годами, хочу развеять романтическую дымку, до сих пор застилающую их меркнувший облик.

Почему-то принято считать, что в укор волне 90-х годов, нахлынувшей на землю израилю в состоянии полного национального беспамятства и идейной безыдейности, алия 70-х была сплошь идеологически мотивированной и сионистски воспламененной.

Эти качества, редкие, как три драгоценных металла, скапливаются обычно в верхнем слое общественной толщи.

Спешу донести: из той художественно-гуманитарной и научно-интеллектуальной элиты, что, подобно коллективному Моисею, вывела русское еврейство из советского Египта, едва ли треть продолжает делить с нами бремя места, времени и налогов. Остальные – далече, радуют своим присутствием другие народы и государства.

Среди покинувших нас были те, кто так и не успел (или не захотел) причаститься ивриту, и те, кто лишь технически использовал язык для необходимых социальных и профессиональных контактов, и те, наконец, кто владел ивритом свободно и с блеском. К примеру, художественный руководитель чудного студенческого театра, человек столичный, интеллигентный, с отменным вкусом, одаренный литератор.

В отличие от неврастеника и скандалиста Милославского, этот не устроил из развода с Израилем позорище и посмешище, но исчез тихо, корректно, как говорится, по-английски. И не только говорится, но и пишется: опять же в отличие от Милославского, этот автор все равно изменил русскому языку, но только не с ивритом, а с английским: уже много лет живет он в Лондоне, пишет романы на английском языке, и даже, по слухам, весьма небезуспешно.

Общий же вывод таков: никакое знание иврита не привязывает ни к Израилю, ни к израильской культуре, точно так же, как еврейское воспитание и самосознание не гарантируют (и даже не обещают) сионистский выбор.

Что, впрочем, очевидно: если бы было иначе, сотни тысяч ивриторожденных не возвращались бы в галут, а американское еврейство, чью национальную идентичность не таранила в течение 70 лет никакая советская власть, восходило бы на Сион без усталы и в больших количествах, оттесняя по дороге бескорневое еврейство русское.

...Нравится или не нравится израильская социально-политическая и экономическая система, у репатрианта все равно нет иного выхода, кроме как приноровиться к ней, выучить правила социальной игры и играть по ним с отпущенными ему талантом, азартом, а если повезет, то и с везением. Даже стремление изменить правила ими же – правилами – и предусмотрено, в соответствии с демократическим устройением общества (партии, движения, оппозиции, коалиции и т. п.).

Не то культура. Тут неприятности начинаются сразу – стоит произнести это самовозгорающееся слово.

Два облегченных определения культуры сегодня в наибольшем ходу – антропологическое (совокупность непрагматичных, т. е. выходящих за пределы первичных биологических потребностей, связей, отношений, навыков, как-то: верования, табу, ритуалы, обряды, системы родства) – и социологическое: система общественных институтов и установлений, охватывающая весь жизненный и ценностный уклад данного общества.

Понятно, что социологически отредактированная культура включает в себя антропологическое измерение, а с антропологической точки зрения разница между культурой африканского племени и любой из европейских не качественно принципиальная, но исторически обусловленная и относительная (там – там-там, здесь – симфония, но и то и другое – музыка; ритуальная охотничья пляска и классический балет равно заполняют рубрику «танец»).

В Израиле, с подозрительной быстротой обучившемся политкорректной грамоте, пользуются общими определениями, смешивая их, по необходимости, в разных пропорциях.

Так, руководитель отдела партии МЕРЕЦ по работе с населением Михаль Шохат в рекомендательной заметке «Шаг навстречу» полагает (и предлагает): «Интерес к тому, чем богата культура соседа, привыкшего читать другие книги, есть другую пищу и слушать другую музыку, помогает преодолеть любые барьеры» («Вести-2», 12 августа 1999 года).

Здесь что обольстительно? Та легкость, естественность и непринужденность, с которой «пища» подается наряду и вместе с книгой и музыкой.

Стало быть, если запах французских пикантных сыров способен уложить меня в обморок, я и от прозы Флобера или Пруста должна воротить нос, а желудочно непроходимые немецкие клеточки заклепывают уши, дабы не просочились туда ни Бах, ни Бетховен...

При всем том негоже всю вину за искрометную карьеру поваренной книги в качестве визитной карточки культуры валить на постмодернизм, постсионизм и прочие постскриптумы к окончанию века – в Израиле так было всегда. И десять, и пятнадцать лет тому назад здесь настоятельно советовали знакомиться с новой для приезжих культурой посредством вкусовых пупырышков, вкушать культуру, глотать и переваривать...

Помню, как однажды приятели-израильтяне устроили мне настоящий экзамен на «исраэлиют» – по смыслу слово переводится легко – типа «русскость», но невыносимо по звучанию: израильскость.

Экзамен я завалила: бурекас, фалафель, хумус, шашлык на мангале – все это повергало (и повергает) меня в глубокую кулинарную депрессию. Проходной балл я получила лишь по маслинам, да и те предпочитаю под водку.

«Интерес к пище соседа» (в рамках по-другому понимаемой культуры весьма неприличный) – это вовсе не простое распространенное предложение считать, что культура начинается с кухни, наподобие того, как театр начинается с вешалки. Нет, в переводе на язык здешних культурных навыков это означает, что между вешалкой и театром нет никакой разницы (как между пицей и книгой или музыкой).

Культуру невозможно принять, как приходится принимать социальный или культурный климат, – культуру выбирают. Выбирают свободно. Свою культуру, на которой вырос, обычно любят, в чужую – влюбляются. Проще и даже грубо говоря: культура либо способна обаять и увлечь, либо – нет.

О чем и пойдет речь.

II

... Я не специалист по ивритской литературе и даже не усердный ее читатель. Ни злонамеренности, ни предвзятости здесь нет: просто я уже давно и добровольно сижу на крутой диете: круг моего чтения съезжился до ограниченного набора авторов и жанров первой умственной и душевной необходимости.

В моей небогатой «потребительской корзине» обычная беллетристика (та, что «за жизнь») вообще не содержится, а все свободное место тесно уставлено философией, культурологией, литературоведением и тому подобной скучищей.

Что ж до сердечной жажды, то она всецело утоляется детективами и фантастикой. Но именно эти жанры (фантастика особенно) в ивритской словесности присутствуют столь неубедительно, что

другие литературы могут спокойно спать, не опасаясь ближневосточного конкурента.

(О философии говорить не приходится: сегодня, как сто и двести лет назад, самые влиятельные, оригинальные и взрывные идеи вторгаются в мир с помощью латинского алфавита и слева направо, а не наоборот.)

Но даже моего ущербного читательского опыта хватает для грустного, но искреннего и твердого признания: я не обнаружила ни одного писателя, ради которого мне захотелось бы выучить иврит, как выучивают французский ради Пруста или Камю, русский – чтобы в подлиннике читать Достоевского, испанский – во имя Лорки, или как я сама когда-то выучила польский, чтобы услышать первородное звучание стихов Норвида и Галчинского.

Все это, понятно, факты моей личной читательской биографии, общественного значения они не имеют и за объективные сойти не могут.

Но я – реалистка в том смысле, что признаю наличие реальности за пределами собственного литературного сознания.

Реальность же такова: в Израиле много писателей, написавших (пишущих) много книг, преимущественно романов.

Роман Амоса Оза «Мой Михаэль», включенный в список ста лучших романов XX века (любопытно, правда, было бы прозвать про остальные девяносто девять), должен служить доказательством общего уровня и качества израильской романистики – ведь хорошая книга появляется на свет не от близости с так называемой жизнью, но от тесного соприкосновения с другими книгами.

Только литературная среда порождает литературный четверг и все остальные дни и ночи поэзии и прозы.

Но вот что примечательно: на литературной карте XX века, где кроме заматерелых материков прославленных литератур многоцветно заштрихованы новые архипелаги, острова и рифы, израильский роман не обозначен.

Полувековое присутствие израильской литературы в составе мировой не отозвалось в ней даже отдаленным эхом.

Гремели и сверкали латиноамериканцы, виртуозно пересадившие роман в мифологический краснозем; ошарашил и озадачил французский антироман – он поставил роман на грань жанрового вымирания (что для литературного рода и вида, в отличие от биологического, всегда полезно и желательно); израильская литература не сумела одарить экзотической уникальностью и в то же время всеобщностью даже такую мимолетность, как одно, отдельно взятое поколение, в чем блистательно преуспели и английские романы «сердитых молодых людей», и проза американских битников (включая ее дочернее предприятие – советскую молодежную прозу), и послевоенный немецкий роман, благодаря Генриху Беллю вернувший немцам право на мировой библиотечный абоне-

мент; не привнесла израильская словесность в литературный пейзаж века загадочность, подобную марсианской необычности японской романистики...

Но это – ладно, проехали: пока (за вычетом латиноамериканцев) роман XX столетия оставался лишь побегом европейского романа XIX века, периферийность израильской беллетристики можно было понять, принять и простить: не было у нас XIX века, не было своего Толстого, Флобера, Достоевского, Бальзака, как не было национальной суверенности, свободы исторического действия – этого необходимого жанрового и языкового сырья для тяжелой литературной индустрии.

Но тираническая власть XIX века сильно ослабела уже к 60-м годам века нынешнего (хотя окончательно она, видимо, не уйдет из культуры никогда).

Все ускоряющийся дрейф целых литературных континентов в сторону ирреального и фантастического сегодня очевиден и не требует морского бинокля.

Такие авторы, как Толкиен или Кафка, что в доледниковую эпоху, подобно бездомным айсбергам, совершали свое гордое одинокое плавание в стороне от господствующего душевно теплого течения, ныне признаны абсолютными властелинами колец, оброчающих литературу с жизнью.

Спрашивается: кто еще, кроме евреев, был на протяжении тысячелетий так далек от исторической действительности?

В какой еще национальной традиции запасники и закрома буквально ломаются от переизбытка фантазмов?

Кто еще так самозабвенно занимался математикой пустот, архитектурой воздуха, расходом и приходом небытия, строжайшими предписаниями по части несуществования?

Из невесомой пряжи мидрашей, каббалы, агады, талмудических машалей можно было соткать такую литературную вселенную, в сравнении с которой даже изощренная мифопоэтика латиноамериканцев показалась бы реализмом обыденной жизни.

Вместо этого – упрямое возделывание давно бесплодной почвы, отслеживание и озвучивание безнадежного «здесь» и бесконечного «сейчас» в духе дагерротипного реализма.

Я уверена: существуй в Израиле литература агады – нам бы не угрожал сегодня призрак государства Галахи.

Иными словами, религия, освоенная и стреноженная культурой, перестает быть политически опасной – достаточно вспомнить судьбу христианства в постренессансной Европе.

...«Маленькая трагедия», дважды просмотренная по третьему каналу израильского TV: сцена, на сцене – стол (некруглый), за столом, в центре, – классик израильской литературы Алеф-Бет

Йегошуа под присмотром двух профессоров, Равицкого слева и Идель справа.

Впервые на моей памяти и телеэкране (как, впрочем, и в радиоэфире) Алеф-Бет говорит не о том, что интересно всем и каждому («поселенческая экспансия», «битва за мир», «коварные замыслы правых экстремистов» и т. п.), но о глубоко личном, интимном, наболевшем, т. е. – о литературе.

Соответственно перемене тематики изменился и жанр высказывания: если политическая проповедь неизменно воплощается в суровую инвективу – обвинение в адрес Государства Израиль, то лирическая исповедь спонтанно вылилась в ламентацию – жалобу на еврейскую историю: вот, допустим, он, как израильско-еврейский писатель, имеет такую задумку – сочинить исторический роман. А значит, он для начала обязан описать дом – должен же герой где-то жить?!. Дайте же мне дом (замок, виллу, шале), и я опишу его фронтоны, башни, пилястры, стены, двери, окна, форточки... Но – нет дома.

Дальше проблемы нарастают как снежный ком: одежда. Не голым же выпускать в мир героя, тем более – героиню?!. Дайте же мне фижмы, корсеты, турнюры, подвязки! Не сохранилось ни корсетов, ни подвязок. А еда?!. Должны же героини есть, хоть изредка! Где фамильное серебро? Ложки, вилки, ножи, канделябры?.. Нету. Ни ножей, ни вилок. Что ж это за народ такой – сколько прожил и ничего не нажил?!

Как тут прикажете делать большую литературу?! А ведь задайся подобной неотложной задачей любой европейский прозаик, будь он хоть француз, хоть немец, хоть кто, и в один момент все к его услугам: дом (замок, вилла, шале), улица, фонарь, аптека, архивы, консультанты, музеи...

Эхма! Дернул же черт с умом и талантом родиться еврейским писателем!..

Добрый профессор Равицкий пригорюнился: видно было, что ему жалко классика.

Но профессор Идель, специалист с мировым именем по каббале и еврейской мистике, неумолим.

Если перевести его ответ Алефу-Бет с учетом не только слов, но и выражения лица, интонаций и пауз, получится примерно следующее: только идиот ставит перед собой идиотскую цель. Кому взбредет в голову в конце XX века мечтать о лаврах Вальтера Скотта?

Принцип современной культуры, литературы особенно – это не описание-отражение-изображение, но – интерпретация, комментарий («паршанут»). А это значит, что никогда еще еврейская традиция так точно не попадала в такт и в масть мировой цивилизации, как в наши дни.

Не случайно такой выдающийся современный писатель, как Умберто Эко (при имени Эко Алеф-Бет сильно вздрагивает, как будто у него над ухом кто-то выстрелил), так вот, не случайно Умберто Эко с головой зарылся в изучение еврейских источников. Странно, что в то время, как христиане так высоко ценят наше фамильное золото, мы подбираем давно зачерствевшие крохи с чужого стола. Dixi.

Камера ныряет в зрительный зал. Зрелище грустное: сплошь пожилые скучающие лица. Наезд. Конец.

...Так что не так уж я субъективна и одинока, и мой приватный голос, выясняется, не только зловредное эхо «русской улицы»...

Более того, среди моих ивритских союзников числится не один лишь, пусть и выдающийся, профессор – я знаю немало коренных уроженцев страны – левых и правых, молодых и постарше, образованных, сведущих в современных науках и искусствах, – у которых тоже их родная культура чаще вязнет в зубах и застрекает в горле, чем прочищает легкие, зрение и слух.

Дело не в том, много их или мало, а в том, что, сколько их ни есть, не видно их и не слышно.

И не в том беда, что все знают Амоса Оза и Алефа-Бет Йегошуа, но в том, что не знают профессора Иделя. (Я привлекаю его к тяжбе в качестве обобщенного лица, а не конкретного человека: по жизни и слухам проф. Идель замкнут, суров, гласности не любит. И правильно делает.)

Зато проф. Равицкий, стараниями прессы, радио и TV, запросто вхож в любой израильский дом, пожелавший его принять и выслушать.

Не потому, что он фотогеничнее и занимательнее профессора Иделя или сам по себе интеллигентен и умен, а потому, что активист «Шалом ахшав».

Только советское общество самой злокачественной своей поры (20-50-е годы) могло бы тягаться с израильским по тотальному надзору и контролю политики над культурой.

В России для этого понадобились революции, диктатура, террор.

Но как свободный народ в свободной стране исхитрился добиться сходного результата – сие есть тайна.

Конечно, разница все еще огромна: за эстетическое инакомыслие в Израиле не загоняют в тюрьму, психушку, за колючую проволоку.

Но удушье, непроветренность, спертость общественной атмосферы, какой-то нескончаемый духовный хамсин превращают интеллектуальное меньшинство, в отличие от облаканного и пригретого сексуального, в изгоев, отщепенцев, отшельников и затворников – либо выжимают из страны, как пасту из тубика.

Ах, если бы только эти неблагодарные «русские» покидали Израиль!..

...Были у меня два молодых приятеля-сабры, оба из равноуважаемых, но разнокорневых семей: у одного генеалогическое древо пересажено в израильскую почву из североафриканских песков, у другого – из водообильной немецкой земли.

Оба – обаятельные, умные, талантливые, сильно невзлюбившие культурный истеблишмент, хотя, по всем анкетным данным, включая графу «политические взгляды», к оному принадлежали.

Один великолепно переводил Бодлера (французский – родной язык семьи), другой, неведомо что и кого вспомнив, всецело предался постижению Гельдерлина.

Вконец озлясь, начали они издавать собственный литературный журнал. В свирепом редакционном манифесте объявили войну старшему поколению, но ни в какой особый футуризм и авангардизм не ударились, просто содержали издание на пристойном среднеевропейском уровне (что в здешних условиях, видимо, и следует считать авангардом). Выпустили два номера. Их не кусали, не травили, напротив – даже одобрили: не чужие все-таки!..

Но – не пошло, что-то заело и задело, может, именно это равнодушное благодущие, может, что другое – не знаю. Короче: один из них, тот, что Бодлер, – давно уже в Париже, другой, который Гельдерлин, – в Берлине.

Мы снова говорим на разных языках.

...Без усиленной прополки и пропашки, без всяких лысенковско-мичуринских экспериментов по выведению «нового человека» здесь, в Израиле, пышно произросла и процвела особая порода массового интеллигента. Не интеллектуала в западном смысле, но именно интеллигента, по образцу левого русского радикала 60-х годов прошлого века и его младшего брата, впоследствии ставшего «старшим», – социал-демократа (большевика) начала нынешнего столетия.

(В русской традиции эту гневливую прослойку принято называть «демократической интеллигенцией».)

Демократический интеллигент прежде всего – носитель абсолютного социально-этического (гуманистического) идеала, и носит он с ним, как барышня в допотопную эпоху со своей невинностью, т. е. в полной уверенности, что это и есть «самое дорогое».

Демократический интеллигент одержим двумя страстями – страстью к всеобщей уравниловке и защите всех, какие ни есть, униженных и оскорбленных (в иврите для них припасено одно слово: «медукаим», букв. – «подавленные»), и не уступающей по накалу ненавистью ко всему, что без санкции общества отмечено даром природы (или Бога), ко всему аристократическому, элитарному, «штучному»...

За прошедшие полтора века ни объекты, ни свойства этих страстей не изменились, зато значительно расширился контингент подопечных; угнетенный пролетариат и трудовое крестьянство не то чтобы совсем выпали из круга забот, но все-таки уже не так рвут душу, как прежде.

Сегодня место рабоче-крестьянской «бедной Лизы» занимают: женщины (как класс), флора и фауна (экология), палестинцы, вообще – арабы, гомосексуалисты, лесбиянки, народы Азии и Африки, чьи высочайшие культурные достижения замолчаны, отброшены, сметены и стоптаны империализмом Запада.

Что ж до элит и прочих господ, то их, слава Богу, значительно поубавилось. Нет больше всех этих так называемых великих: поэтов, писателей, художников, ученых... Есть просто и вообще литература, наука, изобразительные искусства, которые тоже демократизировались настолько, что заниматься ими может практически каждый, кто пожелает... Словом, с культом гениев покончено.

Но кое-кто для кое-кого еще остался. И это нестерпимо.

Вот, скажем, не успел Йорам Броновский, один из самых профессиональных, квалифицированных литературных критиков Израиля, а на мой взгляд, и самый лучший, – так вот, не успел он отозваться статьей на столетие со дня рождения Борхеса (ау, Нурит! где ты? Отзовись!..), как тут же огрызнулся некто Ицхак Кертчук («Гаарец», 3 сентября 1999 года).

Оказывается, Борхес был всего лишь плодовитый писатель (т. е. много всякого понаписал), но – бесплодный человек. А почему? А потому, что как белый латиноамериканец был он чужим на земле, насчитывающей сорок тысяч лет собственной цивилизации. Он интересовался культурами Европы, Дальнего и Ближнего Востока, а коренной культуры и ее носителей высокомерно не замечал. Говорят, правда, будто бы аргентинское танго он воспел. Ну воспел... Но вдумаемся: что есть танго? Это всего лишь «городская мелодия, которая под видом мужской песни о несчастной любви скрывает тоску эмигранта по покинутой родине».

(Я бы, конечно, спросила, чем это эмигрантская тоска хуже всякой другой тоски, все разновидности которой тысячелетиями перебирает искусство? Но спрашивать у таких товарищей бессмысленно: они живут в мире сплошных ответов, как это и принято у фанатичных сектантов.

Тем более что криминальность танго, надо понимать, – не только в его эмигрантском надрыве, но и в том, что оно – «мужская песня».

Мужчины в роли классового врага – это, конечно, новинка, но вот «эмигрантской тоской» нас не удивишь: кто не помнит презрительного аккомпанемента, сопровождавшего слова «эмигрант», «эмигрантщина» в течение всех семидесяти лет советской власти?

Причем в обязательном сочетании с эпитетом «бесплодно»: «бесплодная эмигрантщина» звучала всегда слитно, как имя-отчество.)

Короче: не было у Борхеса корней в южноамериканской почве, «поэтому он не создал ничего БОЛЬШОГО» (мною подчеркнуто. – М. К.).

«Большого» – это как надо понимать? Роман из народной жизни страниц эдак на пятьсот? А Чехов почему не написал ни одного романа? Потому что не был связан с русским революционно-освободительным движением? Русским крестьянством? Не отстаивал право азиатских и кавказских народов на независимость?

Смешно? Не смешно. Хотите – верьте, хотите – нет, но именно такое обвинение в адрес Чехова я слыхала напрямиком из уст доктора социологии Иерусалимского университета, кстати, латиноамериканского репатрианта в прошлом.

И еще о Чехове.

Хотя его, в пику дворянской ветви русской классики, принято считать художником и голосом разночинно-демократической интеллигентской массы, именно Чехов впервые зафиксировал и высмеял набор демократических пошлостей и либеральных глупостей, окаменевших в составе живого языка уже к концу XIX века.

«Как можно заниматься какими-то букашками, когда страдает народ?» – негодует героиня чеховской «Дуэли».

Я вспомнила об этой жалкой дуре во время встречи израильских ученых из института Вейцмана с израильскими же парламентариями. (С интересом следила за их диалогом по 33-му каналу TV несколько месяцев тому назад.)

Разговор явно не клеился, несмотря на все усилия Далии Ицик, старательно игравшей роль гостеприимной хозяйки, – она возглавляла тогда комиссию Кнессета по науке и технологии и, по-моему, сильно перед учеными робела.

Обе договаривающиеся стороны скучали. И только когда подал голос Деди Цукер, невеселое оживление пробежало по лицам гостей.

А сказал Деди Цукер следующее (передаю своими словами, но очень близко к тексту): «Я не знаю и знать не желаю, что такое клетка. Наука интересуется меня лишь в той мере, в какой она соприкасается с социальными проблемами!» Вот так. А литература, видимо, интересна и важна постольку, поскольку обучает демократии, правам человека, мирному процессу, уважению к законным правам палестинского народа, и т. д., и т. п.

Что хотим – то имеем.

Я не припомню ни одного израильского писателя, чье выступление на политическую тему хоть чем-нибудь – лексикой, оборотом мысли, аргументами – отличалось бы от речи любого партийного функционера.

Но ведь какая-то разница между писателем и партийцем должна существовать?!.. Или нет?..

Есть один несомненный признак, по которому можно судить о влиянии литературы на общество и качество самой литературы.

Как пространство прогибается вблизи больших масс, так большая литература меняет пространство языка, в первую очередь – область высказываний, суждений, оценок, т. е. всего, что составляет осмысленную речевую деятельность.

Литература, и только литература в узком и широком смысле – от художественной до научной – заказывает тип высказывания, устанавливает максимальную планку, к уровню которой суждение стремится, и минимальную, ниже которой нельзя соскользнуть, не рискуя выпасть за пределы культурной нормы.

Я настаиваю на том, что именно уровень, тип и качество высказывания – это центральный нерв того, что можно назвать русским опытом, резко отличным от опыта израильского.

Да, конечно, русский опыт – горький опыт, невозможный опыт, но и опыт невозможного тоже.

Попав в Россию, социализм звереет, а капитализм дичает; демократия оскаливается пародией на диктатуру, как раньше диктатура выглядела пародией на демократию; за прежний террор государства по отношению к обществу теперь общество мстит террором по отношению к государству, – в России, похоже, каждый последующий этап звенит цепями предыдущего, т. е. опровергает его, руководствуясь одной и той же неизменной схемой и сметой.

Все так. И еще много, много сверх того.

И все же существует одна заповедная область, где Россия не устает удивлять и восхищать, – это область культурного творчества.

Как будто некогда в этот пугающе огромный и буйный национальный организм проник вирус культурной лихорадки, который не удастся победить ни политической, ни экономической, ни военной блокадой. Его удастся на время заглушить, ослабить, усыпить, что и проделывалось в течение семидесяти лет то с непременно, то с переменным успехом, но изгнать его полностью не удавалось никогда.

Стоило профилактическим кампаниям чуть-чуть поутихнуть, и лихорадка вспыхивала с новой силой.

Так было в 50-е годы, после смерти Сталина, продолжалось в 60-е, прорывалось в 70-е и 80-е – вплоть до самого конца затянувшейся и застоявшейся социалистической эры.

(Я говорю лишь о тех сгустках творческой энергии, которым удавалось пробить круговую оборону официоза и вспыхнуть на его поверхности.

Что ж до общественных глубин и подполий, там творческая свобода не глохла ни на день, ни на миг.)

...Как бы ни оценивать плоды уже почти пятнадцатилетней свободы слова, равной которой Россия не знала, один результат, по крайней мере, неоспорим: это количество и качество опубликованных текстов, ранее в культурооборот не поступавших.

Я имею в виду не художественное или религиозно-философское слово, бывшее некогда под запретом, в изгнании или рассеянии, – оно в основном собрано, напечатано, изучено и доступно не со вчерашнего дня.

Нет, на этот раз речь идет о литературной «текучке», потоке публикаций от начала века до примерно второй половины 20-х годов. Это голоса живой жизни, которая хоть и хваталась за слово и спасалась им, но – без претензий застыть в нем навечно: литературные, театральные, художественные рецензии, актуальная публицистика и журналистика, но самое главное, пожалуй, – это извлеченные из государственных и семейных архивов, чудом уцелевшие дневники, письма, исповеди, размышления частных людей, свидетелей, очевидцев, наблюдателей, так и не пробившихся в заглавные действующие лица истории. Общий интеллектуальный уровень непредставимо, ошеломляюще высок, будь то проходная рецензия неизвестного критика, дневниковая запись городского интеллигента или чиновника, письмо на фронт – германский, белый, красный...

Это и была литература «серебряного века» в ее прямом социальном действии.

Теперь, взглядываясь в русские главы своего прошлого, я понимаю, что усилия нескольких поколений, включая и мое, «шестидесятное», ушли на то, чтобы тот уровень если не достичь, то хотя бы вспомнить. И вспомнили. Иначе советская власть готовилась бы отмечать столетие со дня рождения.

Эта масса новых публикаций – чтение, доступное и увлекательное для всех, без исключения, но особенно полезное тем, надеюсь, уже немногим упрямам, кто еще всерьез полагает, будто первое большевистское правительство состояло сплошь из подлинных интеллигентов, а российская трагедия только в том и заключается, что каждое новое послеленинское руководство ожлоблялось все больше и больше с тяжелой руки и крутого почина главного жлоба.

Нет, не так это было: достаточно сравнить письменность Рыкова, Луначарского, Троцкого, Бухарина с наследием их сверстников и оппонентов другого (первого) класса, чтобы увидеть, в каком умственном и культурном захолустье ставились голоса будущих распорядителей российской и мировой истории.

Так у них. А что у нас?..

...Любит ли кто-нибудь из вас израильское радио так, как я его люблю? Надеюсь – нет: чтобы ивритский радиоэфир вошел в столь пагубную привычку, необходим особый распорядок дня, и

возникает он не от хорошей жизни – я намекаю на поганое здоровье, тягостную скованность в передвижении и общении.

Только радио спасает мой иврит от вырождения в экспрессивное мычание и удерживает связь с народом Израиля на приемлемом патриотическом уровне: я бесконечно рада, что у моего народа всегда есть с кем поговорить, даже если не о чем, и есть что сказать, даже если некому.

Голоса политиков по радио благодаря домашней акустике звучат по-особому интимно и убедительно, так что и впрямь проникаешься: твоя судьба – в их руках.

Прогноз погоды, столь важный для подавляющего большинства, и тот для меня неизмеримо важнее: ведь я погодой практически не пользуюсь, мною движет только национальная солидарность.

Я не позволяю себе отключаться даже на время рекламных пауз, хотя в принципе рекламу не выношу, но то – реклама вообще, а это – реклама израильская: в отличие от великого поэта, моя цель не в том, чтобы быть понятой моей страной, но в том, чтобы понять мою страну, и меня не устраивает, если она – страна – пройдет стороной.

Все голоса меня волнуют, интересуют все программы, но одна все же привораживает больше других: «Пинат тарбут» – «Угол культуры».

(Тут, конечно, и самый ленивый сострит, быстренько обменяв «культуру» на «угол»: «культура в углу». И, к сожалению, окажется не так уж не прав, как мы дальше увидим.)

Я прикипела к этой рубрике не только в силу узкопрофессиональных интересов.

Газетная, журнальная, радиорецензия – жанр куда более ответственный, сложный и показательный, чем принято думать. Это синхронный перевод чувства и впечатления на язык абстрактных понятий, логических конструкций и обоснованных суждений.

В сущности, это умственная работа, которую проделывает любой человек, когда (и если) он делится своим культурным переживанием с другим человеком.

Рецензент как профессионал способен сделать свое впечатление всеобщим или почувствовать общее отношение, сформулировать его на разумно убедительном уровне.

Скажем так: рецензия – это своего рода «солдат на марше», оперативный жанр, с помощью которого мы можем прознать, что именно волнует данное общество и каковы его интеллектуальные ресурсы, чтобы перевести мурашки в спине, слезы в горле и дрожь в коленках в членораздельную человеческую речь.

(В качестве надежного источника аналогий и поучений я обычно обращаюсь к материалу и опыту русской культуры, что естественно. И все же помню: тот переворот в сфере гуманитарной мыс-

ли – от структурализма до постмодернизма, – которым ознаменована вторая половина нашего века и которого родина – Франция, начался именно с литературной критики, конкретно – с рецензий Ролана Барта.

В отличие от традиционной, такая литературная критика вовсе не озабочена исключительно и преимущественно художественной литературой, обширное поле ее зрения до горизонта заполнено театром, кино, фотографией, политикой, рекламой, уличными происшествиями, т. е. практически всем, что нуждается в оценке, анализе и суждении.)

...Итак, на основании длительного пребывания в «уголке культуры» что я могу сказать о душевном складе израильского общества? Прежде всего я скажу, что это общество повышенной эмоциональной возбудимости: что ему ни предложи и ни покажи, оно на все откликается словом «хавайя». (Обычно переводится как «переживание», что не совсем точно: это переживание плюс событие.)

Так или иначе, но именно «хавайя» образует стержень любой рецензии, на который нанизываются все остальные слова.

А что собой представляет интеллектуальное обеспечение столь чрезвычайной душевной отзывчивости?

Не могу знать: нет данных. Да и откуда им взяться, если типовой отклик на любое явление культуры, независимо от того, кто именно и на что откликается, полностью исчерпывается нижеследующим словарем, не по вине составителя удручающе кратким?..

«Мадхим» – «восхитительно», «мерагеш» – «волнительно», «ногеа ла-лев» – «душещипательно», «ногеа ла-лев ад дмаот» – «душещипательно до слез», «коре эт ха-лев» – «душераздирающе», «билти рагиль» – «необыкновенно», «нифла» – «чудесно», «папшт нифла» – «просто чудесно», «эноши» – «человечно», «коль-ках эноши!» – «так человечно!», «универсали» (очень важное слово!) – «общечеловечно», «актуали» – «злободневно» (комплимент); обязательно для театральных и кинорецензий: «кама зе ала?» – «почем?» и «шовер эт ха-купот» – «кассовый успех», «муцлах» – «успешно», «ло муцлах» – «не успешно», «маврик» – «блеск!», «максим» – «чарующе», «погеа» – «причиняет боль», «мамаш» – «ну прямо-таки!», «маалив» – «оскорбляет», «мератек» – «не оторвешься», «мамаш хавайя»...

Вооружась этим списком, вы смело можете выступать в любой культурной программе.

А теперь представим, что речь идет не о речи одного профессионального слоя, но одного, отдельно взятого человека. Что можно сказать о нем как о личности? Много и нехорошо: ясно, что человек этот небольшого ума, невысокого полета, звезд с неба не хватает да и вряд ли понимает, зачем и кому это нужно; в близких

связях с искусством не замечен, в обществе любителей книги не состоит. Языком, вернее – языковой пеной пользуется неряшливо и по случаю, дабы оповестить мир о своих умственно-душевных шевелениях. Впрочем, скорей всего и шевелений-то никаких нет, а – так, пустота, вынужденная реакция на внешние раздражители, элементарная раскладка мира по принципу «нравится – не нравится» («сладко – горько», «холодно – жарко» и т. п.).

Делаем скидку: допустим, что цех критиков не принадлежит к числу передовых производств.

В конце концов, даже в процветающей культуре встречаются неуспевающие участки. В Израиле, к примеру, к таковым, помимо литературной критики, относится научно-популярная литература и журналистика. (На что сильно жаловались израильские ученые во время незабываемой встречи с депутатами Кнессета. Безответно.)

Но разве из этого следует, что травмированы и соседние участки? Увы – следует.

...Умер Ханох Левин, самый, быть может, оригинальный, колючий и неприрученный израильский писатель.

Смерть художника – не только большая утрата, но и большое культурное событие, как ни цинично это звучит. Отметим его израильские СМИ постыдно глухо, скороговоркой, на задворках более значительных событий, как-то: очередная гримаса «мирного процесса», свежий ляп кого-то из политиков, перебранка коалиции с оппозицией и т. п. Нет, кое-что, конечно, все-таки имело место: первый канал TV показал поминки по Левину группы его ближайших сподвижников и коллег по театру.

Прелюбопытные вещи узнала я о покойном: например, что театр Левина «пашут мератек», да и вообще как писатель он «билти рагиль» («необычный», «незаурядный»); что, несмотря на видимые миру пессимизм и мизантропию, был он на самом деле «добрый человек из Тель-Авива», «ахав эт бней-адам» («любил людей» – это Ханох-то Левин!), ну и конечно, «актуали» («злободневный») и «универсали» («общечеловеческий»). Вместе («яхад»).

А еще он был пророк: так, например, когда двадцать лет назад один из его персонажей произнес со сцены: «Поцелуй меня в задницу», это вызвало шок, а теперь все так говорят.

Среди отрывков из театральных спектаклей по пьесам Ханоха Левина, показанных в тот вечер на TV, один, из самого последнего, только готовящегося к показу спектакля, меня поразил: диалог двух очень пожилых людей – мужа и умирающей жены.

Об актерах умолчу, но текст!.. Прямой парафраз чеховской «Скрипки Ротшильда»! Что это? Случайность? Совпадение? Невозможно. Авторский замысел?

Вот он – предлог, счастливый повод сказать о писателе нечто и вправду универсальное, что роднит израильского драматурга с мировым театром или отличает от него.

Ни слова, ни полслова... Добро бы только актеры, но пропустил и промолчал профессор Менахем Пери, известный литературовед и критик. Он, впрочем, поделился одним воспоминанием, тоже изрядно меня удивившим: оказывается, когда-то проф. Пери в течение двух лет трудился, не покладая пера, на неухоженной ниве театральной критики. А потом перестал.

И только тогда Ханох Левин сказал ему: «Послушай, как ты мог заниматься тем, чего нет? Нет в Израиле театра».

Если это правда (а с какой стати нет?) – в каком тусклом безвоздушьи жил лучший драматург страны!

При всем том я уверена: доведись с кем-нибудь из участников этого беспмятного вечера встретиться запросто, на улице, в кафе, в гостях, получился бы нормальный интеллигентный разговор, а не вялый обмен междометиями.

Но, выходя на широкую аудиторию, в массы, ни один из них и никто другой не утруждает себя желанием и необходимостью выговорить что-нибудь непохожее на сонное бормотание.

Потому что инфантилизм, интеллектуальная лень, умственная одурь, штампованность и симуляция мыслительной деятельности – это общепринятая норма общественного сознания.

Только в такой атмосфере стал возможным и действительным «мирный процесс»...

III

Шимон Перес влюблен в Интернет, как Ромео, наконец-то отыскавший Джульетту. Или как шаман, трепетно прижимающий к груди свой шаманский бубен.

И Шимон Перес бубнит: Интернет – это мир будущего, мир XXI века, и он, этот мир, уже здесь, с нами. Интернет переворачивает все старые представления: если раньше учились, чтобы знать, то теперь нужно знать, чтобы учиться, и только Интернет в силах справиться с этой головоломкой.

Рядом с Интернетом, усиленные и поддержанные им, вышагивают демократия, экономическое процветание, права человека и общество, основанное на равенстве всех его граждан, ибо перед Интернетом все равны.

Интернету нет дела до национальности, вероисповедания и цвета кожи того, кто нажимает на клавиши, – ведь и у самого Интернета нет национальной принадлежности. Рассудите сами: разве

не смешно говорить об американском, европейском, африканском или арабском Интернете?

(Рассудила: об африканском и арабском действительно смешно.)

Интернет – общечеловеческая ценность, перед ним бессильны национально-государственные границы, он созидает новую солидарность. Перед лицом Интернета мы обязаны пересмотреть наши устаревшие идеологии, отбросить предрассудки и т. д., и т. д., и т. д..

(Последний раз размышления Ш. Переса на интернетную тему я внимательно выслушала по 3-му каналу израильского TV в середине августа.)

Когда Ш. Перес говорит об Интернете, лицо его светлеет, а голос сияет, как у поэта, читающего свежесочиненные стихи: чувствуется, что в Интернете он обрел то, что чуть было не потерял безвозвратно в связи с безвременной кончиной Интернационала и международной солидарности трудящихся.

В своей вере, надежде и любви к последнему чуду технической мысли пророк нового Ближневосточья не одинок – в затылок ему дышит толпа великих теней, гигантов мысли, отцов, дедов и дядей демократии и всеобщего благоденствия.

Так некогда «неистовый Виссарион» со слезами умиления на глазах следил за укладкой шпал первой в стране железной дороги, по которой Россия на всех парах помчит в светлое будущее.

Будучи пророком, Белинский даже точно знал время прибытия и не утаил его от своих современников: 1941 год. Прямо как в воду глядел, отчего и попал пальцем в то самое небо, где сталинские соколы намертво схватились с гитлеровскими ястребами.

Следующее за Белинским поколение в образе Мессии грядущего дня видит уже не пар и шпалы, но ланцет и пинцет: прогрессивное студенчество с восторгом наблюдает конвульсии распятой лягушки, прозревая в них схватки нового мира, в котором нет религии, лжи и насилия, а человек в нем работник.

Было и так: заглянув однажды на передовую манчестерскую мануфактуру по делам своего свечного заводика, прозябающего где-то в Вестфалии, Фридрих Энгельс окинул пытливым оком неприветливое помещение, зверского вида механизмы, понурых рабочих – и вмиг просек: кентавр из паровой машины и пролетария – это и есть тот апокалиптический зверь, который захоронит этот неправильный (читай: неправедный), негодный и стертый, как старый фартинг, мир. А затем...

И вот уже склонившийся над рукописью твердолобый мечтатель выводит формулу всеобщего счастья, коему для начала надлежит озарить одну, отдельно взятую темную страну: «Коммунизм есть... власть плюс электрификация...»

Эта эстафета веры в спасительную и преобразующую роль науки и техники передавалась, подобно олимпийскому факелу, от одного исполина к другому, пока не забрела на нашу пустошь.

...На Востоке время круглое, как солнце, луна или живот беременной женщины. Это сезонное время, послушно и сонно воспроизводящее природный цикл восходов, закатов, зачатий и умираний.

Ходи себе по времени, как лошадь в чигире, – это такой водопроводный снаряд для поливки садов, виноградников, бахчей, баштанов...

Лошадь вертит стоячий вал, этот обращает шестернею лежащий вал с колесом, через колесо над колодцем-копанью на веревке перекинута круглая цепь ковшей-бадеек; они черпают и выливают воду опрокидкой через колесо в корыто, откуда она растекается скатными канавками...

А поднимешь от корыта глаза к небу, и тут же они упрутся в круглую звезду Чигирь – утреннюю Венеру, восходящую и заходящую, как чигирная бадья.

Главное искусство – расположить канавки. Расположишь правильно – и время произрастет собственными силами и соками, неспешно, как зерно в земле, как плод в чреве...

Райское блаженство!..

Но давным-давно евреи (а вслед за ними христиане) встрепнулись, вышли из биологической комы, разомкнули и разогнули окружность, вытянули ее в прямую линию, обозначили начало, наметили конец, натянули, как тетиву, и запустили в пустоту, определив направление и цель полета.

Природа получила отставку в качестве естественной среды обитания человека, – ею стала История: целенаправленное пребывание во времени.

Так был открыт Запад.

И тут зашевелилось во мне нехорошее подозрение: а что как, вернувшись на Восток, в место своего изначального проживания, т. е. описав полный круг в пространстве, мы замкнули Время?

Пусть на время, пусть не время вообще, не всеобщее время (хоть и здесь есть над чем подумать), пусть только собственное, еврейское время, но замкнули..

(Не потому ли так распространена в разговорном иврите мало-приятная, но многозначительная идиома: «маагаль нисгар» – «круг замкнулся»?..)

А в окружности, известное дело, что конец, что начало – все едино, любая точка содержит свойства всех остальных.

Если мои опасения верны, мне не нужно нырять в глубь веков, чтобы подсмотреть ход еврейского времени, – там, в глубине, тем-

но, пыльно, страшно и чересчур давит масса танахических аналогий, – нет, я воспользуюсь свойствами окружности и сведу конец века с его началом.

Пусть время действия будет 1903 год, а место действия – Россия.

Ранний рассвет XX века, почти неотличимый от поздних сумерек предыдущего.

Еще скучает в Ясной Поляне Толстой – ему суждено промаяться смертной тоской в новом столетии еще целых семь лет.

И Чехов тоже еще жив, он умрет через год, хотя фраза «Ich sterbe» уже написана на его лице и ждет, чтобы он ее произнес. Но именно в 1903 году Чехов напишет свой последний рассказ «Невеста», полный, как нас учили в школе, светлых, то есть революционных, надежд на будущее... Правильно учили: тайноречь русских революционеров начиная с 60-х годов XIX века под «невестой» подразумевала революцию.

Учили да недоучили: в традиции, куда более дальней и мощной, чем революционно-демократическая, – христианской, православной-церковной – «невестой» именовалась смерть, точнее – душа, освобожденная смертью для встречи с женихом небесным.

Как человек глубоко православный и, одновременно, демократ-разночинец, Чехов свободно владел обоими языками и распорядился ими по своему усмотрению.

Так что чего в рассказе больше – светлых надежд или мрачных предчувствий, – пусть решает российское министерство просвещения, не мое дело.

Я же, со своей стороны, могу лишь прибавить, что, независимо от Чехова, 1903 год и впрямь впору объявить «невестиным»: именно в 1903 году стали невестами, а затем и женами Л. Д. Менделеева, в супружестве госпожа Блок, и Н. И. Седова, она же – мадам Троцкая-Бронштейн.

Да и само время заневестилось, невообразимо молоды все – и будущие палачи, и будущие жертвы: Ленину – 33 года, Александру Блоку – на 10 лет меньше, Сталину – и тому всего 24...

У совсем еще юных Пастернака и Мандельштама ломается голос, и кто сейчас даст гарантию, что прорежется именно поэтический?

Но повесть моя не о всех вышеупомянутых, не о них, так крупно наследивших в истории, что скорее история исчезнет, чем сотрутся следы.

Нет, я намерена оживить одну неучтенную тень, промелькнувшую неслышно и канувшую безымянно: несусветный псевдоним, украшающий то единственное, что от моего героя осталось, – книгу.

Псевдоним до сих пор раскрыть не удалось, несмотря на усилия лучших из мне известных библиографов. И все же я берусь заполнить биографической плотью этот случайно уцелевший контур:

книга рассказала об авторе все, хотя посвящена она не его личной жизни, но исключительно отвлеченными размышлениями на тему: «Индивидуальность и прогресс».

Книга: 338 страниц крупного, хорошо набранного шрифта, издана в Санкт-Петербурге в 1903 году, отпечатана в частной типографии Н. Н. Клобукова, что на Пряжке (строение под номерами 1-3)...

Чем замечательна и занимательна эта книга, вынесенная случайной волной на мой засушливый берег?

Занимательна всем, а замечательна тем, что автор, солидную фигуру которого мы отслеживаем то у Летнего сада, то на Фонтанке, то среди праздной и праздничной толпы на Невском, где он, быть может, неоднократно натывается невидящим взором на ангелоподобный лик самого Александра Блока, – так вот, говорю вам, мой герой совершенно равнодушен и к Блоку, и к Неве с Фонтанкой, и к шелковому шороху дамских юбок, и к самим дамам в их шляпах с перьями и вуалях с мушками; он по-бетховенски глух к пушкинскому цоканью карет, к приветственным гудкам первых автомобилей и славной музыке проходящих мимо полковых оркестров...

Короче: он неуязвим и недоступен для всей этой влажной и, как мы теперь понимаем, уже прощальной красоты, ибо своим внутренним взглядом требовательно и неотступно прикован к еще нетронутой целине распростертого перед ним нового века.

Что же он видит? А вот что:

«Скорость умственного движения растет в геометрической прогрессии, результаты личных усилий превосходят ожидания, зависимость между причинами и следствиями становится все очевиднее, мистические пелены спадают одна за другой, – и человек чувствует себя жизнерадостным творцом чудес, сознающим в своем личном сознании единственное горнило для переработки сырых руд природы в ковкий материал социального прогресса... Предвидеть же конец этому совершенствованию решительно невозможно.

...По мере усиления рабочего класса возникает на наших глазах, – заметим, без катастроф (я тоже прошу это заметить. – М. К.), местное самоуправление. Рабочий класс поднял бремя приведения в равновесие прав труда и капитала. Но проходит критический момент, оформленная классовая идея усваивается всем обществом, – и класс утрачивает свою компактность и организацию»...

Так и хочется поработать Воландом и послать своего героя, как Степу Лиходеева, только не в Ялту, а дальше – в Лондон, где именно сейчас, в 1903 году, проходит съезд русской социал-демократии

и где Ленин, зеленый от злых бессонниц и ненависти к идейным оппонентам, провел резолюцию о «революционной диктатуре пролетариата» и сколотил, пока еще на живую нитку, но с размахом, авангард русского рабочего класса – партию большевиков.

Вот тебе и утрата организации! Знал ли наш автор что-нибудь об этих бурных лондонских каникулах русской революции?

Может, и не знал (тоже мне, событие!), а если и знал, наверняка пренебрег: ведь по его выходило, что революционному радикализму отказано в будущем, – он уже в настоящем полностью преодолен:

«Развитие индивидуализма поборет, мы не сомневаемся, недуги анархизма, как побороло уже коммунизм». Вот так. Побороло. Уже.

С революциями покончили. А как с войнами?

Через год начнется война (русско-японская) и, меняя имена и даты, пропадет все XX столетие, до самой последней его черты, да и тут, судя по всему, не остановится, но просто, поставив черту стоймя, впишет себя в порядковый номер следующего века.

Так будет или не будет? Предвидится или не предвидится?

Не предвидится.

Конечно, не все благополучно: еще кое-где шовинистический угар портит воздух, а бряцание оружием режет слух, да и недавняя англо-бурская война чуть было не опорочила доброе имя *«высокоинтеллигентных и свободолюбивых англичан»* (характеристика автора).

Но это так, мелочь, – ведь:

«Война все реже тревожит Европу. Современные народы начинают понимать ее безусловный вред. Поэтому развитие милитаризма нужно скорее отнести за счет неустановившегося доверия между народами, нежели к замыслам тирании. С каждым днем пропаганда вечного мира раздается все громче. Военная слава переходит в разряд сомнительных доблестей»... И т. п., и т. п. ...

(Я не злой человек, но каждый имеет право увидеть свои идеи осуществленными, а поэтому я от всей души желаю автору дожить не только до 1914-го, но и до 1941 года.)

А пока что будущее в глазах героя выглядит таким же надежным и блестящим, как золотая десятка в 1903 году, потому что:

«Жизнь вмещает отныне идею не спорадического, а вселенского единения человечества».

...Еще Вольтер издевался над Панглосом с его пошлой проповедью, что-де «все к лучшему в этом лучшем из миров». Но Вольтера знают все: вот он, запечатленный в мраморе безгубый череп мыслителя, маска вечно смеющейся смерти, Йорик, сострадающий бедному Гамлету...

А Панглос?.. Кто таков?.. Кто прятался под этим носатым ложно-классическим именем?

Вот я и спрашиваю: кто он, наш Панглос из города на Неве?..

Он – еврей. Прямая улика – псевдоним: Эвиль-Рамовичь.

Почему псевдоним? Да потому, что фамилии такой нет и быть не может.

Как правило, псевдонимом человек хочет сказать о себе нечто неповторимо личное, особенное, что наследственная фамилия, озаченная родовым гнездом, не предусматривает.

Иными словами, псевдоним – это бунт частного и личного против общего и коллективного.

Что ж особенного хотел поведать о себе мой персонаж, против чего взбунтовался, укрывшись под двойной защитой комического сочетания, больше похожего на имя-отчество (что-нибудь вроде «Эмиль Петрович»), чем на двойную, даже выдуманную фамилию?

Двойной фамилией имперское ухо не оглушишь – один Сумароков-Эльстон чего стоит! А Голенищев-Кутузов? Бонч-Бруевич? Карнович-Валуа? Или та, наконец, «двойчатка», что всех известней, милее и русее – Петров-Водкин?!

Однако, несмотря на пригожий славянский суффикс «-ович», даже с помощью самых ловких щипцов невозможно извлечь русский корень из сращения Эвиля с Рамовичем.

Есть только один язык, в котором слово «эвиль» свободно дышит всеми своими гласными в мягкой согласной упаковке, и язык этот – иврит: אֵוִיל, в переводе – представьте! – «глупец, дурак».

Слово археологическое, в современном разговорном иврите почти не употребляется.

В свете счастливой (со словарем) находки как-то померкла загадка Рамовича: то ли, с оглядкой на иудейские древности, автор намекает на Раму – завизированный ТАНАХОМ город, славный плачем праматери нашей Рахели; то ли перед нами просто-напросто еще раз обрезанный Абрамович. (В этом случае он и есть подлинная фамилия автора.)

Как бы то ни было, одно несомненно: автор обучался древнеродному языку либо в хедере, либо с домашним учителем.

Отчего мой герой самораспределился в дураки, мне, признаться, совершенно непонятно.

То есть, конечно, сейчас, с высоты и дальности векового опыта, отделяющего нас от автора, – его сочинение иначе, чем памятником человеческой глупости, не назовешь. Это почти уникальный

по чистоте образец куриной слепоты, поразившей человека перед лицом будущего.

И добро бы только о грядущем шла речь, – тут выигрывают лишь пророки, гении или люди выдающегося аналитического ума – дара, не менее редкого, чем пророческий.

Но Рамович и в настоящее тыкался, как теленок, – оттого и с будущим продулся вчистую: какой прогноз ни возьми – все вышло боком, комом, с точностью до наоборот.

Но, черт возьми, он-то этого не знал!...

Судя по книге, был он весьма и весьма образован: как изюм в сдобное тесто, в текст щедро натыканы латинские, французские, немецкие словечки и выражения; без тени робости автор полемизирует с Ницше, ссылается на Герберта Уэллса, чья слава только-только взошла, – стало быть, держит себя в курсе книжных новинок.

Но он не цепляется за штаны авторитетов, – его собственная мысль свободна и неукротима.

Так, если в первой главе она – мысль – бесстрашно погружается в пучину тысячелетий, дабы проследить *«Власть типов в древних культурах»* (название главы), то в главе последней взмывает в поднебесье и сигает по ту сторону горизонта, чтобы подвести итоги и наметить перспективы развития личности на сотни и сотни лет вперед.

Надеюсь, мы уже достаточно подготовлены всем предыдущим и не содрогнемся от перспектив:

«...Человеческий интеллект подвергнется коренному изменению, логика наша найдет способы более уверенного применения принципа аналогии и сократительные приемы заключения и систематизации» и т. п...

Однако наш автор выказывает не только незаурядный теоретический ум, но и завидный практический разум: из текста однозначно вытекает, притом бурно, с пеной и до последней капли, что Абрамович – крестился.

...Когда протестант, протестуя против Бога – крохобора и процентщика, – переходит в католичество, когда католик, меняя толлику оставшейся веры на всю ее таинственную полноту, принимает православие, а православный признает несравненную правоту буддизма, – значит, такое им вышло озарение свыше, такая выпала карма. И никто им не указ, и мораль тут не судья, не ответчик и даже не свидетель.

Но крещение еврея – это совсем другой сюжет. Это драма отступничества, где конфликт разыгрывается вовсю не между одной верой и другой, но между верой и верностью, а проблема морали

изначально видится как пробел в морали, переход на сторону вражьей силы ради личной выгоды.

На рубеже XIX-XX веков массовое крещение евреев так корежит русский пейзаж, что Чехов вынужден отреагировать полубрезгливой заметкой в записной книжке:

«Легкость, с которой евреи меняют веру, многие объясняют равнодушием» (религиозным, надо полагать. – М. К.).

Но, рассуждает Антон Павлович, у порядочного человека даже равнодушие должно быть религией.

Иными словами, Чехов обвиняет выкрестов в отсутствии самоуважения и чувства собственного достоинства, т. е. того главного качества, которое есть у джентльмена, «порядочного человека» и которого нет у них.

Спорить я не могу: во-первых, он – живой свидетель, во-вторых – Чехов.

Но за бедного Эвиля я все-таки замолвлю слово: легкости у него нет и в помине.

Мой герой переполошил всю мировую историю, поднял столб пыли со множества ученых томов, энциклопедий и справочников, растолкал и призвал к барьеру древние и новые народы – от эллинов и иудеев до немцев и русских, – чтобы доказать: нет у «мыслящей личности», как говаривали в ту эпоху, другого выхода, кроме как признать универсальную, последнюю и окончательную истину христианства:

«Участие каждого из нас – белых, желтых и черных; званых и незваных; христиан, евреев и язычников – в равной степени в чистой муке Христова сердца, в великой жертве за мир Личности – вот где символ нашей равнозначительности и солидарности».

Возможно, первые страстные споры автор вел как раз со своими соплеменниками, и не исключено, что именно один из них, в ответ на развернутое Рамовичем видение уже наступающего золотого века, отвесил презрительное «дурак!»...

Если так – то псевдоним не самоирония, но вызов зарвавшемуся единомерцу.

Во всяком случае, в заключительных строках Эвилева сочинения можно расслышать глухой отзвук той самой полемики:

«Значение индивидуальности ясно большинству интеллигенции и без нашего свода фактов...»

Стало быть, где-то в отдалении затаилось упертое меньшинство, которое книга «Индивидуальность и прогресс» призвана ущучить.

...По давней традиции «порядочных» евреев Германии и России Эвиль-Рамович принял протестантизм, в котором вполне грамотно видит *«не мистерию, а этическое учение на теологической основе»*.

Других личных мотивов крещения и желания вместе с «большинством интеллигенции» поучаствовать в благородном деле общечеловеческого прогресса я у своего героя не просматриваю.

От его стиля, тяжелого, занудного и несговорчивого, как мебель в старокупеческом доме, так и веет педантичной ученостью какого-нибудь Берлинского или Цюрихского университета, откуда XIX век дольше, чем в остальной Европе, не хотел уходить на почетную пенсию.

Да и само название книги – «Индивидуальность и прогресс» с подзаголовком «Этюды» – выглядит визитной карточкой XIX века: словно чувствуя себя последним в славном роду веков – приобретателей и накопителей культуры, век завещает свой необозримый капитал прямому наследнику – веку XX в виде ценных бумаг, таких, как «Земля и люди» Элизе Реклю, энциклопедия «Мужчина и женщина», «Пол и характер» Отто Вейнингера (опять же с подзаголовком: «Мужчина и женщина», но уже «в мире страстей и эротики»). Замечательно, что этот эпохальный – в смысле «сделавший эпоху» – труд увидел свет в том же 1903 году, что и опус нашего героя. Через год Отто Вейнингер, тоже еврей и тоже крещеный, не дожидаясь сюрпризов, которые уже припас начавшийся век, застрелился.

Что ж до Эвиля, то он, уверена, от столь громкого жеста принципиально уклонился и в 1904 году, и во все последующие годы.

В Петербург он вернулся, скорее всего, потому, что владел там прибыльной недвижимостью, – человек бедный столь тяжкую умственную работу просто физически бы не осилил.

На еврейского вундеркинда Рамович не похож, а потому в год издания книги я вижу его не юношей, как Блок или Вейнингер, но зрелым мужем лет 35, унылого облика, в рединготе и котелке, а по праздникам – в цилиндре... Аккуратно посещал соседнюю кирху – он лютеран любил богослуженье, – женился на петербургской немочке, какой-нибудь Минне Францевне, обзавелся пухлыми розовощекими детьми...

А дальше... Что – дальше?

Октябрьскую революцию мог пережить, а мог и не пережить. Если эмигрировал, то конечно и только в свою любимую Германию. (Воображаю его раздавленное сердечным приступом лицо в день прихода Гитлера к власти.)

Как бы то ни было, внутренний голос подсказывает мне, что после 30-х годов прогрессивное, да и всякое другое человечество Эвиля-Рамовича в своих рядах недосчиталось.

Чего не скажешь о книге. Вот где карьера, вот где будущее, вот где успех! А в самом деле – где? А в Израиле, где ж еще?!

Книга попадает в подмандатную Палестину и сразу занимает самые выгодные позиции.

На печатях, отмечавших ее передвижение с одного теплого места на другое, значатся: Гистадрут еврейских рабочих в Стране Израиля, исполком; Центральная библиотека и Исследовательский отдел им. Нахмана Сыркина – там капитальный труд Эвиля учтен под номером 49154; и, наконец, культкомиссия партии «Ахдут ха-авода Эрец-Израэль» («Рабочее единство Страны Израиля»), где «Индивидуальность и прогресс» оприходована под номером 4066. (Кстати, «Рабочее единство» – первая партийная ячейка покойного Ицхака Рабина.)

Присмотримся: перед нами – руководящая элита тогдашней общины: интеллектуальная (исследовательский отдел, культкомиссия), административно-партийная (Гистадрут, «Рабочее единство» – будущая Авода).

Кто привез книгу – ясней ясного: наш брат, русский еврей-репатриант; в тогдашнем своем массовом образе это, прежде всего, социалист любого из наличных оттенков – от эсеровско-бундовского до интернационально-социал-демократического.

Возможно, владелец книги получил ее из рук самого автора, возможно, каким-то другим путем.

Важнее, что он взял ее с собой на Святую Землю, – а люди это были легкие, прошлым и вещами себя не обременяли: книга, значит, была дорога не как память, но устремленной в будущее светозарной мыслью.

Будучи истым коллективистом, владелец передал книгу общественным организациям: чтобы и другие читали и понимали, какие есть на свете еврейские головы.

Ко мне завещание Рамовича попало со множеством карандашных помет, вопросительных и восклицательных закорючек, взволнованных подчеркиваний и прочих знаков усиленного внимания.

Мой вывод: книга была не просто многократно многими читана и почитаема, – она превратилась в тайную доктрину, бережно передававшуюся от одного поколения ашкеназийской политической элиты к другому, – достаточно сравнить идеологию наших нынешних левых с розовыми туманностями Эвиля-Рамовича: он всей душой за «индивидуальность» (в смысле «личность») и против национально-родовой закрепленности, – они тоже, только сегодня это называется «правами человека», но, при всем своем культе личности, Рамович – отнюдь не остервенелый индивидуалист (не случайно же облаял Ницше!), – напротив, можно смело утверждать, что только обществом он и озабочен, поскольку лишь в

обществе равных возможностей для всех его граждан видит противовес исторически изжившему себя, архаичному национальному государству, – то же и наши левые, да еще как то же!

Что ж до социального устройства, тут уравновешенный, но либеральный Эвиль ближе всего к социал-демократии европейского толка, каковыми западными социал-демократами и выступают ныне наши левые радикалы.

В довершение ко всему и в отличие от нравственного уroda и женоненавистника Вейнингера, Рамович страстный феминист: освобождению женщины и ее равным с мужчиной правам он посвятил отдельную восторженную главу.

Эх, если бы еще обронить что-нибудь веское в защиту неотъемлемых прав гомосексуалистов и лесбиянок! Но – не додумал, проморгал. Ничего: ученики допели.

Зато антиимпериализм, антишовинизм и антирасизм собраны у него в нарядный и душистый букет «цветов добра».

И все же что-то очень-очень важное пропущено, чувствуете? Ведь приехали в Палестину не просто социалисты, но социалисты-сионисты, будущие строители, защитники и первые граждане первого в мире еврейского государства!

С сионизмом-то чем им Эвиль мог помочь? Помог. И еще как помог!..

...Боюсь, что портрет Рамовича моей кисти создал не совсем верное о нем представление, каким-то нарисовался он горбоносый Маниловым, вперяющим мечтательный взор в ничем не омраченные дали. Это не так: на заре туманной юности века он заглянул в его закатные часы, увидел сионистскую мечту воплощенной и соответствующе ее оценил:

«К проявлениям расовой розни относятся еще два явления: антисемитизм и сионизм. Это две партии противников, разыгрывающие, в сущности, одну и ту же карту. На радость своим врагам часть – незначительная, впрочем, – евреев объявила себя, действительно, не более, как находящимся в плену мелким народцем, чувствующим себя не у места в среде универсальной культуры Европы. Начались мечты о восстановлении ничтожного расового государства на началах племенного и одноверного сожительства. Отсюда – сионизм, этот странный выходец из могил отживших культур.

К счастью, как не все “арийцы” антисемиты, так и не все евреи сионисты». И т. д., и т. п.

Это и есть постсионизм, именно это, а не трусливый риторический кисель наших постсионистов, у которых одно успокои-

тельно лживое слово вязнет на языке, а десять откровенно Эвилевых держатся в уме.

Так что нечего огрызаться на настоящее и скулить на будущее, когда весь опыт сзади.

(1903 год, как известно, – это год Кишиневского погрома. Любопытно, отнес наш автор свою рукопись в типографию Н. Н. Клобукова до погрома или после?

Уверена: если даже погром разразился, когда книга была уже в наборе, на г-на Рамовича это так же не произвело впечатления, как арабский террор и арабская ненависть не впечатляет наших миротворцев.

Не такая это порода, чтобы универсальная идея спасовала у них перед еврейской кровью.)

...Из двух геометрических моделей времени, предложенных на выбор местом нашего проживания – восточной окружностью и западной прямой, – мне лично не нравятся обе.

Циклическое время Востока мне претит по причине жуткой клаустрофобии. Меня равно мутит в закрытом лифте и в закрытом обществе, а также при виде лепешечного круга, до краев набитого восточными пряностями, восточными сладостями, восточной музыкой и восточной мудростью, приторной, как шербет, и пресной, как пита.

Что ж до ограниченной с обоих концов иудео-христианской прямой, – она идет вразрез моим историческим убеждениям: я не верю в концепцию времени, похожего на один-единственный, когда-то раз и навсегда отснятый фильм, из которого каждому поколению демонстрируют лишь определенную часть, и только какому-то последнему человечеству дано будет узреть «энд» и осмыслить, такой ли уж он «хэппи».

Не верю я и в секулярную версию этой мифологической фавулы: снимается много фильмов, но каждый – по заранее заготовленному сценарию. (Детерминистская концепция истории.)

Если уж время должно иметь какой-то зрительный эквивалент – пусть это лучше будет ниоткуда и никуда текущая извилистая река со множеством неожиданных излучин и рукавов, чем Волга, с прямолинейной тупостью впадающая в Каспийское море.

...Между русскоязычными израильтянами и ивритским Израилем существуют давно уже не временные, но постоянные трудности общения, какая-то стена, в лучшем случае – прозрачная: увидеть можно, дотронуться – нельзя; нерелевантность, одним словом, прибегая к излюбленному ивритскому понятию.

Для такой тягостной и тяготящей ситуации я вижу только одну причину, которую бы определила как «темпоральную аномалию»: мы с ними попросту принадлежим к разным временным потокам.

Тут не тайная или явная враждебность с обеих сторон, не культурная и даже не психологическая разность, но больше и безнадежней: разрыв, израильские часы отстают от русско-еврейских ровно на век, секунда в секунду.

...За последние годы не было произнесено более значительных, ключевых слов, чем те, с помощью которых Шимон Перес объяснил суть внутриизраильского политического противостояния: это, сказал он, конфликт между израильтянами и евреями.

Понимать это надо так:

Израильтяне построили Израиль и позволили евреям в нем поселиться, но евреи, вместо благодарности, возмечтали о власти, власть же им давать нельзя, потому что они правые, т. е. кругом не правы, и к тому же религиозные обскуранты, а израильтяне – левые, они за мир во всем мире, а также за социальный и научно-технический прогресс.

Все верно, но с одной поправкой: те, кого Перес называет израильтянами, – это русские и восточноевропейские еврей-социалисты 1903 года издания, а те, кого он называет евреями, – это евреи прямиком из позднего Средневековья, застрявшие где-то между XVI и началом XVII века.

Конечно, в сравнении с ними или окружающим арабским XV столетием израильский XX век – колоссальный рывок, высшая точка на шкале времени, но ведь на дворе уже 3-е тысячелетие, XX век облетел до последнего листика!

Когда-то, в начале столетия, русские евреи завезли в здешние косные места дыхание больших эсхатологических ожиданий, – то был последний глоток доставшегося им исторического воздуха, – и они его законсервировали, засушили, – нигде время так легко и быстро не останавливается, как в общине.

А израильское общество так и осталось общиной, поскольку изначально было социалистическим.

Идея о том, что на самом деле социализм – это близкий к первоисточнику вариант религиозного (иудео-христианского) сознания, еще не так давно была достоянием одиноких независимых умов, – теперь об этом болтают на всех перекрестках.

Перес утверждает, что его социализм родом из откровений еврейских пророков, тов. Зюганов объявил, что корни русского коммунизма тянутся, не сворачивая, в глубь евангельского учения. Оба правы.

Поэтому никакого светского Израиля не существует, – есть две секты, ненавидящие друг друга со страстью приверженцев разных культов.

Мне повезло: в тот же день, когда я увидела Шимона Переса, по телевидению поющего гимн Интернету, – с разрывом в несколько

минут по радио я услышала исповедь убийцы собственной жены и детей: в своем преступлении он обвинял Интернет (его жена крутила по Интернету виртуальный роман).

Симметрия полная: если на одном конце Интернет воплощает орудие преобразования и спасения, то на другом – орудие Сатаны.

...Как законный потомок и прямой наследник пламенных революционеров, Шимон Перес умеет не только страстно любить, но и страстно ненавидеть.

Известно, что он любит: Интернет. Но не утаил он от общественности и предмет своей ненависти: это история.

Лишняя, ненужная, вредная, изучать ее – только время терять: ведь история – это собрание ошибок и заблуждений, один Наполеон чего стоит! (В смысле ничего.) Не лучше ли все начать с чистой страницы, особенно сейчас, когда так свободно можно открыть ее в Интернете?

Здесь не только извечный страх верующего и социалиста перед историей – этим хлопотным и опасным довеском к однажды и навсегда обретенной неизменной истине, – здесь еще и заурядная глупость, почти комичное неумение думать: ведь Интернет – это всего лишь очередная техническая игрушка западной цивилизации, для которой время – это форма истории, а бытие – ее содержание.

Короче: не будь Наполеона – не было бы Интернета.

(Своими последними достижениями в области новых технологий Израиль всецело обязан массивированному вторжению молодых «русских» специалистов.

С некоторыми я знакома и знаю: их одушевленность историей – мировой, русской, еврейской – точно такая же, как у моих сверстников, а до нас – у всех прежних поколений живших в России евреев.)

...В 1915 году Мандельштам, оглянувшись окрест себя, сокрушался: «Есть великая славянская мечта о прекращении истории в западном смысле слова... Это – мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое “миром”. Мечта о духовном разоружении так завладела нашим домашним кругозором, что рядовой русский интеллигент иначе не представляет себе конечной цели прогресса, как в виде этого неисторического “мира”» («Петр Чаадаев»).

Мандельштаму не нравились славяне, – посмотрел бы он на нынешних израильтян! И то сказать; история развернулась не по Эвилю, не по его предписанию и расписанию, а раз так – весь XX век побоку, за скобки его, в глушь, в Россию! Пусть у всех давно уже понедельник, – у нас суббота только начинается.

...Так что же произошло и происходит? Ловушка? Фатальная ошибка сотен тысяч русскоязычных евреев, попавших во временной отстойник, в непроточную заводь, где время только плесневевает и разлагается?

Нет, все может быть иначе: между разными временными потоками прорывают каналы, возводят шлюзы, наводят мосты; время расшевеливают, расталкивают – если есть пространство. Было бы тело – душа вернется.

Но страну утаскивают из-под ног как половик; сводят, как цыган лошадь из конюшни, и не ночью, тайком, а днем, при солнечном свете, у всех на глазах, не скрываясь.

...Неисчерпаемо телеинтервью с Пересом: вот журналист, замороженно, как старовасюковец – Бендеру, внимая вдохновителю и организатору «мирного процесса», робко спрашивает: а найдется ли для Израиля место в этом новом блистающем интернетном мире?

Перес отвечает: еврейский народ, в силу присущих ему нравственных ценностей и чувства справедливости, сыграет достойную роль и при новом мировом порядке.

Заметим: еврейский народ. Об Израиле – ни слова.

Но и в этом случае Шимон Перес лишь рабски копирует незаменимого Рамовича:

«Большинство современников понимает, что евреи достаточно поработали кровью и духом в борьбе за новую культуру для того, чтобы иметь гораздо более прав на гражданство в Европе, чем в Палестине».

Заменяем Европу на весь мир – выйдет и более просторно, и более актуально.

...Не залежалось и Эвилево христианство: оно, и только оно, снабдило израильскую религию мира основными моральными заповедями, из которых первая по важности – это заповедь об искупительной жертве, от незабвенных «жертв мира», уже вошедших в золотой фонд черного юмора, – и до жертвы землей, понятно, в обмен на мир. Душевный.

...Во времена Рамовича универсализм говорил на нескольких европейских языках, носил смокинг и осенял себя крестным знаменем. Для продолжателей Рамовича универсализм говорит по-арабски, исповедует ислам и отплясывает танец живота.

...Предлагаю на выбор несколько вариантов, ни один не хуже другого: первый – проигранная война, – деморализованные нации не побеждают. Вариант второй: ленивое умирание в границах 67-го

года, без Голан и без Иерусалима. Это будет возвращение не только в пространстве, но и во времени: наученные горьким опытом будущего, израильтяне не допустят больше «русской» культурной автономии, самой для них невыносимой.

Что мы уже бредем по этому этапу, доказывают наши понурые спины и резкое сокращение числа русскоязычных культурных учреждений.

Но и этот этап не последний, а переходной. Эпилог же, судя по всему, распишется по мотивам Южной Африки: арабское большинство, демократически избранное арабское правительство со всеми его институтами, еврейская автономия, робко жмущаяся к береговой линии и высматривающая на горизонте корабли 6-го американского флота...

Короче: слушайте Азми Бишару, он не обманет, за ним последнее слово.

...У своих друзей-сабр я спросила, знакомо ли им слово «эвиль».

Они рассмеялись: а как же! «Эвиль» – это «типеш» («глупый»), «ло коль-ках хахам» («не слишком умный»). Но тут вмешалась их тринадцатилетняя дочь и сказала со знанием дела: «Эвиль – это идиот!»

И этим уточнением описала для меня пологий маршрут израильской левой: от идиота – к бесам.

«Иварон» («слепота») - говорят некоторые израильтяне о своих соотечественниках. А я говорю: «эвилут» – идиотизм.

Где выход? И есть ли он?

Я верю только в акцию духовного неповиновения, в интеллектуальный бунт. Он бы оправдал себя, будь у нас время. И он тем более необходим, если у нас времени нет.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑ

КАТАСТРОФА

Прежде всего, я хочу сказать, что для того, чтобы делать доклад на тему Катастрофы, у меня нет ни мужества, ни уверенности, ни достаточного самоуважения, потому что доклад требует определенной аксиоматики, доказательств, выводов, с которыми можно обратиться к определенной аудитории, готовой и способной их выслушать. Для меня Катастрофа – это прежде всего Катастрофа интеллектуальная, это – практическая невозможность и неспособность вынести своего рода интеллектуальное решение или некую духовную оценку по поводу того чудовищного события, которое мы все называем Катастрофой. Мне бы хотелось, чтобы Катастрофа стала одной из профилирующих дальнейших тем семинара. Хорошо было бы, если бы в обсуждении этой темы участвовали сотрудники «Яд-ва-Шем», психоаналитики, психологи и психиатры, и прежде всего – религиозные психологи и психиатры. Мне кажется, что сочетание профессиональной работы с подсознательными импульсами и соблюдение основных требований иудаизма должны дать очень интересные результаты. То, что я собираюсь сказать сегодня – это некие «броски» в разные стороны вокруг той чудовищной ямы, которая называется Катастрофой, и которая до сих пор не осмыслена, а только заполнена нашим ужасом, нашими страхами, нашими снами и телами наших погибших братьев и сестер.

Я знаю вполне достойных людей, которые вообще отказываются обсуждать эту тему. Они считают, что лучше этого не касаться, потому что все равно ничего существенного сказать по этому поводу нельзя, и поэтому лучше этого не трогать, потому что кроме какого-то кризиса сознания и душевной спазмы это ничего вызвать не может. Другие же (их значительно меньше) считают, что на самом деле в еврейской истории Катастрофа европейского еврейства не представляет собой чего-то из ряда вон выходящего, и что вся еврейская история в течение тысячелетий после гибели еврейского государства и галутного изгнания представляет собой ряд как бы «черновики» этой «главной» Катастрофы, и что положение евреев в галуте естественно должно было завершиться Катастрофой. Я совершенно с этим не согласна и настаиваю, как и очень многие мыслители и философы (и евреи и неевреи), на абсолютной исключительности Катастрофы, на совершенной ее уникальности на всем том протяжении человеческой истории, которое мы можем окинуть «умственным взором». Я считаю, что (при том содрогании, которое испытывает каждый из нас от этой темы), если мы это душевное содрогание, этот душевный ужас, этот мертвящий и

леденящий кошмар не переведем в какие-то интеллектуальные термины, не сделаем предметом интеллектуальной рефлексии, – то до тех пор наше сознание и, прежде всего, сознание Израиля как целого, будет невротическим. При этом не имеет значения, будет ли эта рефлексия религиозная, идеологическая, атеистическая или свободно-философская, потому что необходимо вытеснение такого ужаса, такого кошмара, такой реальности, последствия которых ощущаются до сих пор и будут ощущаться (по моему убеждению) чем дальше, тем больше. И они приводят (тут не нужно быть Фрейдом) к чудовищным национальным, коллективным и часто индивидуальным неврозам.

Кстати, израильское общество я считаю совершенно невротическим именно потому, что оно как бы вытеснило тему Катастрофы. Вытесненный страх пережитой Катастрофы привел к тому самому «мирному процессу» (последствия которого мы еще долго будем ощущать на себе), показавшему удивительные аспекты этой невротической модели мира, в основе которой все равно лежит память о Катастрофе. Постоянные «провалы» в этот невроз сопряжены с полной неспособностью сформулировать, что же происходит. Эта неспособность сформулировать относится к самим этим творцам, носителям, адептам и приверженцам мирного процесса.

Как только мы пробуем перевести Катастрофу из сферы ужаса, страха и непосредственных душевных эмоций в сферу, так сказать, более интеллектуальную, – мы видим, что она представляет собой своего рода интеллектуальный корпус. Прежде всего, в связи с Катастрофой возникают проблемы, которые с точки зрения современного философского сознания следует считать совершенно философскими. Это, конечно, не классическая философия Канта и Гегеля, и не «философия объективного и субъективного», а это та философия, какой она стала в двадцатом веке, где на первое место вышли антропологические проблемы, проблемы смысла и назначения истории, а также проблемы того, что в христианской традиции называется теодицеей – т.е. «оправданием Бога», а в случае нерелигиозного, секулярного мышления – «оправдание истории», ибо современный человек живет в истории, и она для него является как бы «высшей реальностью», в которой он существует. По отношению именно к этой реальности он должен дать себе отчет, как сопрягается его реальное бытие с теми ценностями, которые он закрепляет за историей.

Что означает «оправдание истории»? С моей точки зрения, когда произошло падение традиционных европейских религий (скажем, в 19-ом веке, когда после французской революции начинается эпоха Просвещения) – то место в сознании европейского человека,

которое занимал Бог, начала занимать история. Понимание истории, безусловно, отрабатывалось по религиозной схеме. В ней начали искать объективные законы и объективные закономерности, не зависящие от человеческой воли. Она приобрела сугубо телеологический характер, безразлично, была ли это марксистская телеология или это <была> экзистенциалистская телеология. То есть, исторический аргумент стал аргументом смысла. Очень любопытно, что говорил по этому поводу Хайдеггер, который считал, что: «История – редка, и история есть только там, где выносятся изначальное решение о существовании истины». Это замечание интересно потому, что, с еврейской точки зрения, оно дает нам, по крайней мере для секулярного еврея, другой взгляд на еврейскую историю. Потому что, если постоянная наша боль, сомнения, ощущения душевного и умственного дискомфорта, состоят в том, что евреи как бы были отключены от мировой истории, по крайней мере в ее европейском варианте, – то, принимая правоту Хайдеггера, что история, действительно, имеет место только там, где выносятся изначальное решение о существовании истины, нам следует решить, что евреи находятся как бы в самом напряженном состоянии исторического процесса, потому что изначальное решение о существовании истины ими было вынесено давно, и с этого и начинается существование евреев, как народа. Хайдеггер говорит, что «история – редка», потому что не всякий процесс – протяженный во времени, закрепляемый памятью и традицией, воспроизводимый, как традиция, помнящая самое себя – является с его точки зрения историческим. Он говорит, что история – это процесс решения и даже своего рода интеллектуального насилия над реальностью, поскольку истина – это не то, что принадлежит самой реальности, а это – то, что мы в нее вносим.

Все это – исторический аспект Катастрофы, потому что применить к Катастрофе телеологическую схему, как мне кажется, просто не представляется возможным. При этом, не имеет значения, какая именно эта телеология, то есть причинно-следственное понимание истории. Так, телеология марксистская отступила вообще от Катастрофы, и сделала вид, что она ей как будто и не нужна. Кстати, – очень правильно, потому что ей с этим не справиться. У марксизма это была обычная схема: критическая точка империализма, при которой империализм перешел в свою последнюю стадию – нацизм, и возникает расизм, как последняя попытка империализма утвердить свое господство в мире, евреи падают его первой жертвой в силу столкновения экономических интересов и т.д. (все эти пошлости мы очень хорошо знаем). Вторая телеологическая схема принадлежит христианам (как христианским телеологам, так и евреям-выкрестам). Эта схема – чудовищна, отвратительна и возмущает моральные чувства. Первый пример – это

Сергей Булгаков (умерший в начале 50-ых), который в 42-ом году в Париже, прекрасно зная о Катастрофе, как о ней знало уже все население Европы, не увидел в ней ничего такого, кроме как естественного завершения бытия народа, распявшего Бога. Второй пример – Симона Вайль, крещеная еврейка, религиозный философ, оказавшая значительное влияние на западную экзистенциальную мысль. Она бежала из оккупированной Франции и уморила себя голодом в Лондоне, объясняя это тем, что она не имеет права жить, зная как страдает французский пролетариат. Почему из всех слоев французского общества она выбрала пролетариат, и его страдания ее донимали больше всего – это загадка. Про Катастрофу она сказала, что когда она слышит о преследовании евреев в Польше (тогда это была в основном Польша), она вспоминает только о криках ханаанских детей, убиваемых народом, вступившим на Святую Землю. До такой потрясающей телеологической схемы не додумался даже христианский (по рождению) философ, с него хватило Христа.

Оба эти случая, на самом деле, представляют собой примитивную схему вины и наказания.

Такая <же> телеологическая схема принадлежит собственно еврейским философам (религиозным евреям), пытающимся объяснить, почему была Катастрофа, найти причинно-следственные связи (и это никак не тема самообвинения). Самый главный вопрос Катастрофы – это тот интеллектуальный провал, в который мы погружаемся, думая о ней; это – невозможность ответить на этот вопрос о причинах, потому что наше причинно-следственное мышление здесь терпит крах. При этом, самые уверенные в себе – это телеологические системы религиозные, поскольку причинные связи для них устанавливаются легко, ибо они все находятся в двух категориях: причина – следствие, грех (преступление) – наказание. Мысль по этому поводу рава Шломо Авинера – проста, сугубо телеологична и элементарно причинно-следственна: Катастрофа была нужна для того, чтобы оторвать еврейский народ от галута. Предупреждений было много, но несмотря на это, еврейский народ не отрывался, он привязался к галуту, он любил его. Было очень много намеков, способов и, так сказать, «учебных пособий», с помощью которых евреи должны были прийти в себя и вернуться на Святую Землю, поскольку только так они могут осуществить свое религиозное призвание, но это – не помогло. Что же можно было сделать? И вот, в результате уничтожения 6-ти миллионов европейских евреев возникло государство Израиль, в результате чего евреи, в рамках этого государства, могут осуществить ту миссию, для которой они и созданы. То есть, осуществить миссию избранного народа.

Мне хотелось бы сделать два замечания, к которым я прошу отнестись по возможности спокойно, и без эмоционального содрогания, несмотря на то, что тема, действительно, невыносимая на самом деле. Надо убедить себя в том, что нам всем необходимо определенное не только интеллектуальное, но и душевное мужество. Я предлагаю любому человеку, включая религиозных евреев, представить себе полтора миллиона сожженных еврейских детей, и представить себе, что в этой толпе в газовую камеру он видит своих детей. Согласится ли он после этого на подобную причинно-следственную связь? Патетический вопль Достоевского: «Не стоит никакая мировая гармония слезинки одного ребенка», который является пределом христианской нравственности (пусть сентиментальной или какой угодно), – что может он значить, когда речь идет о гибели полутора миллионов жизней еврейских детей? Никакое государство, ни в каком подлунном мире – ничто не может оправдать такой код сознания, потому что это – невыносимо и абсолютно невозможно! Кроме того, здесь имеются возражения и другого порядка. Дело не только в моральной невозможности принять такую телеологию, но дело еще и в том, что и реально, по отношению к действительности, она очень сильно хромает. До сих пор подавляющая часть еврейского народа живет в галуте. Эта часть еврейства галута, так же, как евреи, жившие там до Катастрофы, тоже очень привязана к галуту, участвует в построении нееврейской культуры, с большой страстью предается всем социальным изменениям, которые происходят в этом очень активном и динамичном мире. Что же получается, что нужна еще одна Катастрофа, для того, чтобы и эту часть евреев привлечь на Землю Израиля? И, наконец, – еще одно возражение, так сказать, реального порядка (или реально-политического). Надо честно сказать, что никакая часть еврейского народа не находится в таком угрожающем положении, как именно евреи Израиля. Опасность, которая нависала над европейским еврейством во второй мировой войне, сегодня как раз нависает над народом Израиля. Если говорить о прямом физическом спасении в национально-народном смысле, то никто сегодня так не угрожаем, как Израиль. Та часть евреев, которая сегодня проживает в Израиле, находится как бы на самой тонкой линии самого напряженного противостояния конца 20-го и, по-видимому, это будет и 21-ый век. И это противостояние между тем, что можно назвать (условно) Западом, и (совсем не условно) – поднимающимся и воюющим Исламом. Поэтому мы сегодня в намного более опасном положении, чем евреи Америки, остатки евреев в Восточной Европе и даже, чем евреи России.

Это – не эмоциональные <опровержения>, они – реальные. Рав Авинер предлагает схему, которая требует какой-то несокрушимой

веры, схему, которая не считается не только с моральными доводами, которые имеют место, но и с реальным положением дела. Эти доводы не могут быть просто отброшены в сторону, как нефилософский аргумент. Это – обыкновенный умственный аргумент, обращающийся к реальности.

В качестве примера потрясающей нечувствительности к месту Катастрофы в еврейской истории я хотела бы привести одну статью (автор которой, современный еврейский религиозный философ Даниэль Шалит, является молодым и весьма талантливым ученым). Обсуждая соотношение религиозного и секулярного начала в иудействе, он говорит следующее: народ Израиля определял себя в течение тысячелетий, как народ религиозный, как народ Бога с большой буквы; как народ, причина, смысл и цель существования которого – свидетельство перед всем миром Встречи и Союза между Богом и человечеством. И вот, в новое время, в последнее столетие, когда народ Израиля захотел «модернизироваться», и его большая часть вместе с остальным западным миром решила определить себя, как атеистов... Если вдуматься, то это тоже потрясающая нечувствительность. Здесь тоже телеология «причина-следствие»: мы живем в некотором кольце несчастий и страданий, из которого очень трудно выйти. Эти несчастья (и он совершенно прав) – они не только внешние-политические, но и внутренние, связанные с несогласованностью частей нации между собой, которые носят совершенно явный характер как бы греха – и его последствий. Но что же это за «новое время», о котором он говорит? Речь идет как бы об эпохе после «хаскалы» («Просвещения»), а о Катастрофе здесь и слова нет, как будто бы этого и не было. Можно было бы писать так в конце прошлого века, в начале нынешнего, но писать так в конце 20-го века, через 50 лет после лагерей Освенцима, – такую телеологию я не принимаю. Это – аргумент от реальности, он не может быть философским и <ли> не философским, он – аргумент. Эта телеология мне представляется неприемлемой, поскольку она игнорирует то, что на сегодняшний день составляет саму сущность еврейского существования. Эту сущность я называю Катастрофой.

Можно сформулировать так, что все это – телеологическая проблема Катастрофы, которая становится интеллектуальной проблемой, поскольку в рамках причинно-следственного сознания нам ее, действительно, не решить. Имеется антропологическая, в современном философском смысле, сторона, антропологическая проблема Катастрофы: что есть человек? (Имеется в виду вообще человек, а не только еврей). Совершенно ясно, что после Катастрофы, все, что мы могли думать о человеке, все, что было продумано о человеке плохого, негативного, несимпатизирующего самому факту

существования этого странного создания по имени человек, усилилось многократно. После Освенцима никакая негативная, никакая радикальная критика по отношению к самой сущности человеческого создания не может теперь казаться преувеличенной. Мне не ясно, как можно решить эту антропологическую проблему так, чтобы вернуть человеку часть тех достоинств и часть той позитивности, которой он обладал, скажем, на протяжении всей еврейской истории (для евреев) и на протяжении христианской истории.

Наконец, третья проблема, которая меня просто парализует, это то, в каких терминах осознавать участие евреев в Катастрофе. Как это можно сформулировать? Или это – полное и абсолютное соотношение жертвы и палачей, то есть как бы пассивное неучастие в смысле духовном, умственном, религиозном, интеллектуальном, моральном во всем том чудовищном, что мы зовем Катастрофой; или – речь идет о какого-то типа связи, но тогда – каком? Именно здесь, как ни в какой другой области, я отрицаю, скажем, моральную телеологию. Для меня совершенно неприемлемо говорить о евреях в терминах «вины и наказания». Это невозможно, потому что содеянное настолько чудовищно, что, что бы ни представляли собой евреи, как нация, или что бы они собой ни представляли, как духовный субстрат – все, что на них обрушилось, совершенно не пропорционально этому. Поэтому совершенно подлой, аморальной, философски совершенно неприемлемой точкой зрения я считаю точку зрения, при которой евреи и нацизм находятся в состоянии, так сказать, «греха и воздаяния».

Может быть, существует другая связь, но тогда – какая она? Если нет причинно-следственной связи, то какова же связь? На самом деле, она несомненно существует. Если сказать, что евреи – невинная жертва, то где же само понятие «вины»? Я бы предпочла здесь говорить об «ошибке», потому что само понятие ошибки здесь очень похоже на то, как используется понятие ошибки в технике при расчетах, потому что неправильный расчет, неправильная установка, приводят к катастрофе. Это может быть катастрофа самолета, поезда, взлетающего спутника, чего угодно. Я думаю, что еврейским народом, еврейской массой, были совершены чудовищные ошибки. Чудовищность их состоит в том, что они продолжают, с моей точки зрения, и по сей день. То есть, этот опыт Катастрофы с еврейской стороны – не учтен, и еврейская реакция на Катастрофу – самая слабая и самая неубедительная.

Есть две еврейские точки зрения, которые мне ближе всего. Первая – это точка зрения французского философа, еврея, Левинаса, который сказал, что «Бог погиб в Освенциме». Кстати, с по-

добной точкой зрения я встретила намного раньше, чем я прочитала этого философа, и как бы – напрямую. В первые же несколько месяцев после моего приезда в Израиль, в одном из кибуцов я познакомилась с человеком, пережившим Катастрофу, с которым мы говорили на смешанном польско-украинском языке. Он был из Галиции, из очень ортодоксальной семьи. Он прошел все и потерял всех близких. Он сказал: «Бог разорвал завет с евреями. И если теперь Он хочет его восстановить, пусть теперь Он сам делает некоторые усилия».

И вторая точка зрения, – религиозная, связана с таким понятием, как – «молчание». Я встретила это понятие у американского религиозного философа, который взял его из Каббалы. Это представление связано с тем, что имеются некоторые моменты молчания, когда Бог отворачивается от мира, прячет свое Лицо. Тут я могу сказать, что это я принимаю, и даже не с ограничениями и не с оговорками.

Тогда встает уже чисто теологический вопрос – потому что, чем полнее монотеистическая вера, чем полнее представление о едином всемогущем Боге, тем нестерпимей, назойливей и катастрофичней становятся моральные претензии к Нему. Этот вопрос можно решить только одним способом: присвоить Богу такую трансцендентность, т.е. такое несовпадение ни с какими путями человеческого разума, при которой мы просто должны довериться тому (и это – чистый акт веры), что Его мысли – это не наши мысли, Его мышление – не наше мышление, и Его пути – не наши пути.

Я этого никак принять не могу по одной простой причине. С любой религиозной точки зрения Бог принципиально идентичен миру и человеку. Если человек создан по образу и подобию Бога, то это значит, что в каких-то основных вещах их логики должны совпадать, даже если их воли не совпадают. Если в современной науке человеческий разум показал, что он может воссоздавать природные процессы и руководить ими, и что он может построить второй и третий технологические и пост-технологические миры (т.е. – понять структуру мира, который создан Творцом), то представить себе, что в областях, непосредственно касающихся судьбы и сущности человека, эта способность понять структуру мира вдруг исчезает, я никак не могу, и не могу этого принять. Допустим, что вместе с Левинасом и вместе с этим чудесным евреем из кибуца я тоже говорю, что «Бог – умер», но ведь евреи – остались! И поэтому, что бы я ни говорила, и как бы я ни сопротивлялась тому, что тысячелетнее еврейское религиозное существование может перевесить последние 200-300 лет, когда евреи так же модернизировались, как модернизировался человек Запада, я должна тем не

менее согласиться с тем, что совершенно как бы конститутивные схемы еврейской души и еврейского сознания – остались прежними, и действительно, глубоко религиозными.

Мне пришлось наблюдать это в течение периода всей подготовки и реализации «мирного процесса», и это было поразительно! Дело в том, что с самого начала отношения евреев с Богом – договорные. Это – договор, который обязывает обе стороны. При этом, определенный психический и даже, так сказать, «душевно-приключенческий» компонент этого договора состоит в том, что Господь ходил и предлагал свою Тору разным народам, которые отказывались ее принять, а евреи сами выбрали Бога, как партнера. Поэтому, на самом деле все, что касается отношений с Богом, ставит евреев в чудовищное положение: чем больше евреи страдают (в своем реальном существовании), тем больше они должны оправдывать Бога, потому что это не просто взаимно-договорные отношения, а это – результат того, что они сами выбрали себе партнера. Прошу заранее прощения, и прошу отнестись к этому спокойно, потому что речь идет о еврейском существовании, а оно – всегда загадочно, и никакой политической акт не отменяет метафизических векторов и составляющих еврейской жизни. Так вот, когда я смотрела на поведение устроителей «мирного процесса», то меня поражала та страсть, то безвыходное отчаяние, с которым им приходилось оправдывать палестинцев. Такое впечатление, что эта страсть и отчаяние как бы заключены в эту «клетку договора», поскольку партнер здесь был выбран.

Более того, хочу сказать, что о готовящемся «мирном процессе» я, при моем близком знакомстве с левыми, знала еще лет за пять до того, как они пришли к власти. В основе их установки было то, что – пробовалось многое, и ничего не получалось, поэтому – «наасе ве-нишма», <«сделаем, а потом поймем»>! И эту религиозную формулировку они произносили, не говоря уже даже о таких ритуально-магических формулах, как «жертва мира» – т.е. вполне параллель религиозных «жертвоприношений». Что же произошло? – Произошло как бы столкновение первичных еврейских интенций по отношению к миру с вытесненной памятью о Катастрофе. И на самом деле она лежала самым тяжелым грузом на этом мирном процессе, сообщая ему характер навязчивого кошмара в глазах тех, кто его не принял на веру, ибо этот «мирный процесс» был безусловно делом веры. И эта – самая главная черта у евреев, которая осталась и которую я не нахожу в себе. Это – доведение до трансцендентного метафизического уровня любой ситуации, в которой оказывается еврей. При этом, слово «мир» в корневом, еврейском значении означает не только отсутствие войны, но это еще и – целостность, гармоничность, и такое существование, при кото-

ром и нижнее (телесное) и высшее (духовное) в человеке соединяются в «шалем» – целостность. Г. Киссинджер, которого трудно назвать самым умным человеком, но он – безусловно еврей (и его грехи перед народом Израиля – бесчисленны), сказал очень занятно (и очень осторожно), что, видимо, ошибка заключается в том, что понятию «мир» правительство Аводы придает такое метафизическое и почти мистическое значение, которое как бы просто не выдерживает столкновения с реальностью. Таковы евреи!

Когда я говорю, что самый сложный вопрос, на самом деле, это – участие евреев в Катастрофе, то надо понять, в каких терминах его узнавать, как распорядиться этим чудовищным соотношением: «еврей и нееврей» в ситуации Катастрофы? Потому что речь ведь идет не только о немцах. По сути, если бы мы сегодня, по справедливости, начали предъявлять моральные счета народам мира, и прежде всего – народам Европы, столь многими из нас так нежно любимыми, то тогда единственным выходом было бы отвернуться от всех, потому что буквально у всех них руки в нашей крови. В последнее десятилетие это – одно из самых больших документальных и исторических открытий в том событии, которое мы называем Катастрофой. Все это в первые десятилетия не осознавалось, потому что вся вина как бы перешла на немцев, и немцы ее приняли настолько, насколько могли. И тем не менее, приходится признать теперь невероятную степень соучастия практически всех европейских народов. Я не могу забыть свой разговор с покойным проф. Шломо Пинесом. Он, горько кивая, выслушал тогда все мои lamentации, достаточно озлобленные и достаточно неприязненные по поводу России, и сказал: «Я вас, конечно, очень хорошо понимаю, но только хочу сказать вам, чтобы у вас не было особых иллюзий относительно Запада. Потому что я сам видел, как французские полицейские в Париже хватили еврейских девочек и заталкивали в фургоны в 41-ом, 42-ом годах». Как это понять?

Лучше всего из ситуации Катастрофы, из того, что мы называем «интеллектуальной ловушкой», выбрались немцы. Они выбрались замечательно. При этом, я имею в виду не то, как они выбрались социально, политически или экономически (после 45-го года). Мне приходилось читать тексты немецких историков и философов, настоящие, глубокие и блистательные, по поводу Катастрофы, и все они – поражают. Самая гениальная из них – книга немецкого историка и философа Иоахима Феста – трехтомник о жизни Гитлера. Поразительным образом он описывает, какое значение для немцев имела Катастрофа. Примерно это звучит так: «Освенцим – символ фиаско частного немецкого мира и его эгоцентрической самозабвенности. Немцы <после этого> отреклись от интеллектуального радикализма, от системности, глубокомыслия и пре-

небрежения реальностью». То есть, получается, что педагогическое значение Катастрофы для немцев заключалось в том, что немцы порвали свою оторванность от европейского мира. Это подтверждается многочисленными текстами, <написанными> даже не историками, после поражения немцев, после Катастрофы, и такими, как книги Томаса Манна, Генриха Манна и всего немецкого модерна. Во всех этих текстах – глубочайшее ощущение Германией своей провинциальности, оторванности от европейского мира, своей некой загнанности, замкнутости, и какого-то чудовищного одиночества, которое порождало и усиление немецкого романтизма, и немецкую самоуглубленность. И вот, уничтожение евреев было как бы таким шоком для самих немцев, что они сумели благодаря этому прорваться из своей угрюмой замкнутости, своего радикализма, и своего неумения понимать действительность – в новое ментальное существование. И это действительно так. Сегодняшний немец – больший гражданин мира, чем он был когда-то даже гражданином Европы. Теперь это – процветающая, прагматичная, функциональная нация. Но это еще не все, есть вещи еще более потрясающие.

Надо сказать, что вообще, по-настоящему, в сегодняшней западной культуре метафизику Катастрофы и метафизику еврейства разрабатывают совсем не те жанры, к которым мы привыкли. На сегодня наиболее продуктивно работают в этой области жанры научной фантастики и определенного типа криминально-фантастические романы. Некий английский автор, изучивший гениально историю Третьего Рейха, придумал некий криминальный ход, используя чисто фантастический сюжет. Речь там идет о частном сыщике в условиях прихода Гитлера к власти: поиски преступника и характер преступления после оглашения расовых законов, когда исчезают люди один за другим, и как правило, это – евреи. Или – евреи платят бешеные деньги за свое исчезновение, что само по себе (такая взятка) в этих условиях уже считается коррупцией и т.д. Во втором романе, продолжении первого, этот же сыщик, переживший войну (он был в войсках СС), едет в 46-ом году из Германии в Австрию и разговаривает в вагоне с немцем, который излагает ему свою концепцию Катастрофы, очень близкую к тому, что говорит Фест. Из этого можно сделать вывод, что такая рефлексия по поводу Катастрофы была достаточно укоренена и принята. И он говорит так: «Ну вот, конечно, убили столько евреев, но возьмите, например, историю Йосефа и его братьев. Маленький Йосеф в бархатном костюмчике, хорошенький, чистенький, его учат “играть на скрипочке”. Его братья – замурзанные, ужасные и пр. В конце концов, совершенно естественно, что они бросают его в яму. Они, конечно, согрешили, но, с другой стороны, этот их грех был их способом борьбы, удачной и удавшейся, со своим отцом –

Яковом, с идеей “Фатерланда”. То есть, через еврейскую Катастрофу, через такую чудовищную очищающую жертву, немец приходит к тому, что он восстает против тех давящих обстоятельств, которые и привели немцев к победе Гитлера: безусловная верность, безусловные традиции, подавляющая роль отцовского начала в немецкой жизни».

Это все было чудовищно, но они с этим справились. Мы же с этим справиться не можем никак!

Кстати, я хочу сказать, что имеется очень сильная тенденция, особенно среди советских евреев, приравнять эти две личности, <Гитлера и Сталина>, приравнять коммунизм и фашизм. Это стало слишком популярно для того, чтобы хотелось это опровергать. Когда-то это было открытием, но на сегодняшний день – это слишком банально. Я, однако, не могу этого принять. Есть некая существенная разница между коммунизмом и нацизмом, и эта разница ставит нас все время в чудовищное положение, потому что сколько бы ни кричали правые о «наследниках большевиков», о том, что левые – это сталинисты, это не производило никогда особого впечатления. Между тем, на каждого еврея обвинение его в «фашизме» производит парализующее впечатление. Метафизическая (не политическая, и не социальная, и не историческая) разница между коммунизмом и фашизмом ощущается всем миром. Для меня она, например, описывается в чисто телеологических терминах. Когда думают о зле коммунизма, исходят из идеи «порчи». То есть, имеется некая изначальная позитивность, которая, то попадая в руки русских или других, то в силу самой неизбежности при приложении ее для человеческого материала и для человеческого сообщества, она – портится, и приводит к таким-то и таким-то плохим результатам. Что же касается нацизма, то это – сила, прямо и открыто объявившая себя сразу нечеловеческой. С этим связан и другой аспект, который для нерелигиозного еврея делает проблему Катастрофы – и отношения религиозного еврейского сознания (которое, с моей точки зрения, Катастрофа не изменила) к ней, – такой мучительной и драматической изначальной (к какому бы решению этот неверующий еврей ни пришел) – это то, что, в сущности, как мы можем точно сказать сегодня, и коммунизм, и нацизм – это явления религиозные. Это – религиозные феномены истории, которая до них носила нерелигиозный, относительно позитивистский характер. Самое правильное, как сегодня мир понимает, определение Гитлеру дал фон Раушнинг – человек веймарского воспитания и культуры, похожий на одного из гуманных персонажей Томаса Манна, который бежал еще в 35-ом году из Германии. Он был очень приближен к Гитлеру, и много с ним разговаривал. Свои записи разговоров с Гитлером он назвал

«Зверь из бездны», где он прямо говорит, что Гитлер – это не явление новейшей человеческой истории, а это явление тех чудовищных эпох, очень далеко отстоящих от современного человечества: первых веков христианства, эпохи протестантизма с огромным крушением и переменной религиозного кода.

Религиозная установка здесь состоит в том, что есть некая трансцендентная цель, ради которой человек является просто материалом, и не имеет собственного самостоятельного значения (в противоположность гуманизму, в котором человек является абсолютной ценностью). То есть, эта религиозная установка – такая установка, которая отрицает ценность человека, а требует только реализации некоего его договора с трансцендентной силой. Эта трансцендентная сила ни в случае Гитлера, ни в случае Сталина – не есть Бог, но есть его замена. Уточню, что в религиозной установке человек рассматривается не как средство, но он рассматривается, как состоящий в некоей особой связи с трансцендентной силой и только относительно этой особой связи – он обретает свое человеческое достоинство; в частности, так в иудаизме, и так в христианстве. В нацизме и коммунизме были поставлены цели: коммунизм – это всеобщая справедливость, апокалипсическое учение, которое должно было преобразить мир, создать нового человека, а космогоническое учение Гитлера должно было преобразить мир и природу. И относительно именно этих ценностей человек либо имел ценность (если, в случае нацизма, это был немец и ариец), либо не имел никакой ценности, потому что он не был в связи с этим. Это – древнейшие религиозные установки. Их можно назвать языческими или какими угодно, но это – религиозные феномены. Поэтому, определенное недоверие и как бы ожидание несчастья, как это присуще человеку, как феномен человека, – это и есть религиозность, которая существует у секулярного еврея, и с этим – трудно справляться.

<При этом> под религией я понимаю такое существование, когда установлена некая ценность, выходящая за пределы человеческой жизни, и дающая ей смысл (на всех уровнях). Фактор времени не имеет значения ни в одной религии. Вернее, время не имеет содержания, свободного от присутствия этого высшего начала. Несомненно, что такие грандиозные идеологии – коммунизм и нацизм, были, так сказать, «псевдоморфозой» – «сохранением структуры (религиозной) при замене верхнего идеала». Но это уже не просто «идеологии», потому что если бы это было так, они бы не свернули так всю историю. Ведь этого не смогли сделать (и не делают) другие многочисленные идеологии, например, либерально-капиталистическая.

Идеологии имеют очень точную дату рождения – 1789 г. То есть, они появились после французской революции, в борьбе с религиями, приняв на себя метафизическую сущность религии, ее собственно национальные цели, и ее основные характеристики – пока они не сломались в этих двух религиозно-идеологических образованиях – коммунизме и нацизме. Что сегодня идет на смену им – я не знаю. Ясно только, что это место пустым не остается, и чудовищное возрождение и наступление ислама говорит о том, что очень может быть, что кривая замкнулась таким образом, что возвращается то, от чего уходили идеологии, – которые сокрушены, потому что они были метаморфозами религии. На их место могут выйти опять религии, которые в свое время были идеологиями вытеснены.

Очевидно, что <«верхний» идеал фашизма>, это – расовая мистика, преображение мира и космоса! И конечно, – это «преображение мира и человека» есть духовный идеал. Более того, тот же Фест говорит, что проблема нацизма заключается совсем не в том, что он организовал и втянул в себя все аморальные, подоночные, уголовные и извращенные элементы европейского человечества. Подлинная проблема нацизма заключается в том, что он втянул в себя все моральные энергии: моральные, но не морально ориентированные. То есть, к нацизму в первую очередь приходили люди с высокой морально-религиозной мотивацией. Только на основе религиозно-моральной мотивации и можно было так перевернуть мир, как это сделал Гитлер. Никак нельзя свести все к «мюнхенским пивным», на которых бы они никогда не продержались. Об этом есть потрясающие свидетельства. Примерно в 34-ом-35-ом годах, когда не было еще такого наступления на христианство, которое было потом, была очень популярна пьеса (отметим, что театр в Германии был очень популярен) – кстати, пьесы на эту тему были популярны и в России, в серебряном веке (до революции) – «Предательство Христа Иудой Искариотом». Остались (были изданы) потрясающие мемуары одного американца, который был туристом в Берлине в это время. Он пишет, что когда сцена показывала распятого Христа и Тайную Вечерю, раздавались невероятные аплодисменты, у людей – истерика, и сидящая с ним рядом женщина кричит: «Гитлер – вот он наш мессия. Это Рем его так предал, как Христа предал Иуда». Так воспринимали мессианизм и христологию немцы – воспитанные, кстати, в невероятно религиозной этике. Протестантизм, который был колоссальной религиозной революцией, воспитал в немцах религиозную этику – и без ее базы, как это ни парадоксально, Гитлеру ничего не удалось бы сделать. Среди нацистов были как католики, так и протестанты, и были люди с очень высокой религиозной возбудимостью. Более того, сам Гитлер, например, который не любил церковь и

пр., говорил о Провидении, говорил о Высшей силе, и в конце концов, он говорил о Боге, и в это он верил. Когда речь зашла об уничтожении евреев, то он говорил, что это – «величайшая историческая миссия, которую вручило нам Провидение». Имеются поразительные вещи, еще до сих пор не учтенные. Считается, что Гитлер был националистом, и что его возвышение есть победа немецкого консервативного национализма над коммунизмом. Однако незадолго до гибели Гитлер сказал, что он жалеет о двух страшных ошибках, которые он совершил. Первое – это то, что он не уничтожил правых так же, как он уничтожил левых (хотя он и старался сделать это после покушения на него, почистив прусское юнкерство), и вторая – это то, что он недооценил ислам.

Совершенно открытой и непостижимой для меня темой, как бы к ней ни подбиралась, остается почти интеллектуальная техника, в которой совершенно необходимо осознать «участие евреев в Катастрофе». Потому что, кроме банальной и дурацкой марксистской схемы, есть психоаналитические и эротические схемы, бывшие модными в 70-ые-80-ые годы, совершенно омерзительные, о как бы некоем соитии палача и жертвы, о некоей эротической тайне, которая связывает немца и еврея. Это – знаменитый фильм «Ночной портье», а в Израиле – знаменитый роман «Человек и собака». Это – гнусная дешевка. Тем не менее, с какими-то аспектами поведения евреев перед лицом гибели в Катастрофе все равно придется иметь дело. Снова я повторяю, что трудностей здесь очень много, но если мы не начнем об этом говорить и думать, то нам не вырваться из тисков, которые существуют. И никакая смена правительства тут не поможет, не поможет никакая смена политического курса, до тех пор, пока хотя бы религиозное и нерелигиозное еврейское сознание не столкнутся вокруг Катастрофы, как первичного и на самом деле почти что – самого главного; потому что я не верю в то, что после Катастрофы – это то же самое еврейство, которое было до нее. Есть новая основа для нового еврейского единства. Есть новая основа для новой еврейской метафизики и для новой еврейской трансценденции после Катастрофы.

ПОКРОВ НАД БЕЗДНОЙ

СЛОВО О МИЛОСТИ И ГОРДОСТИ

Краткий очерк души и творчества

Вслушиваясь, вчитываясь и снова вслушиваясь в новые стихи Михаила Генделева, я поначалу то и дело вылавливала из собственного внутреннего гула и шума приبلудившееся слово «милость». По контрасту: для поэтической вселенной Генделева не существует понятия более чуждого и враждебного, чем это сладкое слово. Надежду на милость он однозначно расценивает как ожидание милостыни, даже если выясняется, что нищим придется объявить нашего всеобщего любимца Мандельштама.

Да разве только любимец?! Как выражаются заскучавшие по культуре личности современники: «Мандельштам – культовый поэт».

Генделев это учитывает, и в вершинном рывке своей книги, стихотворении «К арабской речи», которое я уподобляю Дню Шестому его нового творения, иронически величает Мандельштама: «бог-Мандельштам».

Так в стихе «К немецкой речи», по образу, но не подобию которого написано обращение к речи арабской, сам Мандельштам без всякой иронии взывал к богу-Нахтигалю.

И впрямь: от века культ положен и приличествует только божеству, так что, отмечу вскользь и ретроактивно, само словосочетание «культ личности» уже содержало в себе суровую критику и, что самое забавное, критику теологическую. А потому – провиденциальную.

Новые стихи Генделева – тот единственный род поэзии, который сегодня еще способен оправдать и удержать эту грустно уходящую натуру. Поэзия Генделева есть поэзия теологическая, ее главный нелирический герой, держатель тематики, семантики, облика и склада стихов, единственное полноценное «ты», выступающее в паре с авторским «я», – это руководящее начало, начальник бытия, в просторечии именуемый Богом.

Во избежание возможных недоразумений: Генделев – поэт теологический, но совсем не религиозный. Если речь идет о конфессиональной религиозности (а в случае Генделева таковой может быть только иудаизм – ни для каких иных версий он оснований не давал), то мы не встречаем в его стихах ни отсылок в нашим священным преданиям, ни грозди имен наших пророков, патриархов, святых и вероучителей в роли покровителя и гаранта поэтического слова. Даже танахический лад, чья сверхмощная метафорика особенно близка генделевской поэтике, не отзывается ни узнаваемой образностью, ни внятным воспоминанием о Книге книг (цитата, аллюзия, сюжет).

Если же иметь в виду религиозность неконфессиональную, то есть некое общее томление в предчувствии Высшего Существа, которому Поэт в назначенный роковой час представит на рассмотрение свою бессмертную душу, то и такого ничего нет. Как впрочем, нет и самой бессмертной души, желающей слиться с трансцендентным партнером. Короче: акт веры какой бы то ни было и в кого бы то ни было – генделевским стихом не запечатлен.

А вот половых актов в его стихах – в избытке. Его брутальная, циничная, нежная и поэтически изобретательная эротика образует свою собственную метафизику, свой особый и особенный мир надрывной одухотворенности смертельно сцепившихся и безнадежно смертных тел.

Все мы свидетели могучих усилий в поэзии и прозе до основания разрушить классический строй любовной речи с помощью материальной силы веками угнетавшихся языковых слоев. Ну – разрушили, дальше что? Тотальная замена при длительном и всеобщем пользовании будоражит и впечатляет меньше, чем описание первого поцелуя у Тургенева. И только перо Генделева из всех, известных мне опытов прямого воздействия, превращает так называемую «ненормативную лексику» в сакральный язык эротики.

На пространствах мирового художественного слова, особенно в западных его долготах, нетрудно отыскать единомышленников и подельников Генделева по борьбе за свободу и независимость эротики от присмотра сверху и принуждения снизу.

Да, там и только там, в художественности, располагается родственная Генделеву воля, но не в религиозных интерпретациях и оправданиях сексуальной судьбы человека.

Это – религия, но Бог – совсем иное дело. Как активно и бесперебойно действующее существительное языка и истории, Он, на самом деле, находится по ту сторону веры или неверия, но всегда по сю сторону любопытства и расследования.

Кто сей? Один за всех, все – на одного? Бог-Любовь? И вот тут подчеркну сразу: в отличие от непосредственного телесного диалога, всегда возвышенного, какими бы словами ни пользовался автор, – слово «любовь» является у Генделева не иначе, как с иронической ухмылкой и в незримых кавычках. А все потому, что «Бог-есть-Любовь» стало с чего-то Его атрибутом-концензусом, прилагательным в роли существительного. Что, конечно, противно уму, опыту, да и вообще противно.

Но если Бог не есть любовь, тогда что? Бог-Ненависть? Бог-Война? Бог-Мир? Милосердный? Немилосердный?

На языке той традиции, которым как наиболее доступным сырьем пользуется Генделев, слово «милость» во всей полнотности своего требовательного смысла прозвучало дважды.

«в свой жестокий век восславил я свободу
и милость к падшим призывал».

Осторожный (оттого, что мудрый) Пушкин сопровождал «милость» глаголом несовершенного вида, справедливо полагая, что в тигле истории ему не суждено дообжечься до совершенного. Мандельштам безоглядней – через сто послепушкинских лет, в год 32-й от начала по-настоящему жестокого века, он к себе, падшему, милость не призывает, – он ее вымалывает:

«Я прошу, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости».

Но едва ли не том же году, в той же стране и как будто в необъявленной войне с Мандельштамом, в пику и на зло ему произносятся о милости поистине великие слова:

«Мы не можем ждать милостей от природы!»

Это исповедание недоверия приписывается автору яблоч, груш, слив и прочих натуральных радостей и безнадежно скомпрометировано тем, что рекомендацию садовника к стволу времени привил палач.

И время не пощадило Мандельштама. Его кассационную жалобу оно тоже срезало – нашел у кого просить!

А потому без смущения и не таясь – объявляю: призыв не ждать милостей от природы, любой, будь то природа времени или природа Бога и человека, находит во мне живейший отклик.

Можно ли ждать милости от будущего после того, каким мы его делаем? Никого оно не рассудит, ничего по своим местам не расставит. Сказанное в настоящем настоящим и призывается к ответу. Сейчас, сегодня, сию минуту я присваиваю новым стихам Генделева эпитет самый запретный для нынешней речи, на каком бы языке эта речь не звучала: стихи Генделева – гениальны.

Гениальность – слово динамитное, одним своим присутствием оно рвет в ключья ту подлую философию равенства, которая удавкой замыкает нашу гортань. Невысказанное словом удушает мысль в зародыше. О, да, конечно, «мысль изреченная есть ложь»... Допустим. Но что есть мысль неизреченная? Отвечаю: она есть гниение. Мы живем в мире гниющих мыслей и буйно жирующих слов.

Генделев пишет не словами и не их сочетаниями, не строками и не строфами, – он пишет сущностями, мыслями и смыслами. Экцентричная топография его стиха подобна дорожному предупреждению о крутых поворотах смысла, не вписанных в движение одних только слов. Что ж до смысла слова «смысл», – негоже видеть в нем исключительно плод разума, туго спеленатый понятием

(слово). Смысл – это отдельное целокупное существо, пришедшее в мир, чтобы в нем утвердиться. Или быть отвергнутым.

И все же интересно: откуда у Генделева берутся слова? Ответ: от Мандельштама.

Обычный читатель ищет (и находит) в стихах идеальное (поскольку красивое и гармоничное) выражение и воплощение своих личных забот и тревог – идейных, любовных, социальных... Читатель рангом повыше ценит поэзию за прямо противоположное свойство: возможность выйти из биографии и хоть ненадолго перебраться в другое измерение языка и реальности.

Совсем иначе один поэт читает другого: он читает не отдельные стихи, циклы, сборники... Из совокупности сказанного собратом по цеху поэт вычитывает изначальную цельную позицию перед лицом Города и Мира. Ведь только позиция способна организовать в стихе совместное выступление слова и смысла.

В незапамятные времена под старым небом и на старой земле из всех заранее подготовленных позиций особо ценилась позиция гражданская. Вместе с другими оставленными редутами сгинула и она. Хотя и не бесповоротно, с реваншем в запасе.

Позиция Генделева не только не гражданская, но обратная ей, та самая, на которую девушка провожала бойца. Генделев занял такую позицию, про которую знает точно: ни поддержки, ни прикрытия у нее не будет.

Мало в чем так резко сказалось различие между Девятнадцатым и Двадцатым веками, как в жанре «Поэт и Смерть». Конечно, и в XIX веке догадывались, что раз люди смертны, а поэт – человек, смертны оба. И все же поэт был смертен по-другому: больше и меньше, чем человек обычный. Поэт состоял со смертью в интимных отношениях, как автор со своим персонажем. Он исподволь навязывал смерти сюжет своего ухода, приучал к обстоятельствам места и времени своего первого и последнего с ней свидания. Как показывает мировая история литературы, в этой отчаянной авантюре поэты, в общем, преуспевали. Но в первой половине прошлого века поэты стали густо мреть не сами по себе, но в качестве представителей и заложников разнообразных человеческих сообществ – социальных, национальных, политических. Наименование «поэт» в их учетно-похоронных карточках значило не больше, чем «химик», «плотник» или «плоскостопие» в перечне особых примет.

Мандельштам поздно, но осознал, что назначенная ему смерть не похожа ни на один из образов его поэзии. Напротив, предстоит ему умирать в гуще народной громады, гурьбой и гуртом... Осознал – и заметался.

Генделев очень рано примерил свою смерть на коллективный опыт. В отличие от штафинок мандельштамов и бродских, он нюхнул смерти на настоящей войне.

Что дала ему война? Что он ей дал? Эту тему с вариациями не обошел ни один, писавший о поэте. В обязательном, как утренняя поверка, порядке поочередно выкликались: Киплинг, эпический этос, дифирамбический запой, а также, как неизбежное отрезвление, смена гомеровской героики на Архилохову иронию.

На самом же деле, военнотружущий Генделев принимал участие лишь в одной израильской кампании – Ливанской (1982-85), но как поэт, однажды на войну попав, он более с нее не возвращался. Последний раз на линии огня его видели 16 июня 2004 года, когда было зачитано стихотворение «К арабской речи».

Еврейская смерть – полиглотка, сегодня она продирается сквозь горловую сушь арабской речи, вчера изъяснялась на сыром наречии Гете и Гейне. Без горечи и зависти я предоставляю любому грамотному филологу несравненное право наслаждаться процессом лепки генделевских смыслов – из высокосортной глины, в которую возвращены стихи Мандельштама. К примеру тем, как «огонек полночный» и «веймарские свечи» оборачиваются «горючей автопокрышкой Газы негасимой»... А просьба к Богу-Мандельштаму выдать «свисток в разгар суждения», то есть в разгар последнего, Страшного, Суда – это опрокинутый подстрочник мандельштамовой молитвы соловьиному Богу-Нахтигалю. Ну и еще совету держать в уме другого немецкого небожителя – Гете, «свищущего на вьющейся тропе»... Только, вдогонку Генделеву, притягивает меня не поэтика, а политика, она же, как известно, судьба.

Как мог Мандельштам с такой поистине наоборотной пророческой точностью вычислить и выписать все до единой статьи, которые буквально через год лягут в основание смертного приговора евреям, приговора окончательного, ни пересмотру, ни обжалованию не подлежащего? Немец-офицер, Церера – богиня производительных сил земли и царства мертвых, Валгалла, Бог-Нахтигаль, обернувшийся СС-овским спецназом... Лютеров протестантизм («я книгой был, которая вам снится...») тоже антисемитский до такой степени, что на Нюрнбергском процесс один из кандидатов в висельники гневно воскликнет: «Если бы Лютер был жив, его бы судили вместе с нами!». Все учел Мандельштам, никто не забыт, ничто не забыто. Откуда же эта слепота, хуже куриной, у одного из умнейших мужей русской поэзии?

Много лет назад мои старо-новые соотечественники чуть не сгрызли меня до костей за статью под простым названием «Осип Мандельштам – поэт иудейский». По мнению моих ненавистников, Мандельштам был и остается едва ли не лучшим, талантливейшим и русским поэтом. Посему, обозвав его «иудейским», я отказала Мандельштаму и в звании поэта, и в чине гения.

С тех пор еврейские корни Мандельштама так победоносно обнажены мировым мандельштамоведением, что неоспоримое для 60-х годов христианство автора «Notre Dame» сильно отступило в

ть... Но и это перебор, а значит – неправда. Конечно, крещение не оставляет столь зримых примет, как предшествующее обрезание, но и обрезание в духе, по слову основоположника, не проходит бесследно. Именно Основоположник, догадался Генделев, и есть первоисточник мандельштамовского выпрашивания милости у убийц. И тогда «К немецкой речи» Генделев подключает свое «Первое послание к евреям».

Чтобы оценить виртуозную и трагическую иронию этого стиха, необходимо уразуметь: по дивной выдумке Генделева, Павел обращает евреев не в христианство, а в ислам. Да и какая, в сущности, разница, если, как сказано в оригинале, цель одна – «Получить милость и обрести благодать для благовременной помощи»? И со всею откровенностью апостол поясняет, зачем нужна Милость, она же Помощь: «Чтобы начатую жизнь твердо сохранить до конца». И средства подсказывает подходящие: «Старайтесь иметь мир со всеми». А Генделев – свое, жестоковыйное:

«Мне смерть как нужно... зубами выговорить в кислород желание
Война!»

Начало Генделева – «Послания лемурам». В последних стихах он возвращает жанру посланий исконный страшный смысл: роковая весть, способная перетряхнуть мир.

В двух посланиях двух евреев с нижайшей просьбой начатую жизнь твердо сохранить – Генделев меняет адресат. Так мандельштамовское «К немецкой речи», как показало вскрытие, – это, на самом деле, послание к евреям. А апостольское «Послание к евреям» обращено (в оригинале) – к эллинской речи. Написано и дошло по-гречески, и потому, как показывает элементарная деконструкция, знаменитая благая весть «Несть эллина, несть иудея» означает: эллины-то как раз и есть, а иудеев – несть!

По заверениям специалистов, в одноименном стихотворении «Мандельштам специально подбирает слова максимально близкие фонетической структуре немецкой речи».

У Генделева обращение «К арабской речи» не допускает и мысли ни о ее вторжении в стих, ни о ее приглашении к диалогу.

Он цитирует двух арабских поэтов, и впрямь великолепных, одного даже величает «страшным братом», но война для него не братоубийство, это просто война, насмерть.

«Поучимся ж у чуждого семейства
зоологической любви без фарисейства
а
чтоб
в упор
взаимности вполне».

Мандельштам от века-волкодава открещивался тем, что он по крови своей не волк. Для Генделева образ его времени и его врага – это свора псов. На них он призывает молчание тигра.

Кольцо несуществования тесно, а потому генделевский извод послания Павла неизбежно замыкается Мандельштамом:

«История – это ров расстрельный... или как там... ров
наполненный шумом времени»...

Стихи Генделева не подвержены коррозии времени – ведь он ни что не надеется, ничего не выпрашивает. Ни у своего Бога, ни у своего народа.

Поэтому смиримся: Генделев – наша национальная гордость, великий еврейский поэт.

Потому что он единственный, который пишет о том, о чем евреи молчат. На всех языках. А должны кричать!

ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ

...а было так: где-то на окраине XVI-го века и тогдашней Европы, а именно – в Праге раввин Иегуда Лейб бен Бецалель, восстановив утраченные формулы каббалы, сотворил искусственного человека Голема (само же слово означает безжизненную бесформенную глыбу).

С точки зрения Талмуда ничего экстраординарного в таком творении нет: «... если бы праведники захотели сотворить мир, они смогли бы это сделать, составляя различные сочетания букв неприносимого имени Бога...

Равви Ханина и равви Ошая, два ученых, имели обыкновение в каждый канун субботы изучать Книгу Творения, с ее помощью создавали трехлетнего бычка, которого и съедали на ужин» (Борхес, «Бестиарий», «Голем»).

Голем пражский тоже был создан в узко практических, утилитарных целях, хотя и не в качестве телячьего стейка, а для выполнения тяжелых работ. Однако и тяжелая работа требует человеческого участия, а Голем бывал человеком с длительными паузами и антрактами: его бедную глиняную жизнь поддерживала лишь магическая табличка, засунутая раввином под язык болвана. Однажды Иегуда Лейб забыл вытащить табличку, Голем впал в неистовство и побежал по кривым улочкам гетто, круша все на своем пути.

(Внимание! Перед нами первое в истории человечества восстание робота!)

Раввин, натурально, Голема догнал, табличку извлек, и Голем рухнул замертво. От него осталась лишь жалкая глиняная фигурка, которую показывают в Старо-Новой пражской синагоге.

Такова исходная глина сюжета. Ее круто месили многие первоклассные мастера, от Гейне до Борхеса, с Гофманом и Майринком посередине.

Новую жизнь и новую смерть даровал Голему Григорий Трестман с помощью «магической таблички», в просторечии именуемой «поэзия», и отныне никто и никогда не сможет использовать старую глину без оглядки на этот ее последний, яростный обжиг.

Так сегодня невозможно заняться причудливым жизнеописанием европейского черта-Мефистофеля без учета булгаковского Воланда.

...Им предстояли нелегких два часа – они их выдержали.

На них обрушилось переживание, которое никак не выразишь сибаритским словосочетанием: «эстетическое удовольствие» (еще гаже: «наслаждение»), – они выстояли. И так, стоя, триумфальны-

ми аплодисментами, да, да, теми самыми, которые «долго не смолкающие», встретили и проводили финал представления «Голем, или проклятие Фауста» по одноименной поэме Григория Трестмана.

В еврейской поэзии, на каком бы языке она не создавалась, по жестокости и беспощадности текста я могу сравнить поэму Трестмана разве что со «Сказанием о погроме» Бялика и пьесой Жаботинского «Чужбина» (тоже по-русски и тоже в стихах).

Не забыт никто... Религиозного еврея должна бы «достать» кощунственная в его глазах «разборка» со Вседержителем, – она полыхает от первой строфы до последней фразы.

Еврей нерелигиозный, т. н. «хилони» (настоящих атеистов в Израиле, почитай что и нет), должен бы зябко поежиться от раскаленности тяжбы: к чему такая страсть? Не лучше ли, не достойней либеральная холоднокровная терпимость, тем более, что вопрос давно решен в нашу пользу, – ведь обвинять попросту некого?

И, наконец, просто еврей, справедливо полагающий, что в мире и так предостаточно антисемитов, чтобы подкармливать их из нашего кармана, наверняка опознает в сатирических портретах нескольких персонажей штюрмеровский стиль.

В 1906-ом году именно одесские евреи провалили постановку «Чужбины» по очевидной для них причине: автор – антисемит, пьеса – антисемитская.

Видимо, прошедшие сто лет кое-что изменили в психологии русского еврея. Иначе – откуда успех «Голема», на моей памяти в мероприятиях такого рода, – небывалый?

Не поняли? – Невозможно: поэтика Трестмана ясна и прозрачна, поэзия бьющей через край силы и темперамента.

Это классический пушкинско-некрасовский стих, успешно прошедший выучку русского модерна XX-го века; нео-классицизм эпохи пост-модернизма.

Даже на слух... Скажем, строчка «... смутный век шестнадцатый, как тесто, восходит в ноздреватой темноте», воспринимается не столько как поэтическая информация о времени действия, но, прежде всего, как великолепная метафора пастернаковской чеканки.

Так что смысловых ребусов и туманностей поэма не поставляет.

А это значит: поверх и вопреки стереотипам израильской культуры русскоязычный израильтянин хочет дойти до самой сути своего пребывания здесь – еврейской.

Жестоко? – пусть: это не мазохизм, – это ностальгия по внятности.

А все же: что бы мы делали один на один со словом, если бы и музыка нас покинула?

Не покинула: музыка Моти Шмита, изысканная и виртуозная, не иллюстрирует поэтический текст и не соревнуется с ним в дра-

матизме. Она как бы переносит поэму в другое измерение, одновременно пронзительное и утонченное, полное иронии, игровое... Что не мешает зрительному залу давиться рыданиями при звуках «тум-балалайки», бережно переведенной композитором на собственное музыкальное наречие.

Или так: в поэме – стихи предельного, почти невыносимого трагизма (цитирую начало: «На еврейском кладбище весна, но бездомны детские скелеты. Катятся слезинки-времена. Лишь моргни, – и на реснице лето»).

Композитор в ошеломляющем контрасте сопрягает стихи с мелодией, в которой выходец из советского мелоса без труда опознает типовые переливы некой совмещенной «советской лирической» с ее настырным оптимизмом на тему: «я люблю тебя, жизнь...»

(Кто это? Шульженко? Соловьев-Седой? Иосиф Кобзон? Ни один из них и все до одного).

По фабуле – это было тогда, на еврейском кладбище в Праге XVI-го века.

По музыке – это было и будет всегда: еврейская история уже причастна вечности, а в вечности империя Габсбургов и советская империя одинаково и рядом «... восходят в ноздреватой темноте».

Это не мюзикл, это музыка, концерт для голоса со словом. Голос представляет, нет, играет Рут Левин и тогда, когда поет, и когда произносит монологи, реплики, выкрики...

По артистичности, лишенной даже привкуса вымученной театральности, я у нас не знаю никого ей равного, включая и профессиональную сцену.

Ее выразительное пластичное тело кажется лишь хрупким пристанищем голоса, как тело скрипки – пристанище для ее звуков.

Понятно уже, что голос-Рут и музыка-Шмит сильно смягчают горькие откровения и откровенную горечь поэмы. Как и должно быть: ведь даже самую глубокую печаль музыка вызывает там, где предоставленное самому себе слово способно повергнуть в отчаянье.

... Пересказывать фабулу – работа, может, и легкая, но противная. А по отношению к потенциальному читателю подчас еще и злобная, особенно когда речь идет о поэтической речи или особом жанре поэмы (поэма, напоминая, это не жанр, а род и вид).

Так вот, кроме того, что произведение Григория Трестмана есть мистерия (что очевидно), она еще и мистический детектив. Мистический, потому что Голем (каббала), а детектив, потому что Фауст: ибо «или» в названии поэмы – «Голем, или проклятие Фауста» – это союз не разделительный, а, так сказать, «отождествительный», вроде «Безумный день, или женитьба Фигаро».

Фауст, по Трестману, оказывается последней тайной «Голема», а Голем, соответственно, впервые обозначенной и разгаданной тайной Фауста.

...Ни одна из еврейских фантазий, за исключением разве что «Книги книг» и Фрейда, не пользовалась в западной культуре таким успехом, как легенда о Големе.

В финале поэмы о нем выясняется, что популярная в гетто и окрестностях проститутка Мирьям забеременела от случайной связи с глиняным увальнем, так что, по мысли автора, мир наполнен потомками блудницы и рожденной вне первородного греха «искусственной твари».

Но задолго до того, как роясь в архивах, букинистических завалях и старинных манускриптах, Григорий Трестман обнаружил это отклонение от канонического сюжета, европейская литература усыновила потомков Голема на пространстве от великого романа Мэри (версия Мирьям) Шелли «Франкенштейн» и до открытия роботов Карелом Чапеком (так Голем вернулся на родину, в Прагу).

Что привлекло европейцев – понятно: искусственный человек.

Но для Трестмана подлинным и главным героем оказалось место, где он был создан: гетто «как место человека во вселенной», если человек – еврей.

...«Опять погромы снятся в гетто,
опять, как выстрел, воздух сух,
опять поклепы и наветы
ласкают пражской черни слух.
На скотобойне блеют овцы,
вскрывают глотки мясники.
Смеются мелкие торговцы,
сапожники и скорняки...»

А всего-то и случилось, что в качестве черновика будущего (бывшего) дела Бейлиса, пражская чернь накануне еврейской пасхи ухватила за труп найденного вблизи гетто зарезанного христианского подростка.

Попытки избежать погрома, т. е. коллективной смерти, сбивают в достаточно понятную и просматриваемую фабулу всех ее персонажей, это – хоровод теней, круговерть масок под разнообразными кличками – ангел смерти, старьевщик, выкрест, стукач и сыскарь, блудница и, наконец, сам творец – Махарал, рабби Лев бен Бецалель.

Попытки сводятся к выстраданной веками генеральной стратегии гетто: выдать часть, дабы уцелело целое.

(Ремарка: не ошибется тот, кто усмотрит в соответствующих эпизодах даже не намек, а прямое указание на современный Израиль... Увы! Увы! Израиль сегодня, и мы вместе с ним, отнюдь не

наследники Маккавеев, как хотел когда-то Жаботинский, не потомки «патриархов и царей», как мечталось Мандельштаму. Большая кровь гетто струится в жилах Израиля, воздух гетто наполняет его легкие. А что такое воздух гетто? Это –

«... жди с утра дурную весть...
Солнца не было, и нету,
Если даже солнце есть...»

А также : «вечный стыд и вечный страх».

Не опасайтесь автора: он не намерен становиться в первую позицию и пенять недалекому читателю и слушателю, что-де истинная поэзия многомерна и многозначна, а потому грех и ошибка выуживать из нее политическую текучку.

Верно: ошибка. Только у Гр. Трестмана разговор начистоту ведется не в политической плоскости, но в тех глубинах, которые политику диктуют и определяют, иными словами, разговор идет о национальной экзистенции, духовном обустройстве нации.

Поэтому: чем больше вычитают в поэме таких скрытых и скрываемых от осознания механизмов, тем восприятие достоверней, и автор здесь – первый подсказчик).

Вернемся к действию: все интегральные ходы и ловко задуманные интриги к спасению не приводят, независимо от того, какое у нас на дворе тысячелетие... Спасения нет, а нравственная порча, разъедающая гетто моральная гангрена, – есть.

...И взмолилось гетто: «Рабби Лев, сотвори, сотвори, сотвори в эту ночь избавителя гетто!..»

И Бецалель сотворяет глиняного Мессию, травестийно сходного с Мессией христианским: он искупает грехи, спасает и, жертвуя собой, погибает.

А гетто отряхивается от пережитого, и, ковыляя, продолжает выживать. Как говорится, «хаим мамшихим», «жизнь продолжается».

Зато поэма, остраясь от темы и торжествуя над ней, законам гетто не подчиняется.

Из породы храбрецов, она пристально всматривается в еврейские ночные кошмары, и настезь открывается всем ветрам и сквознякам мировой культуры.

...Один и тот же ветер перемен и бунта против синайского откровения, – этот бунт мы знаем под названием Ренессанса, или Возрождения, – проносится и над христианской Европой, и над еврейским гетто: ученик чародея Фауста, Вагнер, соперничая с Богом, выводит Гомункулуса, пражский раввин срабатывает Голема.

Чем больше европейский человек осознавал себя личностью, тем отчаянней созревали в нем гроздь гнева против универсального, ничем и никем не отменяемого космического закона – смерти.

Человек не впервые потребовал сатисфакции от Господа... Самые памятные из таких вызовов – это, само собой, Иов, по его почину – Иван Карамазов, а вслед за ним и Марина Цветаева возвращают Творцу проездной билет на жизнь: непомерный осадок зла и страданий выпадает на долю человека, чтобы доверять отцовской мудрости и доброте Отца небесного. «Пора, пора, пора Творцу вернуть билет!»

Но как ни впечатляет эта моральная «критика снизу», она сильно уязвима, поскольку, как любят говорить израильтяне: «где альтернатива?..»

Иное дело Голем.

Если вынести за скобки различие фабул, повествующих о Големе, Гомункулусе или Франкенштейне, в скобках останется одна и та же алхимическая формула: превращение неживого в живое. Это уже не моральный иск, – это покушение на сами основы Божьего мироустройства. Что? Грех, грешнее первородного? Сатанинская гордыня? И пусть...

А превращение живого в неживое, – это как? Благодеяние? Благословление?

Ну, уж нет: сначала отмени смертную казнь для всех и каждого, а потом и спрашивай добродетели. Не получается? И не надо: естественной смерти мы противопоставим искусственную жизнь.

И противопоставили: спустя всего лишь полтысячелетия искусственная жизнь окружает нас со всех сторон, как острова в океане. И это только начало.

...Чтобы превратить либретто оперы Гуно в первое грозное предупреждение о явлении нового европейца, прежде всего, немца, готового за овладение абсолютным знанием и могуществом пойти на сделку с Дьяволом и продать ему свою бессмертную душу, Гете понадобилось написать 2-ю часть «Фауста».

Автор Голема обошелся одной. Дабы создать еврейский аналог метафизической второй части «Фауста», он безразмерно раздвинул границы фабулы за счет двух собирательных персонажей – полчищ крыс и хора растерзанных детей.

О крысах. Скажу сразу и прямо: разгулом крысиных стай по страницам, строфам и строкам своей поэмы Гр. Трестман ставит восприятие читателя на грань возможного, – оно способно легко соскользнуть в неприятие: ведь крысы, эти серые кардиналы смерти, в психологии человека и культуры прочно застолбили зону ледяного ужаса, необоримого страха и омерзения.

Последний раз на литературу крысы набегали в политическом романе ужасов Орвелла «1984»: крыса там окончательно ломает героя, и он капитулирует перед «старшим братом».

Не случайно: именно в XX веке крыса получает политическое убежище. В гнусно знаменитом нацистском пропагандистском фильме евреи и их власть над миром воплощены в натурально заснятых крысиных полчищах, разбегающихся по земному шару...

Автор «Голема», по его собственному признанию, не только никогда этого фильма не видел, но даже о нем не слышал.

Что ж, чем случайней, тем вернее, тем страшнее...

(Ремарка. В голливудских триллерах крысы, по-голливудски отполированные и откормленные, по части показа успешно соперничают с половыми актами, вампирами и пришельцами.

Что первоисточник этих наездов на психику зрителя – «коричневая чума», – нет сомнения. Но – никакого антисемитизма в американских «страшилках» нет. Просто: предел ужаса. Конец человеческого. Что и было продемонстрировано во всемирно известном историческом триллере под названием «Холокост»).

Своего голоса в поэме Трестмана у крыс нет. Зато они сами аккомпанируют всему происходящему, они втираются в повествование, они шуршат между словами, они царапаются, отделяя одну фразу от другой:

«... приоткрылись норы,
из потайных дверей и дыр
на пол хлынули крысы своры,
перед каждой свой командир»;

«И крысами засиженный астрал
в полуподвальном вечном безразличье
скукожился от страха»...

Прогрызая текст, крысы подтекст превращают в подпол, темное подполье смысла...

Не выручает и музыка: ни одна мелодия, ни одна музыкальная фраза не возвещает и не сопровождает крысье вторжение.

В отличие от гаммельнского крысолова, крысы «Голема» соблазну музыки не поддаются.

Только одно, зато главное, сближает их с «Крысоловом» Цветаевой: дети. Растерзанные дети. Хор растерзанных детей.

Дети и крысы переплетаются друг с другом, прежде всего, в сознании читателя по непереносимости каждой из двух тем, тем более, их очевидной связанности, спаренности в поэме: «...за созвездием крыс, у созвездия мертвых детей...»

Что это? Метаморфоза пострашней кафкианского превращения человека в насекомое? Дети ли после смерти становятся крысами, или крысы мстят за тех, кем были когда-то?.. Не знаю. Думайте, думайте!..

В качестве болеутоляющего могу лишь предложить «слезинку замученного ребенка», которая по мысли автора «Братьев Карамазовых» перевешивает – одна! – все социальные и религиозные утопии мировой гармонии...

А что же в окружении живых крыс и мертвых детей происходит с остальными персонажами поэмы? –

Они сбрасывают маски, под ними – не образы, не характеры, наделенные психологией и личной биографией, короче, – не типы, но – архетипы. Парад архетипов.

Об архетипах. Это те самые первичные модели, сюжеты, ситуации, что, в соответствии с современной теорией, дремлют в коллективном бессознательном и в подсознании искусства.

В поэме Трестмана с ними, однако, нечто радикальное произошло: ведь архетип, – учит наука, – предшествует культуре, он, так сказать, ее почва, чернозем, плодотворная целина...

Но в «Големе» архетип прорастает как раз после конца культуры, на ее, так сказать, «афинских развалинах».

Доверимся моде: это постархетип в пространстве посткультуры, ретроспекция и инспекция одновременно, взгляд с конца.

Поэтому в языке пражан, евреев и христиан, вы вдруг услышите интонации бабелевских героев, мало того, и новорусский жаргон тоже; поэтому Маркс упоминается, как если бы он был современником Бецалеля (хотя он и в самом деле является потомком Махарала), а Освенцим – это тот самый погром, в ожидании которого застыло пражское гетто XVI-го века.

Отсюда, из этой разноголосицы архетипов, чехарды мест и времен усмешается особый юмор поэмы. Конечно же, черный... Откуда взяться другому? И значит, поэма не просто мистерия, – это мистерия-буфф.

Но если автор, как в языке иврит, читает мир справа налево, от конца к началу, – как может существовать Прага Голема без Кафки? Она и не существует: тревожная тень Кафки падает на и без того бессолнечные страницы поэмы.

Вы думаете, это Кафка «Процесса» или «Письма к отцу»? То есть Кафка, усомнившийся не в наличии Бога, но в его благости? И религиозный скепсис Кафки звучит в унисон с богоборческим порывом поэмы? Ничего подобного: они встретились там, где никто ни одного из них не ожидал увидеть – в эротике.

У Кафки в романе «Замок», герой, некто «К», предается любви со служанкой Фридой под стойкой, «в лужах пива, среди мусора на полу». Грязь: она неотделима от секса.

Профессиональная деятельность Мирьям проистекает в полуподвале старьевщика, под шорох крыс и шепот рванья:

«Когда б не изменил мне слог,
я б вам живописал, как дева
тишком-тишком, и в уголок
за ширму рваную, налево
уволокла цепного пса,
и всхлипы, выкрики и стоны
неслись с небес и в небеса»...

Источник этой нечистой, но пламенной эротики в обоих случаях один: гетто.

В гетто простейшее соитие – это привет из человеческой вселенной. В гетто нет любви, есть секс. Любовь – привилегия живых, секс – утешение обреченных.

В 1910-ом году Кафка записал в дневнике: «Я прохожу мимо борделя, как мимо дома возлюбленной!»

...Чтобы вдохнуть глиняную жизнь в глиняного человека, нужно на лбу у него начертать слово «эмет», т.е. истина, которая в Боге. А чтобы Голема уничтожить, необходимо стереть первую букву, останется «мет» – мертвый. Мертвая истина. Мертвый Бог. Так что Ницше, потрясший Европу XIX-го века открытием «Бог умер!», шел по следам еврейского богоборчества.

Но из этой связки «Бог – смерть» Трестман рванулся еще дальше: «Может смерть и есть Господь?» – спрашивает он в финале поэмы. Но это не вопрос, – это ответ.

P. S. Вот что я думаю о поэме Трестмана: это необычайной силы взрыв поэтического сознания в ленивом беспамятстве наших буден. Полюбить ее невозможно, ее можно только возненавидеть, но узнать и пережить – необходимо.

ПОКРОВ НАД БЕЗДНОЙ

О книге «Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма»

Каюсь: будущее меня мало занимает, я равнодушна к потомкам. Достоверно о будущем я знаю только то, что это время в котором меня не будет. А в остальном, – так, грамматическая утопия, пустота, безвидная и бесформенная, ворох неисписанной бумаги, чистый диск.

Зато с прошлым работать одно удовольствие, особенно для филолога, ибо прошлое – это нарратив, прочно сбитый текст со своей завязкой, кульминацией и развязкой. Если, конечно, смотреть с конца. А это проще простого: ведь будущее прошлого – это наше настоящее.

Поэтому предки несравненно интересней потомков: я знаю, из какой исторической глины они слеплены, я могу воссоздать их образ жизни, повадки, облик, ментальность.

Разумеется, речь идет не о предках вообще, но моих собственных и впридачу, – едва ли не двух третей современного мирового еврейства.

Я избегаю генетической мистики, в особенности же не верю в передачу наследственности на большие расстояния, километражем эдак в пару тысячелетий. Конечно, приятно чувствовать себя потомком царя Давида, Маккавеев или хотя бы достойных судей, судящих да радящих по закону и понятиям о справедливости прямо под первобытным израильским небом, в тени олив и сикомор, в окружении благоговейной толпы соплеменников и запахов мяты и душицы.

Только ведь и это – утопия, сионистская утопия...

Вот я и вижу своего прямого и не такого уж далекого предка на фоне насквозь промокшего пейзажа с тусклым небом, хлюпающей землей и заплаканными деревьями...

В лапсердаке, выдавшем виды, шапке из вылезшего меха, с испуганной спиной и лотком в окоченевших руках. Он не оживляет этот угрюмый ландшафт, – скорей растворяется в нем.

Тем не менее, – и я это ясно различаю, – он в приподнятом настроении: ведь он успевает вернуться в родной дом к пятнице. Еще немножко, еще чуть-чуть, один-два перелеска, неглубокое болотце, и он – у себя: над оврагом пригорюнилось местечко под каким-нибудь неблагозвучным названием, «Жабы», например...(Родина семейства Жаботинских). Да отчего же все так печально? – спросите вы. Неужто, порывшись в веках, нельзя найти картинку поот-

радней? Ну, уж нет: мой предок потому и мой, что мы с ним ягодки одного поля – русского...

Мы с ним оказались здесь недавно, в качестве непрошенного довеска к расчлененному на три части благородному телу Польши после ее первого раздела.

В этих понурых широтах рассветные сумерки русского еврейства неотличимы от вечерних.

Об их изначально невыносимом положении написаны десятки и десятки сотен книг: демография, экономические условия, преследования, притеснения, ограничения, наветы, погромы – и т.д., и т.п.

Какую-то малость из этого моря скорби я в свое время выловила, и – остановилась: ... как ни у одного другого народа, существование евреев само по себе, в себе и для себя так разительно не отличается от его отражения в восприятии окружающего мира. Тут, воистину, вопреки всем законам оптики, угол падения равен углу искажения.

Но почему, зачем, во имя чего искажается, дробится, плющится поставленный перед зеркалом образ? – Вот в чем вопрос.

И я, наконец, получила ответ. Нет, я не рылась ни в библиотеках, ни в каталогах, ни в книжных развалах и не шлялась по интернету в поисках подходящих сайтов.

Вместо всего этого я прочитала только одну книгу: «Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма».

... 22-го июня 1812-го года Наполеон перейдет русскую границу в районе польской реки Неман и вторгнется в безнадежные пространства скифской империи.

(Ровнехонько через 129 лет, месяц в месяц, день в день, ту же русско-польскую границу перейдут войска рейха. Тут бы и заделаться мистиком, кабы не сознательно «процитировав» Наполеона, Гитлер бросил вызов судьбе: дескать, вошел я так же, но уйду – иначе.

Однако, Россия, под псевдонимом «Советский Союз», выиграет и эту, 2-ую после Наполеона, Великую отечественную войну).

Итак: 22-го июня 1812-го года Наполеон еще ничего не знает не только о своем грядущем поражении, но и о том, что в ближайшие два века ему предстоит вести двойное существование: одно – на страницах истории, другое – на страницах романа «Война и мир», где он тоже проиграет, но уже не русскому оружию, а русскому перу: ему, герою Аустерлица, покорителю европейских столиц и египетских пирамид, гражданскому устроителю пост-феодальной Европы («кодекс Наполеона»), любимцу Байрона и Гете, – упрямый русский граф откажет в праве даже на самое скромное величие. Он сведет его к толстым ляжкам и куриной слепоте в отношении «движущих законов истории», как выразались марксистские классики.

Такое же двойное существование в эту эпоху ведут сыны Израиля, только прямо противоположное наполеоновскому: в реальности – убогое и забитое на задворках русской истории, и – исполненное блеска и величия в зеркале русской славы.

Здесь поражение Наполеона уподобляется падению Вавилона и торжеству Израиля, кратковременный перевес врага – захват и разрушение святого города, в какой-то чин возведена приравненная Иерусалиму Москва – сменяется чудодейственным освобождением в духе Маккавеев...

И это – официальный язык государства: манифесты, обращения, репортажи. Но он же – язык поэзии.

М. Вайскопф рассказывает – поэт С. Глинка, к примеру, вполне второразрядный, если не ниже, но плодовитый и популярный (ведь Пушкину в это время всего 13 лет! «сочиняет по случаю изгнания Наполеона «Благодарственную песнь Богу, избавителю России», с библейским эпиграфом: «Господь Сил с нами, Бог Иаковль». «Если, – замечает Вайскопф, – образ Иакова, т.е. Израиля, торжественно перенесен на Россию, ставшую богоизбранным народом, то и библейский Вседержитель представлен в качестве ее национального Божества».

Да что там бюрократическое или даже поэтическое вдохновение!

Гимн русской монархии, т.е. как бы семейный гимн династии, который с 1856-го по 1917-ый год вызванивали колокола и часы на Спасской башне, начинался словами Хераскова на музыку Бортнянского: «Коль славен наш Господь в Сионе!»

Остановимся, всмотримся, задумаемся: не пройдет и ста лет, как Сион, располагавшийся на той же мифологической широте, что и Олимп, образует название и цель национально-политического движения евреев... А на его пропаганду, семантику и риторику как раз пойдет ветхозаветная образность, сюжеты, героика...

Та самая героика, которая сейчас, за заре XIX-го века, используется для самосознания, самоописания, короче – «презентации» одного из самых антисемитских государств «старой Европы». Переплюнет Россию только нацистская Германия.

А что в ту пору евреи?...

...Я с детства люблю Наполеона и никогда этой любви не изменяла. А потому с удивлением и с еще большим неудовольствием узнаю от Вайскопфа, что «евреи оказывают русской армии самоотверженную помощь..., в частности, снабжая ее разведывательной информацией»... Тьфу! Гадость какая.

И не только гадость, но глупость и неблагодарность: ведь еще в 1791-ом году «Конституционное собрание даровало права гражданства всем евреям, поселившимся на французской земле, и присоединило их к гражданам государства».

Наполеон, погубитель, но и наследник Революции, пошел еще дальше и вышел в провозвестники сионизма: он предлагает евреям возвращение на историческую Родину, в Палестину, и обещает свое покровительство.

Но: евреи и бровью не повели, и глазом не моргнули, словно им уши заложило...

Может, сверившись с каббалой, они предвидят «дело Дрейфуса» или вычислили победу русского императора над французским, и предпочитают, в целях самосохранения, примкнуть к победителю? Но – нет: истинная причина, я думаю, не то, чтобы проще, но исторически конкретней, можно и без каббалы обойтись: суверенную государственность Наполеон обещает не только евреям, но и полякам.

А что такое поляк, даже не суверенный, в пылу патриотической страсти, евреи успели крепко усвоить на собственных шкурах за несколько веков недобрососедского когда «со» – а когда и «не» – существования. Польские романтики объявили Польшу «мессией, распятым среди народов». Очень трогательно – евреев бы спросили. Так ведь никто не спрашивал.

Вообще, еврейской судьбе сопутствует какая-то изобретательная и злая ирония: почти любое историческое событие (явление, лицо), которое кажет миру благородные черты доктора Джекиля, оборачивается к евреям босховской харей мистера Хайда.

Поразительный пример приводит Вайскопф, – только из его книги узнала: все тот же 1812-ый год. По нему лихо скачет девица-кавалерист Надежда Дурова, единственная героиня среди множества героев той Великой войны. Правда, она какой-то ускользающей половой принадлежности, так ведь это когда-то смушало, а теперь воодушевляет...

Образ кавалерственной девицы в конце 40-ых годов прошлого, т.е. XX-го века, сильно освежил и подновил драматург А.Гладков в своей героической комедии «Давным-давно», кстати, весьма одобренной Пастернаком.

По ее мотивам, уже почти что при конце советской цивилизации, сняли фильм–«хит» Гусарская баллада», сделавший мамзель Дурову всенародной милашкой. Оказывается, эта девица, приятная во всех отношениях, оставила свой подкованный след и в художественной литературе – написала абсолютно несусветный антисемитский роман «Гудишки», «где изображен страшный конюх Горило-Рогач, он же Веймир – язычник и одновременно “проклятый кабалистик”, который сатанинское умение укрощать бешеных лошадей довел до совершенства после женитьбы своей на жидовке». Спрашивается: Дуровой-то чем евреи досадили? – Нет ответа.

И еще одна неожиданная «баллада» с той же двуликой логикой, но, т. е., в «обратной перспективе»: Ф. Булгарин, традиционный

претендент на роль злодея в русской культуре, поскольку стукач и покусывал Пушкина, был не то чтобы юдофилом, – о нет! как можно? – но, скажем, наиболее вменяемым из тех, кто затрагивал еврейскую тему в 20-40-ые годы XIX-го века.

А это и есть эпоха, досконально высвеченная автором «Покрывала Моисея». По композиции и заявленной теме я бы сравнила «Покрывало Моисея» с увертюрой Чайковского «1812 год». У Чайковского это ретроактивная увертюра к «большому театру» русской государственности, у Вайскопфа 1812-ый год – пролог – увертюра к большому и нескончаемому роману русской истории и русской литературы.

Русская история поставляет русской литературе высокосортное первичное сырье, – фабулы, сюжеты, персоналии, – литература в ответ наделяет историю идейным содержанием, образами и символами, а главное – легитимностью высшего порядка: не нравственной, не социальной, политической или даже национальной, но – эстетической.

С какого-то момента трудно решить, где кончается фактическая русская история и начинается русская литература. Как сиамские близнецы. Ни в одной из западных культур история и литература не требуют хирургического вмешательства, чтобы вести раздельное хозяйство.

Только в силу такого устройства при Сталине столь высоко ценилась и оплачивалась литература. Страна обливалась потом, грязью и кровью не ради химеры народного или даже всечеловеческого счастья, но токмо литературы для: чтобы утвердила, узаконила, обессмертила. На литературе Сталин и прокололся: вышла у него советская литература боком и комом, не задалась, не потянула...

И осталась русская история без прикрытия, голышом, как человек, который вылез из воды и обнаружил, что у него украли одежду.

См. книгу того же автора «Писатель Сталин». И не только.

После «Покрывала Моисея» очевидно, что все, до сих пор написанное Мих. Вайскопфом о Гоголе, Пушкине, Маяковском образует органическое единство, как части одного и того же творческого проекта. Так у подлинного романиста все романы – это главы одного большого сверх-романа.

А это значит, что и Гоголь, и Сталин, и Маяковский – персонажи одного повествования, внутренне между собою связанные.

Этот сквозной сюжет я бы определила как невероятные приключения мистико-теологических доктрин в мире литературы. И он, сюжет, есть личная метка Вайскопфа, его, как ныне принято говорить, «бренд», такой темой, кроме него, никто не занимался и не занимается просто потому, что до Вайскопфа ее вообще не было.

В начале XIX-го века евреи становятся фактом русской истории, пока только фактом, а не событием: к центру они прорвутся лишь во второй половине века, захватят начало следующего с опцией продержаться и в нем до конца, но это – другая тема.

На перекрестке XIX и XX-го веков их поджидают такие титаны, как Достоевский, Чехов, Розанов...

А в 20-40-ые года XIX-го века, пропорционально периферийности еврейского присутствия, евреями занимается литературная периферия. Но она-то и образует под-почву, под-пол, под-сознание грядущей великой русской литературы, как, впрочем, и весь ее романтический разбег.

Вспомним, что «внутриутробное развитие» в недрах романтизма проходили Пушкин, Гоголь, Лермонтов, ранний Достоевский...

Но и это еще не все: «контрольный пакет акций» «русской идеи» формируется именно в недолгий век русского романтизма. А где «русская идея» – там ищи еврея. Как-то плохо она без него «раскрывается», все равно как однополюсный мир.

(Занятная подробность: в фельетоне «Русская ласка», где Жаботинский дает русским евреям открытый образцово-показательный урок русской литературы по теме «Образ еврея в русской классике», среди других выдающихся антисемитов, он поминает Грибоедова. Что странно: для автора «Горя от ума» евреев как бы и вовсе не существовало. Зато одним из первых он обозначил «русскую идею» как анти-западную и анти-либеральную, стало быть, – антисемитскую. Что было необсуждаемо ясно и самому Жаботинскому, и его читателям).

Со всеми ее узнаваемыми модификациями «русская идея», как некогда марксов «призрак коммунизма», до сих пор бродит по России, то и дело заглядывая за ее границы, так что мы до сих пор размещаемся в зоне ее интересов и досягаемости.

...В одной из книг о Наполеоне (или «мсье N», как его величали недруги), я наткнулась на удивительную запись в дневнике, который великий император вел на острове св. Елены: «Цель века была достигнута, совершилась революция. Я делался ковчегом Ветхого и Нового завета, естественным между ними посредником. Мое честолюбие... заключалось в том, чтобы утвердить и освятить, наконец, царство разума и совершенное торжество человеческих сил»...

Обдумаем: сам несомненный романтический герой и тот, в ком Россия видела антихриста, предводителя атеистических полчищ, а победу над ним приравнивала победе бога Израилева над язычниками, – думает о себе, осознает себя в тех же, что и Россия, иудео-христианских образах и понятиях: он – «ковчег завета», т.е., в сущности, эманация самого Бога Иаковлева! Но в совершенно недопустимом союзе с «царством разума и торжества человеческих сил», т.е., – с Просвещением, антихристианским по убеждению и страсти. В то же, примерно, время, когда Наполеон завершал свои

«замогильные записки», в ту же ловушку, – соединения света разума с иудеохристианским обетованием, – угодил более везучий император – Николай I-ый.

...Одна из самых блистательных глав книги Вайскопфа – это рассказ о том, как царь Николай евреев просвещал, и что из этого вышло. А вышли из этого кантонисты, один из самых жутких эпизодов в и без того жутковатой истории русского еврейства.

И здесь автор передает слово наиболее прославленному и достоверному свидетелю, очевидцу и судье эпохи – А. И. Герцену.

По дороге в вятскую ссылку создатель «Былого и дум» сталкивается с этапом, по которому гонят малолетних еврейских детей и подростков на цареву службу, а для большинства – неминуемую смерть. Цитата душераздирающая. И не только она, – есть еще и такая: «... Проливные дожди превратили город в “море грязи, с белыми островками жидовских строений”. По счастью, расквартированные здесь офицеры нашли для себя удобное транспортное средство – «жидов-факторов». «Они с трудом вытягивали свои ноги из грязи, каждый из них кряхтел и горбился ношей, каждый из них был оседлан веселым офицером, и эта кавалерия, неспособная к кавалерийской атаке, горланила во все горло. <...> Это веселая толпа, сброд всех родов русского оружия. Господа сии изволили завтракать и пировать на квартире в жидовском доме, и теперь длинной ниткой переправляются верхом на жидах в трактир обедать и продолжать давно начатую и беспрерывную оргию».

Редчайший случай, перед вами – кентавр из «русской идеи» (ибо, что же больше воплощает национальную идею, как не армия?), – оседлавшей превращенного в полулошадь наследника идеи еврейской.

Мессианство верхом на мессианстве переправляется через море грязи.

Эта штука посильнее полета кузнеца Вакулы на черте или Маргариты на метле, – ведь это полеты во сне, выдумка, литературная фантазия, а тут – все наяву, зарисовка с натуры, практически, – этнография, «физиологический очерк», как называли такой жанр в XIX-ом веке. Но кто автор этого впечатляющего памятника русско-еврейским отношениям? Да никто, некто г-н Титов, извлеченный из литературного небытия только милостью Мих. Вайскопфа.

...«Покрывало Моисея», как ни одна другая книга, развернуло передо мной безысходное в своей доказательности понимание, что есть антисемитизм.

А есть он феномен религиозный и по происхождению, и по способу существования, побочный продукт неразрешимого внутрихристианского конфликта между Ветхим и Новым заветом. Раздвоение религиозной личности, религиозная шизофрения, пребывание внутри парадокса...

Примирить противоречие, или, как сказал бы именно в эпоху романтизма впервые прочитанный Россией Гегель, – «снять» его, – невозможно. Поэтому «снимаются» евреи...

Если употребить в дело грациозные гегелевские триады, – получим: иудаизм – тезис, христианство – антитезис, а синтез где?... А синтез это и есть антисемитизм.

Поэтому: бессмысленно и бесполезно пытаться примкнуть, присоседиться к угнетенным, униженным, оскорбленным и отверженным всех рас, стран и народов от начала веков и по сей день...

Еврей – вечная жертва, но жертва сакральная, а сакральное – это, как отключенный мобильник, – оно вне зоны досягаемости истории и рассудка.

Но это еще пол-беда, беда целиком выглядит еще плачевней: двойное бытие, на которое обрекла евреев всемирно-историческая победа христианства, с извилистым течением времени стало их собственной природой. А потому мы, с одной стороны, стоим перед человечеством «воплощенной укоризною», как жертва, а с другой стороны, – столь же истово и перед тем же человечеством изображаем вину, и раскаиваемся, и просим наказания, и получаем его.

Все, что не успело и не успеет досказать христианство, – ибо в агонии, – докрикивает ислам. Докрикивает мощно, во все, сколько их не есть лошадиных сил, не растраченных на живую историю, науку, технологический прогресс, одним словом, – культуру... А мы по-прежнему мычим и каемся...

Как предмет религиозного назначения евреи всегда находятся в сфере метафизического принуждения, какой бы стороны еврейской жизни это не касалось, – от исторической до самой что ни есть бытовой... Открываем «Покрывало Моисея», главу «грязь, слепота и болезни»: еврей грязен и хвор, – таков, – как показывает Вайскопф, – за редчайшими исключениями, вердикт российской словесности.

А, между тем, именно ей следовало бы по поводу этого сюжета смутиться...

...Кто не помнит хлопоты Наташи Ростовой, как перед первым в ее жизни балом, она с особой тщательностью помыла руки, шею и за ушами?

Но наш современник, одержимый культурой тела, обязательно споткнется о водные процедуры юной графини: как же так? – спросит он, – шея, руки, подмышки, – это, конечно, очень важно, но другие части тела? С ними как?... – Роман безмолвствует.

...В 1824-ом году, высланный на свой «101-ый километр», в село Михайловское, Пушкин получает известие о страшном наводнении в столице. О нем помазанник божий молвил так: «С господнею стихией царям не совладать»... Величественно, вошло в историю...

Зато творец «Медного всадника» откликнулся на воистину апокалиптическое событие самым неожиданным и невозвышенным образом: «Вот прекрасный случай нашим дамам подмыться», – отписал он одному из своих приятелей в Петербург.

Так что знал Л. Н., о чем писал...

Какой бы «странной любовью» не любил Лермонтов Россию, – назвал он ее – «немытой». Этот, обонятельного происхождения эпитет, стал постоянным и более уничижительным, чем любая нравственная или политическая оценка.

Так то – аристократы...

А что представляла собой санитария и гигиена 100-а миллионов «пьяных мужичков», – и помыслить страшно.

Однако же, – пишет Вайскопф, – «... как бы убого не выглядел местечковый быт, для юдофобского санитарно-гигиенического снобизма не было решительно никаких оснований – кроме априорной уверенности христиан в своем превосходстве. А между тем, именно эта уверенность, охватывающая все стороны еврейской жизни, полностью определяла политику властей, стремившихся, – до поры, до времени, – к интеграции евреев в российское общество».

...Еврей не человек, он – человеко-символ. В еврее все должно быть символично: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...

Пусть крестьянское население целых российских губерний слепнет от трахомы, – сие прискорбно, но – исправимо, излечимо.

Зато такая же, по тем же причинам слепота у евреев – это не болезнь, а метафизическая отметина; лечению не поддается и не должна, ибо слепота внешняя лишь символизирует слепоту внутреннюю.

Во всех без исключения религиях существует понятие и обряд ритуальной чистоты, но в теневой религии антисемитизма господствует представление о ритуальной нечистоте еврея: он не просто грязен, он должен быть грязен.

Совсем недавно со всей пещерной непосредственностью на эту тему высказался белорусский президент, – он заявил, что, покинув белорусские <города>, евреи оставили после себя грязь и мусор. Как это им и свойственно. Что это? Опыт? История? Воспоминания? Да ничего подобного: от первого до последнего слова суждение г-на Лукашенко «до опыта приобрело черты».

Лезть к антисемиту с опровержениями и доказательствами – и бесполезно, и бессмысленно: ведь он – верующий.

...При других обстоятельствах, – литературных и личных, – я бы не поленилась сопроводить комментариями и размышлениями все 10 глав «Покрывала Моисея» плюс вступление и эпилог. Уж очень пробуждающее чтение!

Я бы назвала эту книгу просветительской, – не в смысле «разумного, доброго, вечного», – а как раз по причине ее беспросветности.

В нашем непроветренном обществе слишком много сознательного самообмана, риторического барахла в стиле пудры и париков просветителей XVIII-го века, перебор тошнотного казенного оптимизма. При таком астматическом удушьи беспросветность и отчаянье все равно, что глоток свежего воздуха – легкие прочистить, голову остудить... Вот ведь пришли же к выводу, что для того, чтобы сохранить запасы света, необходимо время от времени погружать мегаполисы в темноту. Чем не руководящая метафора?

...Адрес книги, как только она вышла в свет, не дом, не улица и не страна, но любой читатель, потрудившийся ее прочесть. И все же есть два точных адреса – те, которым «Покрывало Моисея» предназначено: это русские и русские евреи, в какой бы географической точке они не находились

При честном чтении книги Вайскопфа русские должны бы ужаснуться своей каннибальской историей, а евреи – устыдиться своей нечеловеческой униженности.

Ужас и стыд такая же надежная валюта, как страх и трепет. Сионизм возник не только из страха, но и из стыда, не в последнюю очередь – из стыда за страх.

Вайскопфа читают, само собой, по-русски, но и по-сербски, итальянски, по-японски. И только ивритоязычный читатель заботливо избавлен от беспокойных сочинений Мих. Вайскопфа. А, между тем, и в Израиле, как и в других цивилизованных странах, наличествует своя «группа риска»: это меньшинство интеллектуальной ориентации. Как и у всякого другого меньшинства, у них есть свои неотъемлемые права, в частности – право читать книги Вайскопфа. Тем более, что, как правило, это блестящие интеллектуалы, которым вполне по плечу, зубам и нервам такое чтение. С некоторыми из них я даже лично знакома.

ЧЕРНОВИК ПРОЩАНЬЯ

СМЕРТЬ ПОЭТА

И, Господи, суди мою вину!
Послушать бы, как бабы завопят,
Когда со мной положат, как жену,
Всю эту землю – с головы до пят!

Безмерность израильского неба будто призвана возместить малость нашего земного надела, но и в Израиле я нигде не видела так много неба, нигде так близко не подходило оно к земле, так ощутимо, так явственно, ласково и обнадеживающе не прикасалось к ней, как на Хулонском кладбище.

Уходит в небо неисчислимая толпа белых надгробий, пересеченных черной ивритской вязью, как белые талиты молящихся – черными полосами.

Надгробья кажутся не вытесанными из камня, но вылепленными из густого, белого, отовсюду льющегося света. И чудится: еще одно мгновение, еще один сильный порыв ветра – и сдвинется этот белый народ, и уйдет, и растворится в небе, а здесь останется пустая, продолженная небом земля, обильная сахаром-песком и скрежетом зубовным, вымоленная белая пустыня, которая приняла в себя сегодня невесомое притихшее тело Ильи Рубина:

– Элиягу Рубин; алав хашалом...

Если бы он умер не Элиягу, а как жил – Ильей, если бы умер на земле, которую называл «этой», но которая для нас уже «та», как «тот свет», на земле, про которую писал: «Я упаду на землю эту, как полагается поэту – окаменевшим воробьем..» – тогда друзья запомнили бы его и мертвым, тогда простились бы с ним, мертвым, как встречались с живым: поцелуем.

Но суровы отцовские законы: неприкасаемо спеленутое, уже не наше, уже отобранное, забранное, присвоенное тело, а над ним – незнакомый голос на незнакомом (сказать ли – чужом!) языке просит его душу, представшую отцовскому престолу, замолвить слово за весь народ Израиля, которого он, Элиягу Рубин, был праведным сыном, родной плотью, возлюбленной кровинушкой.

עוֹשֵׂה שְׁלוֹם בְּמִרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה שְׁלוֹם עָלֵינוּ,
וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאֶמְרוּ אָמֵן*

И нелепая, недозволенная бьется в мозгу мысль: а сам Илья, в юношеских стихах окликавший себя «Илей, Иленькой, Илюшей»,

* Творящий мир в высотах своих да творит мир для нас и для всего Израиля. Возгласите: аминь!

как бы он посмотрел на собственные похороны, на Хулонские кипарисы, непомерное небо и песочную пустынь, на беспощадный ритуал еврейской смерти? Принял бы? Отвергнул?

Ведь человек не только волен жить собственной, жизнью – он и умирать должен собственной смертью.

«Собственной» не обязательно означает естественной. И естественная смерть, когда твое же тело тебя подвело, выдало, предало – насильственна.

Тогда говорят «сраженный смертью». Как пулей или ударом из-за угла. В этом смысле смерть Ильи Рубина – насильственная: он не сам ушел, его у нас забрали.

Но даже насильственная смерть бывает «своей», сопричастной, родственной жизни, а бывает и чужой, навязанной. Своей смертью погибают в бою солдаты, чужой смертью погибали в лагерях и газовых камерах.

XX век одарил нас глубоким опытом не только навязанного образа жизни, но и навязанного образа смерти.

И надо вот так расшибиться, разбиться, раскричаться об эту внезапную, разбойничью, неслыханную смерть, чтобы понять: покидая Россию и выбирая жизнь на еврейской земле, мы выбираем одновременно и еврейскую смерть, в каком бы облике она нас не настигла – войной, взрывом, сгустившимся комком крови:

יְהִי שְׁלֵמָה רַבָּא מִן שְׂמִינָא, חַיִּים
וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאֶמְרוּ אָמֵן*

Но – понимали? Но – знали?

Да... «Бесчувственному телу равно повсюду истлевать», но и душа – человек. Но все равно хочется «почивать» «ближе к милому пределу...»

Где он, наш «милый предел»?

Поэт еще и тем отличен и отмечен, что в неотделимое от него представление о свободе творчества и других, сопутствующих ей, свободах странным образом включено представление о свободе смерти. То есть как бы заведомо всем известно, что поэт не только предугадывает, «вычисляет» собственную смерть, но даже и выбирает ее. Так, по крайней мере, всегда было с поэтами русскими. Но с какого-то момента в России это предчувствие, предугаданье своей судьбы и смерти перестало быть монополией больших поэтов – оно ушло в повседневный душевный опыт, правда – душевный опыт особого склада.

Я помню в России людей, буквально истомившихся, изболевшихся по аресту, тюрьме и лагерю. Можно как угодно относиться к хрестоматийной русской жажде «принять страдание», но причи-

* Да снизойдут с небес мир великий и жизнь для нас и для всего Израиля. Возгласите: аминь!

на и суть часто вовсе не в том, что, человек сознательно (или бессознательно) тянется к страданию, а в том, что он ясно, как писатель над рукописью, видит, чувствует архитектурную неизбежность своей судьбы, ее композиционную заданность.

Плотью, «животом», умом даже он не хочет страдать, но творческое, но духовное в нем стремится к оформленности, завершенности, развязке.

Ужас России – в типовой кладке ее сюжетов, их накатанности, отработанности и неизменности. Человеческие жизни и судьбы – даже не черновики и заготовки, а бесконечные иллюстрации к одному и тому же тексту.

Илья Рубин был поэтом: он перебирал в стихах варианты собственной смерти. Илья Рубин был русским поэтом: он «примерял» на себя все варианты русской смерти:

Когда воскресну – сожалеть о теле
Не стану я. Не вспомню о себе.
И семь чудесных пятниц на неделе,
И церковь медную в украинском селе
Забуду я. Так стоит ли жалеть,
Так нужно ль плакать, стоя на пороге
Дыры тюремной в Нерчинском остроге,
Где мне пришлось недавно околеть?

Я умирал у Сретенских ворот.
Ко мне пришел последний переулок,
Как Веневитинов – кусая юный рот,
Как Мусоргский – велеречив и гулок.

Он умирал Маяковским, Пушкиным, Пастернаком; царевичем Алексеем и императором Павлом; декабристом и заключенным ГУЛАГа:

Не жалею, не прошу ни о чем,
Просто верю я в тебя, Конвоир.
И начищена луна кирпичом,
Будто небо нарядили в мундир.
Слушай, небо, я боюсь умереть.
Слушай, можно – я еще поживу?
Я смотрю и не могу не смотреть
В полицейскую твою синеву.

Но последняя смерть, смерть на Израильской земле и погребение в Хулонских песках его стихами не предусмотрены.

Что же: поэзия и судьба разминулись, разошлись, расторгли свой священный союз?

...Когда внезапно уходит из жизни человек, после первого приступа отчаянного и тупого недоумения («не может быть... еще вчера... мы же договаривались...»), разум начинает судорожно биться в попытке разгадать сокровенный смысл несчастья; сознание не смиряется с нищенским понятием случайности, но силится разглядеть какой-то тайный знак, символ, явленный нам, оставшимся и осиротевшим.

И чем крупнее, чем значительней и ярче был человек, тем неотступней желание разгадать.

Всему облику Ильи Рубина была свойственна страстная нетерпеливость, она и в ранней смерти его сказалась: первый из нас он сделал те «полшага во тьму», о которых писал:

Приходит вечер. Надобно ему
Земному свету у меня учиться.
В окно зима, как нищенка, стучится
И до прозренья – полшага во тьму.

О «нас» – не сообществе, но общности, – он сам рассказал в последней своей неоконченной статье, посвященной Борису Хазанову, рассказал с глубиной и блеском, поразительными даже для него, умницы и отменного эссеиста, уже приучившего читателя к высокому уровню своих работ.

К его взвешенной и точной характеристике наших общих духовных истоков, среды и поколения, я бы хотела прибавить, что и стихи Ильи Рубина могут быть по справедливости оценены лишь в контексте темной и путаной стилистики русской жизни минувших 10-15 лет, в памятной конкретности ее хитросплетений, непрочных реставраций культурных традиций и яростной бесповоротности провалов; в незабвенном уюте интеллигентского отщепенства, в поэтике ночных бдений с водкой, чаем и стихами, в скудости домашнего быта и роскоши домашних библиотек, папиросном шуршании «самиздата» и обмирании от поздних или неожиданных звонков в дверь – словом, во всем, что, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к ценности самих стихов и даже как бы и не «отражено» в них.

И в таком контексте нуждаются не только стихи Ильи Рубина – в них нуждается «поэтический бум», начавшийся в подпольной России в начале 60-х годов и длящийся о сю пору, давший огромное множество прекрасных стихов и, в сущности, очень мало выдающихся поэтов, изредка извергающийся на столы КГБ или (и) западных издательств.

Я думаю, это явление не литературного порядка, хоть и заявляющее о себе в формах и жанрах литературы.

Это – особый тип русской жизни, странная разновидность существования, близкая к хмельному распутству и религиозному культу, где слово не есть дело, но вытесняет, подменяет, заменяет его.

Здесь не нужен критик, литературовед, филолог, чья задача – определить поэту место в поэтической традиции, потрудиться над его литературной родословной, отчеркнуть «лица необщее выражение».

К чему, например, отыскивать учителей и наставников Ильи Рубина, если он сам подсказывает: «А мне прикажете – тревожить Мандельштама и Гумилеву руки целовать?».

К чему размышлять о психологической атмосфере его лирики, находя к ней историко-литературные аналогии, если ими-то автор откровенно вдохновляется:

И я стою, подвергнутый любви,
Как Чернышевский у столба позора?
А что тебе до моего позора?
Помилуй нас, меня – благослови.

Легко отмахнуться: реминисценция. Легко поморщиться: эпигонство. Нет, не эпигонство это! Эпигон старательно, а повезет, – и талантливо копирует поэтику оригинала, но так же старательно избегает повторять судьбу его автора.

Можно подражать Евангелию или Корану, но много ли охотников подражать жизни Христа или Магомета?

Поэтическое подполье России, едва ли не в большинстве своем, эту границу перешагнуло. Не будучи делом, слово стало жизнью: бытом, службой, страстью, семьей, карьерой, самолюбием и честью. Такое слово оценивается не только литературой, но и тем, чем оценивается и определяется всякая человеческая жизнь: поступком, выбором, судьбой.

Мыслителю, философу или историку будущего (если будущее – будет) придется учесть особый характер русской культуры, преобразивший ее в разновидность мифа, внутри которого цитата обретает плоть и кровь личностного существования, а личностное существование – структуру, форму и смысл, поскольку оно подтверждено цитатой или именем свободно выбранного предшественника.

Сегодня русская культура поставляет материал для индивидуального мифотворчества с его неотделимостью слова от бытия.

Литературные вкусы и пристрастия в России приобрели характер религиозного выбора, о них не спорят – за них воюют, как за символ веры.

Если кто-нибудь захочет в разлившемся словесном потоке выделить чистую волну того, что в иные времена называлось «подлинной поэзией», ему придется сравнивать не стихи, а жизни, от-

личать истинное, т.е. гарантированное судьбой, отданное «под заклад» поступку.

Избрав соавторами своего слова Мандельштама, Маяковского-самоубийцу, Пушкина Черной речки, пригвожденного к позорному столбу Чернышевского, узника Кюхельбекера, Илья Рубин выбрал для себя терновый, жертвенный и обреченный образ русской культуры, а значит – и терновую, жертвенную судьбу.

...Читая стихи Ильи Рубина, невозможно представить себе, как он мог уехать из России, как мог расстаться с ней. Наверно, так любить Россию способен только русский еврей: русские по происхождению, а не по культуре, как-то спокойнее, благообразней, вальжней в своем чувстве к ней. Они – мужья при норовистой жене, а не отвергнутые влюбленные.

Во многих стихах Рубина – даже не любовь, а неразделенная больная страсть со всеми ее подвалами и тягой к самомучительству.

Я не знаю более страшных и более точных, «в клиническом» отношении, стихов, чем стихи «Царевич Алексей»:

Я на коленях. И не встать с колен.
Ломай меня. Так сладостно ломаться...
А мне бы век с колен не подниматься,
В тебя впадая ручейками вен.

Упаси боже понять эти стихи буквально: как психологическую «зарисовку с натуры». Но очень по-рубински и, я бы сказала, очень по-еврейски, дойти в переживании до самого предела, до края – и на краю не остановиться.

Любовь к России была у Рубина тем трагичней, что правду про страшное русское сегодня и, возможно, еще более кровавое завтра он знал, от правды не прятался:

Когда свобода снова стала тесной,
Ударил в ноздри крепкий запах чая,
Печальными путями Поднебесной
Пошла пехота, звезд не замечая.

.....

Как в Праге — страшно. Вновь прощенья нету.
В который раз остановиться поздно.
Лежит под нами мертвая планета,
И трупы женщин холодны, как звезды.

Но кто из любящих Россию не проклинал, не обвинял и не обличал ее? Любовь не уменьшалась, и Россия не менялась.

От такой правды, такого знания – не уезжают.

Илья Рубин принадлежал к тем, кто отделяет Россию от советской власти. Верен или неверен такой взгляд, он, как ни странно, облегчает жизнь в России, значит, – затрудняет, отягчает жизнь вне ее.

...Я всегда с подозрением и неприязнью относилась к затянувшейся безответной любви (все равно, к человеку или стране), видя в ней один из эффективнейших способов организации и заполнения внутренней пустоты.

Но ведь Илья Рубин был душевно и творчески избыточен и обладал абсолютным мужеством человека, свободно избирающего свою жизнь... И все-таки он уехал, не просто уехал – убежал:

Я так бежал, что спотыкались губы,
Припоминая ремесло коня,
Свистели флейты, надрывались трубы.
Я так бежал, что не было меня.

Как серый дым, я исчезал во мраке,
Вращался я, как призрак колеса,
Как будто вспомнил ремесло собаки,
Обнюхивая чьи-то голоса.

.....

Не дай мне, Боже, умереть во мраке,
Мой одинокий бег благослови.
Я так бежал, что спотыкались плахи,
Припоминая ремесло любви.

«Бегство» – из лучших стихотворений Ильи Рубина: «... как будто вспомнил ремесло собаки, обнюхивая чьи- то голоса»... «Голос» привычно сочетается с «кровью» или «предками»: «голос крови», «голос предков»... Что это? Шаблон? Штамп? Риторический треп?

...В поступке всегда больше глубины и мудрости, чем в мотивах, которыми его хотят объяснить, оправдать. Поступок образует отдельную, независимую от мотива и собственным законам подчиненную реальность. Между мотивом и поступком – пропасть, которую и в два приема не перепрыгнешь.

Как бы мы ни толковали себе и другим мотивы и причины нашего отрыва от России (у некоторых – и разрыва с ней) и возвращения в Израиль – сам факт все равно остается по ту сторону самых логичных, неопровержимых или абсурдных построений.

Соучастники чуда обычно не замечают его. Мы все оказались здесь, повинясь воле, более могущественной, чем наша собственная.

.. Внешность Ильи опровергала все вегетарианские теории среды, эволюции и ассимиляции. О его обожженный профиль, семитские глаза и сефардийскую смуглую бледность разбивались два тысячелетия европейских скитаний. Опасно и тревожно чужеродный на улице любого русского города, израильской толпе Илья принадлежал так же естественно, как ветви – дереву и плод – ветви. И, когда, выныривая из этой толпы, он сухим щелкающим московским говорочком тосковал по России, я думала о тех сотнях и тысячах, что вскидывались по ночам, бились и рыдали, вспоминая цветущие апельсиновые и миндальные деревья Испании, ее смуглый сухой черноглазый облик, синее и теплое море; с каким отворачиванием, сквозь сомкнутые веки, смотрели они на бесцветное вылинявшее небо ашкеназийской Европы и мучнистые, плохо пропеченные лица ее обитателей. Сколько поколений с привычной тоской повторяли: «На следующий год в Иерусалиме...» – и ложились в мерзлую, такую колючую, такую чужую землю. И, если ложились сами, – это были счастливые поколения...

Но мы, столь искушенные в конфликтах личности и государства, свободы и тоталитаризма, мы, с нашим русским опытом, таким уникальным и таким ограниченным, таким беспомощным – что мы знаем об отношениях, стычках, сшибах памяти личной и переданной, врученной – вопреки собственному желанию, привязанностям, взглядам – вереницей горбоносых, тяжелоглазых, смуглых предков?

Ничего.

...Мало кто из пишущих в России и по-русски способен сегодня воздержаться от скоморошества, юродства, площадных диалектов и постельного вольномыслия.

И нет для меня в поэзии Ильи Рубина ничего более драгоценного, чем ее высокие ноты, ее патетический строй и библейская серьезность:

Когда земля, как описание Бога,
Когда быков тяжелые тела
Везут его печальные дела,
И, спотыкаясь, голосит дорога.

.....

Я стал другим. Хозяин в небесах
Все плачет обо мне, все суетится.
А мне о нем и думать не годится,
Я только гирия на его весах.

Над нами небо – голубым горбом,
За нами память – соляным столбом,
Объят предсмертным пламенем Содом,
Наш нелюбимый, наш родимый дом.

И странно: несмотря на всю безудержность и радикализм своего душевного склада, в любви к России Илья Рубин не впадал в ту эмигрантскую ностальгию, которая драматична и хороша собой в Париже, но пародийна и гротескна на краю Иудейской пустыни.

И еще странно: еврейское в себе, Израиль в себе и себя в Израиле он воспринимал без надрыва, куда более спокойно, чем русское и Россию. Тут проглядывала в нем какая-то мудрая уравновешенность и достойная трезвость: его чувство Израиля начиналось с устанавливающегося, крепнущего быта, наконец-то своего дома, да не в символическом и переносном, а в самом прямом обычном смысле: он радовался кабинету, письменному столу, рабочему месту, радовался почти примыкавшему к окнам пардесу, его апельсиновому изобилию...

Я думаю, с той же мудрой осторожностью и уравновешенностью он подходил к своему слову об Израиле. В статьях оно начинало проглядывать четко, а в стихах... Сохранился набросок стихотворения, судя по всему, последнего, даже и не стихотворения, а скорее рифмованной дневниковой записи:

В игрушечной скворешной синагоге
Румынский ребе отпускает хохмы.
И безъязыко воют эмигранты.
Плачь, тетя Соня! Рви седые лохмы!
Ты не увидишь знаменитой Федры
В старинном многоярусном театре,
Ты будешь бляеть высохшей козой
И не восплачешь чистой слезой
Над пьесою «Кремлевские куранты».
Идут вперед потомки Макавеев,
Держа в руках игрушечные «Узи».
Плачь, тетя Соня, молодость развеяв
В пятиэтажном каменном Союзе.

«Тетя Соня» – это мы с вами тоже, это и тот третий еврей, о котором наряду с Янушем Корчаком и Мандельштамом писал Илья Рубин еще в 1971 году, в стихотворении «Идут на плаху три еврея»:

А третий — это мы с тобою,
Товарищ непутевый мой.

О чем молчать, когда звереют
Зеваки на твоём пути?
Идут на плаху три еврея.
Им далеко ещё идти...

...Кто умер? Русский поэт, эмигрировавший в Израиль? Щедро одаренный еврей, писавший русские стихи? Или так трудно, так невыносимо и мучительно нести в себе эти два начала, ни от одного не отказываясь, но пытаюсь примирить их собой, своим словом, жизнью и смертью? Что оплачено этой смертью? Какого ответа требует она?

Белы пески и безмерно израильское небо над ними:
Элиягу Рубин, алав хашалом...

ПАМЯТИ АННЫ

Мне очень нравились ее стихи. И нравилась она сама. Очень. Нравилась как человек, такие стихи замысливший и записавший. Да, в сущности, другой я ее и не знала: несколько коротких встреч в нормальной, если не сказать – идеальной для поэта ситуации: она вверху, на эстраде, читает, я – внизу, в зале, слушаю.

В отличие от поэтов эстрадного склада и дарования, интонациями и жестом добавляющих стихам смысл и вес, Анна Горенко своим стихам жизнь не облегчала и не украшала.

Не то чтобы она читала плохо, нет, – просто соотношение было совсем другим: скорей стихи читали и читали ее, держали на плаву, будто вытаскивали на поверхность из каких-то темных и опасных глубин. Слова выказывали большую цепкость и жизнеспособность, чем их произносивший ускользающий голос.

В том, что ее поэзия меня пленила, для меня же самой кроется неожиданность, почти загадка, поскольку ветхий глагол «пленить» я употребляю в прямой его связи со словом «плен», а не в сентиментально-романсном значении «обаять, очаровать».

Иначе говоря, стихи повели себя хищно и агрессивно, они окружили, захватили, обезоружили. А этого со мной давно не случалось.

Ни в чем я так остро не чувствую давление прожитых лет, как в постепенном, но неуклонном охлаждении к стихам. Вообще. Любым и всяким. Даже про уцелевшую горсточку все еще любимых я не могу с уверенностью решить, люблю ли я сами стихи или память о том, как их любила. Это неприятно, но это – правда.

Более того, именно в отношении к стихам Анны я могла бы ожидать от себя особой стойкости и сопротивления.

Если простодушное пошехонье эпигонов высокой классики с дежурной, как щи, ахматовской печалью, цветаевской истерикой или мандельштамовским путеводителем по мировой культуре вызывает скуку и раздражение, то экзотические широты, в которых обосновалась и обжилась родственная Горенко поэтика, подозрительны по другой причине: там слишком много дурных возможностей для приживалов поэзии, «рантье постмодернизма», по замечательному выражению Анны; на этих маковых полях слишком много произрастает тех, кто косит под поэтическую невменяемость, чтобы скрыть действительный порок зрения и слуха или врожденную анемию слова.

Это расширяющееся производство бесталанно симулированного бреда сравнимо разве что с нашествием хилеров, экстрасенсов, руковозложителей, шаманов и прочих погонщиков чакр и поставщиков космической энергии.

Всегда находится кто-то где-то, кого эти беженцы из конвенциональной культуры исцелили, поставили на ноги, просветили косный ум, разогнали застоявшийся художественный вкус... Может, на кого-то подобные чудеса и снисходят – меня они аккуратно обходят стороной. Но с поэзией Анны Горенко все произошло иначе.

...Что может быть банальней, чем отыскивать в стихах безвременно ушедшего поэта предчувствие скорой гибели, «черные метки» неотвратимой судьбы? Только находить их. За хрестоматийными банальностями унылой тенью плетется того же пошиба пошлость: поэт с рождения обручен со смертью, трагический конец – венец поэтического дела, и так далее, и далее...

Здесь, кстати, немало правды, но еще больше дурновкусия, инфантильной патетики, стало быть – лжи.

Истинность – ключ к стихам Анны. Она изначально была одарена опытом другого бытия, как если бы органы ее чувств формировались в иной физической среде, приспособлялись к иному, чем у нас, распределению света и тени, тепла и холода, сна и бодрствования. Эта почти физиологическая иноприродность ее стихов ощущается сразу, с непреложной достоверностью факта. Так выхватываем мы в толпе красивое лицо, отличаем музыку от шума, испытываем боль.

Но иной мир совсем не значит «тот свет», инобытие не тождественно небытию. Представим себе отражение Нарцисса, наделенное плотью, кровью и самостоятельным существованием. Поднявшись однажды к границам своей проточной вселенной, он обнаружил двойника, с удивлением его разглядывающего. Удивление взаимно. Причем двойником оказался не только близнец в прибрежных камышах, но и весь мир, вместе с ним склонившийся над водой: деревья, небо, звезды, люди, язык... Все вроде бы такое же – и все-таки другое, поскольку видится сквозь прозрачную толщу: вместо прямых – ломаные линии, зыбкие очертания предметов, неуставные отношения между словами и вещами.

Понятно, например, почему Анна Горенко не нуждается в нашей орфографии и пунктуации: знаки препинания призваны заполнить паузы и цезуры в наших движениях и речи, придать им непрерывный и спонтанный характер, столь естественный в подводной среде. Формы языка сохраняются, но ведут себя иначе – раскованно и авантюрно. Так, «я», вместо определенности и личной ответственности местоимения, приобретает отчужденные функции существительного или постороннего лица: «и я лицом в чужие вещи / от удивления визжит»; «нет я не сможет возвратиться / в заветный край простых цитат». Самые удивительные, прекрасные в своей безучастной, почти инвентарной объективности описания в ее стихах относятся к плаванию, скольжению и полету на пере-

крестке двух миров – глубинного и воздушного: «Ты деревянная дева – вместо спины корабль / И у тебя два брата – брат колодец и брат журавль // Дева с птицей морскою послала братьям письмо. / Братья, дайте мне имя – оно долетит само». В сущности, многие ее стихи – это романтические баллады, текуче напоминающие не то Жуковского, не то Андерсена, только прочитанные снизу вверх, как если бы по знакомым образам вдруг пробежала рябь или волна накрыла их с головой. Движение ее стиха это движение не отсюда – туда, не от жизни к смерти, а напротив, оттуда – сюда, из ее мира, где наши предметы, слова и чувства так легко и просто теряют тяжесть и важность, – в наш мир требовательных очертаний и веских слов. Надо лишь помнить, что ей, Поэту, наша реальность предстает не в облике на всех поровну разделенного опыта, но как реальность поэтического слова, классического прежде всего, то есть наиболее достойного полемики и опровержения:

*все что звалось сердцу мило
теперь зовется обылом
твоя чернильница остыла
луна сгорела под столом*

(Горенковская луна, понятно, заменила бессменную пастернаковскую свечу, что «горела на столе», горела, пока не сгорела, да еще под столом).

...Ее ошеломляющая одаренность сказала даже в выборе псевдонима, такого же вызывающе оригинального, как все, что она успела написать. В псевдониме – то же самораскрытие судьбы и поэтики, что и в стихах: отсюда – сюда, от конца – к началу, от Анны Ахматовой – к Анне Горенко.

Но, оставив нам имя, она поставила перед нами непереносимый вопрос – загадку, которую, так или иначе, будут и будут разгадывать каждый по-своему, но разгадывать – непременно: почему Анна Горенко пренебрегла биографией Анны Ахматовой, почему, как ненужную ветошку или не идущее к лицу и фигуре платье, отбросила, отшвырнула те сорок восемь лет, которые отделяли ее от всеми обожаемой старухи с победоносным профилем и грузной осадкой раздавшегося тела, как если бы она еще при жизни превратилась в желанного каменного гостя, к чьим грозным шагам с трепетом прислушивается новое поэтическое племя?

Почему лишила счастья ученичества нового Бродского, а непременных рейнов – должности мемуариста и хранителя музея?

Я спрашиваю э т о и т а к потому, что не могу не считать жизнь Анны Горенко растянувшимся самоубийством.

Ответа у меня нет, но есть параллельный вопрос: почему Анна Ахматова не поддавалась искушению Анны Горенко?

А ведь она, как и все ее окружение и поколение, ходила по самому краю жизни, то и дело заглядывая за край. (Как, впрочем, и любое другое поэтическое поколение, но то, начала века, – особенно.)

Двадцать семь горенковских лет Анне Ахматовой исполнилось в 1916 году. К ее услугам был самый разнообразный и неотразимый ассортимент гибели: кокаин, эфир, передававшаяся по кругу, наподобие эстафеты, палочка-выручалочка Коха: бьет без промаха, но не в одночасье, оставляя время на стихи и прощания. Война, разлом века, гибель культуры, столь близкая и очевидная, что отпадала нужда в предчувствиях и пророчествах.

Так просто, казалось бы, уйти, самоустраниться, обманув уже стоящие у порога террор, голод, унижения и уничтожения всего, что «сердцу мило»...

Но – нет. Удержалась. Не соскользнула. И в 75 лет не хотела умирать. В один из последних дней, оправдывая свою, уже неприличную, привязанность к жизни, объясняла вдове Мандельштама: «Знаешь, Наденька, в восемьдесят лет можно еще написать прекрасную поэму».

А тут? Двадцать семь лет! Как Лермонтову. С заявкой на гениальность и мертвым грузом невыраженного и несказанного.

Как объяснить? Осмыслить? Может быть, дело в том, что Анна Ахматова признала за собой обязательства, ценностью и достоинством превышавшие свободу распоряжаться своей жизнью и смертью по личному усмотрению? Обязательства даже не перед поэзией, а перед всей приговоренной культурой, за которую она чувствовала себя в ответе, за ее живых мертвых и мертвых живых, за ее прошлое, которому, с ее только помощью, надлежало стать будущим и отомстить настоящему.

А какие обязательства были у Анны Горенко? Какой (и чьей) культуре она согласилась бы выплачивать долг? Какую культуру спасти? Ей никто сегодня не угрожает, никто не уничтожает. Все, что нужно сделать для собственного устранения, культура делает сама и ни в чьей помощи и вмешательстве не нуждается.

Долг перед собой? А если она его выполнила? Что мы об этом знаем? Что мы можем об этом знать?

Свобода есть пустота. До какого предела стихи способны насытить пустоту и с какого момента пустота поглощает стихи? Нет ответа.

...Последний раз я с ней говорила на вечере «Солнечного сплетения», суматошном и сумбурном, как то и положено всякой живой и переходновозрастной словесности.

В перерыве, старательно избегая эпитетов, я сказала Анне, что думаю о ее стихах. Она обрадовалась и тут же попросила: «Помогите мне получить амидаровскую квартиру. Вы же известная личность»...

Из уважения к ней я не рассмеялась ей в лицо, но пригласила в гости: местоположение, размеры, интерьер моего немислимого жилья в точности соответствуют моему общественному влиянию. В чем ей и предстояло убедиться.

И все же я обрадовалась: каждый раз, видя и слушая Анну, я, кроме восхищения, испытывала внятную и острую тревогу: слишком случайным, невсамделишным ощущалось ее присутствие – будто на огонек залетела.

Аמידаровская квартира показалась мне добрым знаком. Знак оказался ложным.

«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ...»

Я хочу рассказать вам о большом, очень большом поэте – Михаиле Генделева.

Песах уже стоял при дверях, когда мы его хоронили. На улицах верховодила по-летнему липкая жара, но здесь, на холмах Гиват-Шауля, из низко опустившегося, как будто из любопытства, неба, сильно дуло, и поминальные свечи яростно и страшно рвались навстречу ветру из своих застекленных камер.

Несколько подоспевших московских друзей стыдливо прячут за спины, а то и просто выбрасывают загодя припасенные букеты цветов. Какие цветы, когда хоронят еврея? Камни, камни и камни...

Жестокая, воистину самурайская красота еврейского погребального обряда пронзает.

(Евреи! Если вам не все равно, где истлевать бесчувственному телу, не зарывайтесь ни в подзол, ни в чернозем, ни в суглинок: еврейские кладбища, что в Подмосковье под березами, что под Парижем и платанами, одинаково неприглядны и по-особенному жалки, как нищие на паперти чужого храма. Лучше уходите в камень под каменным небом, – так оно и красивей и достойней).

По случаю месяца нисан надгробные речи запрещены, и правильно: жизнь нашего общего друга, Миши Генделева, кончилась, а вот жизнь поэта Михаила Генделева... Нет, она не начинается, напротив, она в разгаре, в послеполуденном зените, и еще преподнесет сюрпризы, так что последнее слово и не может быть сказано.

На 59 отпущенных ему лет приходится 33-и года моей с ним беспорочной дружбы, не отягощенной никакой обыденностью. Мы дружили, как дружили бы ассонансные рифмы, если бы были людьми.

Из тех же 59-и лет более четверти века, с 1977-го года начиная, Генделев безотказно провел в Иерусалиме, потом какое-то время кочевал между Израилем и Россией, пока не осел в Москве со всем и со всеми, что оседлому образу жизни, – и поэта тоже, – полагаются: дом, семья, друзья, издатели, читатели и почитатели.

Россия встретила его лучше, чем Израиль проводил.

В ивритоязычном Израиле людей, понимавших поэтический каллибр Генделева, было меньше, чем пальцев на одной руке.

Зато среди оценивших оказался Хаим Гури.

Русского он не знал, а Генделев на иврите скорей рычал, чем изъяснялся. Вот по этому-то рыку Гури его признал, плюс жестикация и подстрочники. Поэту достаточно. Гури его любил, они дружили.

Хаим Гури участвовал в составлении и издании единственного сборника стихов Генделева на иврите, в прекрасных переводах П.

Криксунова. Сборник назывался «Хаг» («Праздник»), опубликован в 2000-ом году.

Сборник не заметили. Он и уехал.

Ивритяне! Не кайтесь в свойственной вам дурной манере самобичевания, неотличимого от самолюбования: дескать, Ах! Ох! – какие же мы неприветливое закрытое общество! Если кто не «один из нас», – он другой, он чужой, мы его не принимаем, знать не хотим. Да, вот такие уж мы, не взывайте.

Но и вы, «русские» израильтяне, не спешите вчинять очередной иск Израилю, с неустрашимым акцентом хамства: мол, не принимаете вы нас, потому что не понимаете, а не понимаете, потому как мы выше и для вас недоступны...

А на самом деле никто не виноват ни в чем, а просто: современная ивритская поэзия и поэзия Генделева настолько разной породы и природы, что даже не оспаривают одно экологическое пространство.

Так осевшая под грузом маслин олива не сцепится за место на холме с вытянутым в струнку тополем, что по весне, как мягкой пародией на снег, засыпает округу белым пухом.

Тополиный пух и старинное русское напутствие усопшему: «Да будет земля тебе пухом» – сопрягает Генделев в одном из ранних воспоминаний о родном городе, устланном тополиным пухом в мраморно-гранитном гнезде русских поэтов: «тополиный вам пух красавцы пух земля по краям лица...»

Срочный перевод общеязыковой идиомы в приватную поэтическую речь, – это уже росчерк зрелого Генделева. Не язык, а речь, не Россия, – русские поэты. Так он начинался.

Между тем: кто ж не знает, что родина поэта – это его язык?

Поэтому поэту негоже искать свои корни, ведь они всегда при нем: корни слов.

А вот вернуться к своим корням, – это совсем другое дело, это значит «отсадить» корни обратно, вернуть в родную языковую почву.

Неудивительно, что стоило России сменить свой всегдашний медвежий оскал на сколько-то дружелюбную ухмылку, – как многие «новые русские» израильтяне, не обязательно поэты, но связанные русским языком по ногам и рукам, профессии и судьбе, – потянулись обратно. Сколько? – Не знаю, не считала. Для меня – много, раз я не досчиталась Генделева.

Он, правда, регулярно наезжал в Израиль, и у него, в отличие от многих, из Израиля съехавших, хватало ума и такта, чтобы не изливать потоки и патоку израильского патриотизма и разогретого расстоянием сионизма. Что производит впечатление одновременно комичное и неприличное, как секс по телефону.

Чем больше доставала его болезнь, тем на дольше он здесь оставался. Пока не остался навсегда.

Печально. Особенно для родных и близких. Но, положив руку на сердце, мало, что ли у Израиля своих печалей? А русского поэта пусть Россия и отпоет, – разве, по справедливости, не так?

И все бы так, но: до последнего дня, до последнего вздоха без выдоха Генделев именовал себя пишущим по-русски израильским поэтом. Заметьте: не еврейским, но – настойчиво – израильским.

В Москве сборники его стихов выходили под названием на двух языках – русском и иврите. Как эпитафия к двуязычию его иерусалимского надгробья. Иврита Генделев так и не выучил. Но он потрясаяще его слышал, слушал и подбирал; так музыкально одаренный, но необученный нотной грамоте человек подбирает любимые мелодии на знакомых инструментах.

Он умер за тридцать дней до своего дня рождения, а день тридцатый со дня его смерти («шлошим») совпал с днем рождения Государства Израиль и поминовения за него павших.

Какая плакатная, едва ли не назойливая символика! Но все правильно: смерть поэта – это посмертный слепок с его поэтики.

...Когда-то Хемингуэй советовал начинающим авторам попробовать, а затем описать самоубийство: без травматического личного опыта в литературу лучше не соваться.

Русскоязычные литераторы, поэты и прозаики заплыва 70-х гг., независимо от того, кем они были в прошлой жизни, почувствовали себя начинающими: вокруг, куда ни глянь, простирается до самого горизонта чужая речь, чужой ландшафт, чужие застолья. И тогда они не сговариваясь, коллективно, скопом, последовали совету Хемингуэя. О! не пугайтесь: в сильно смягченном варианте, – они заменили самоубийство лютой ностальгией. Они эксплуатировали ностальгию, как южные плантаторы своих черных рабов, выжимали ностальгическое отчаяние до последней капли пота, до последней слезинки плача и снимали по два урожая в год.

Вряд ли где-нибудь когда-нибудь эмигранты или беглецы из России так надрывно голосили по ней, как эти добровольно ее покинувшие русские литераторы, евреи по происхождению и сионисты по убеждению.

(На тему русскоязычной литературы Израиля см. великолепную работу Вайскопфа, столь же занимательную, сколь и познавательную. Частично переведена на иврит, хорошо бы – вся).

А в это самое время Генделев буквально изнемогал от острых приступов счастья. Он не успевал и не уставал записывать застывшие в иерусалимских камнях метафоры. Камней было множество, метафор – тоже, притом самого широкого профиля. Так появились «каменные воды», «каменное небо» и «губы тоже камень». В виду близкого и жадного присутствия нового пространства – Иудейской пустыни, что начиналась сразу за порогом дома в Неве-Яакове, по-иному заговорило время, привычно запертое в часах: «...степенная пара грегорианских минут оборотятся к пустыне свою

бормочет латынь». Выяснилось также, что прибрежная крепость (Акко) – это «антистрофа волне».

...В связке человек-поэт – поэт – это существительное и подлежащее, а человек – прилагательное и сказуемое. Человек Генделев был о ту пору молод, сух, быстр и ловок телом, лицо же имел смугло-бледное, как и полагается выходцу с Востока.

Марсея Пруста сравнивали с персом, Пастернака – с арабом и его лошадей вместе, ну, а Генделев был вылитый бедуин или марокканец. Как будто родовые гены, очнувшись от зимней спячки, рванулись наружу, к солнцу. Он так естественно и быстро врос в Иерусалим, как будто тот был пазлом, а Генделев – его недостающим фрагментом. Стоило мне выйти в город, – и я на него налетала, даже в тех задурных закоулках, где и себя-то не чаяла встретить.

Вот он окликает меня с того берега улицы, военная форма, хоть и великовата по размеру, но с ним в ладу, даже тяжеленные солдатские ботинки ему идут, и чувствуется, что «М-16» не угнетает плечи. Это Ливанская война отпустила его на малую перемену.

Господи! Ну почему в нашей земной глуши время так тупо прямолинейно?! Ведь он все еще ждет меня на углу, как мы и договаривались, напряженный (новые стихи в рюкзаке) и напоминает стрелу, натянутую на нерв.

А еще, как и большинство из нас, был он в те годы по-эмигрантски надрывно беден, любил свою красавицу-жену и маленькую дочь, но семья разваливалась: вместе с опустошенными чемоданами он снес в подвал муниципальной квартиры планы трудо- и жизнеустройства ради беспрепятственного сочинения стихов. И честно оповестил об этом. Он праздновал новую страну, как празднуют новоселье.

Из города, перекормленного стихами, Генделев приехал во всеоружии стихотворства. Но стихотворца в поэта превратила только 1-ая Ливанская война, – он отслужил ее в качестве военврача («полкового лекаря» его словами), и война в благодарность, как орденом или медалью «За отвагу», одарила его Темой. А тема – это тело поэзии.

Междуречье, Тир, Сидон, Вавилон, Ливан... Какие свежие, какие незатоптанные земли! Здесь воистину не ступала нога ни русского солдата, ни русского поэта. Исполнение желаний: вырваться из магнитной ловушки русской поэзии, на волю, на вольные хлеба: «Мне так хотелось уйти из нашей речи, уйти мучительно и не по-человечьи». Потому что: «Господь наш не знает по-русски и русских не помнит имен».

Господь, Наш, ваш, всехний, Адонай, Аллах, Христос... Сплошные псевдонимы. Но, каково бы ни было его настоящее имя, еврейской традицией запрещенное к произношению, – после Ливана и до конца в поэзии Генделева Господь господствует безраздельно. Бо-

лее интересного собеседника он так и не сыскал. Вера? Но вера не в счет: «Я верил бы в бессмертие души, да две метафоры перегружают строчку». Иудаизм, правда, и не настаивает на вере как непременно условию общения со Вседержителем, скорей на доверии. Только где ж его взять?

Жанр отношений с еврейским Богом Генделев определил сам, ясно, просто и – для еврея – вполне традиционно: спор. «Спор Михаэля Бен Шмуэля из Иерусалима с Господом Богом нашим о смысле...». Резоны спора, точнее – вызова у Михаэля Бен Шмуэля, в сущности, те же, что были у Иова, только помноженные на шесть миллионов.

Именно после Ливанской войны Катастрофа как кислород входит в состав воздуха, которым дышит генделевский стих, и пепел оседает даже на ликующие пейзажи. Не тот пепел, что стучит в сердце, а тот, в который само сердце превратилось.

Думаю, что Катастрофа, как ничто другое, понудила Генделева резко поменять регистр старинного спора евреев между собой и Вседержителем.

Строка из вида на Бейрутский порт с греческим судном в фокусе окуляра: «И видим надпись на корме: “Метафора”, чего? – Зиянь».

Так вот: если двигаться по теологическому вектору поэзии Генделева, получим не безадресную метафору («зиянь»), но метафору зиянья, и это есть Бог.

Разумеется, поэзия Генделева трагична. Но трагизм – пустотелое слово, начинка разнообразна: трагизм социальный, национальный, исторический, конца истории, конца века, конца света, индивидуальный трагизм «бытия – к – смерти» (по Хайдеггеру) и т.п. Трагизм Генделева – космический. О! совсем не в смысле глобальности, всеохватности или там особой безнадежности, – нет: на дальних рубежах поэзия Генделева соприкасается с современной научной космологией, рельеф его стихов тянется к звездам.

Только это другие звезды, они не переговариваются, они не «жемчужины», не «плеочки» и не «полицейские птички» («...звезды живут, полицейские птички»). Хотя... Хотя... Мандельштамовские «полицейские птички», пожалуй, всего ближе к современной космологии, которая пользуется таким, например, понятием, как «космическая цензура». (Это когда Бог* не терпит голой сингулярности**, т.е., чтобы за ней подглядывали. Стивен Хокинг, «Теория всего»).

«Черные дыры», «темная материя», хаос, Бог как ироническая метафора, образ и понятие непонятого. Генделев: «Тьма это тьма, а не где-то заблудший огонь повтори: не свет не отсутствие света и не ожиданье зари».

* Со времен Эддингтона Бог – одна из возможных гипотез.

** Сингулярность – точка внутри черной дыры, где перестают действовать все известные нам физические законы.

Вопреки книге Бытия, тьма не отделена от света, но существует сама по себе, самодостаточно и целокупно. Да и вообще, состоялось ли оно, это великое разделение? Между светом и тьмой, порядком и хаосом, жизнью и смертью и прочими благонамеренными оппозициями?

Нет, не состоялось: «есть война не мир обратный, но мир, в котором все как есть...» Или: «... внутри нас труп желает воли из тела выбросить побег...»

Но это еще что!.. К небытию стремится центр, нерв, самая сердцевина поэзии: Слово. Вопреки наказу («...и слово, в музыку вернись»), слово возвращается не в музыку, но – в звук, шум, гуд, гул.

Слова распадаются, как империи, высвобождая для конфликтов свои составные части: окончания захватывают места приставок, суффиксы внедряются в корни, членораздельность, гарантированная синтаксисом, – ликвидируется.

Пример (почти что первый попавшийся):

петля бочка и кувырок
и бабочка вылетев наискосок
при
седая
обводит зал
от солнца на бреющем
глядя в глаза.

Неудивительно поэтому, а, напротив, закономерно, что именно «Спор Михаэля Бен Шмуэля из Иерусалима с Господом Богом нашим» завершается инфантильной бессмыслицей: «Эники-бэники-сиколеса эники-бэники ба!»

Детская дразнилка с высунутым языком. И кто кому показывает язык, – автор Богу или Бог автору – это еще вопрос. Поэма состоит из пронумерованных главок, и эта, последняя, обозначена числом 0 («ноль»).

Ноль, ничто, однако, столь же конец, сколь и начало: смыслы слов и их сочетаний распадаются, но не исчезают, они уловимы, восстановимы и, более того, порождают новые. Так, слово «приседающая», обозначающее движение при распаде, высвобождает свойство: «седая». Тоже, кстати, похоже на детскую игру в слова. Как выяснилось, хаос структурен (см. «Теорию хаоса»).

...Что же до «близкого зарубежья», которое, в отличие от «дальнего» – науки, есть художественная словесность, то соратников и «подельников» Генделева я вижу не в современной русской поэзии (там их нет), и уж, конечно, не в последних корчах и потугах реалистической прозы, но – в фантастике, научной, ненаучной, «фэнтези» русской (Пелевин, Сорокин) или зарубежной (неисчислимо).

Можно ли Генделева переводить на иврит? Можно. Но для этого нужно сначала перевести его с русского на русский. Ведь только русский читатель способен оценить опустошения, которые Генделев произвел в русском языке, безжалостность набегов на все его «улысы», от фонетики и морфологии, до орфографии и семантики.

Откуда у меня ощущение, что Генделев на иврит уже переведен? Не на слова, а на то, что за ними... Он так приник, прилип, прикипел к нашему острову, окруженному со всех сторон засушенной сушей, к нашему безразмерному небу, всегда красной от притока свежей крови земле, нашему дикому неукротенному солнцу и такой же судьбе... Край вселенной, где все – процесс и ничего – результат, где тьма не наступает, а наваливается, и дневной свет не светит и не греет, а – сжигает. Такой край не может не заговорить на генделевском языке. А слова... Слова – это стада, послушно идущие на зов хозяина. И они придут.

...Он больше не будет раздражать тех, кто высоко ценил его стихи и не очень высоко – их автора и не обворожит других (и было их немало), которые не только что генделевскими, но и вообще стихами отродясь не болели. Обаяния в нем было с избытком.

Был он поэт старинного, очень старинного рода, т.е. с сильным зазором между бытовой и поэтической личностью. О таких сказано: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» и т.д., по тексту, но с существенной оговоркой: суетность была, а вот малодушия не было. Храбр и мужествен был он редко, не только как мужчина, врач, солдат, но особым мужеством поэта – мужеством любопытства: сгодится ли на стихи?

Нынешние поэты от не-поэтов не отличаются, такой же, в общем, служивый народ, как и все. Только что стихи пишут, и хорошо, если хорошие. Поэты – «умнейшие мужи» своих эпох и народов, как Гете, Пушкин – Ау! Где вы? – Нет ответа.

Мышление поэта Генделева было самым сложным из тех, с кем мне довелось встретиться на моем веку, и я счастлива, что еще при жизни успела ему сказать слово, которое считается собственностью мертвых: что он – гений.

ПАМЯТИ «ПАМЯТИ ДЕМОНА»

Черновик прощанья

«Генделев и Лермонтов» – это не тема, это родословная по материнской линии, той самой, где молоко впитывают с поэзией. Что ж до отцовской ветви, то Лермонтов для Генделева почти что Отец небесный, «близнец в тучах», покровитель, страж, ангел-хранитель.

А вот для Мандельштама, тоже Генделеву не чужого, Лермонтов – «мучитель наш». «Наш» – это нас, поэтов, мучитель. О чем есть свидетельство:

И за Лермонтова Михаила
Я отдам себе строгий отчет,
Как горбатого учит могила
И воздушная яма влечет.

Прекрасно сказано, но – не мучительно. И у Блока стихи о Демоне прекрасные – на то он и Блок! – вот только его Демон – оперный, не по Лермонтову, а по Антону Рубинштейну; и декоративный, по Врубелю. (Типа: «...тень Данте с профилем орлиным...», над которой иронизировал Мандельштам.)

Вспомним и панибратские, нет, выразусь по-старинному: амигошонские, – стихи Маяковского, где томная возлюбленная Демона, княжна Тамара, подменена кровожадной эротоманкой царицей Тамарой (психологическая осечка: не стал бы Демон влюбляться в свое подобие в юбке!), зато Лермонтов отлучен от Демона и персонально приглашен в гости: «К нам Лермонтов сходит, презрев времена». (В советские времена советские школьники писали сочинение «по Лермонтову» под этим именно названием, в кавычках и с указанием автора (в скобках). Надо было сильно изловчиться, чтобы показать, что действительно «сходит», а также «куда?» и – «зачем?». Очень развивало комбинаторные способности ума.)

Русская поэзия, страшно далекая от пацифизма, немало гордилась боевым офицерством поэта. «За грусть и желчь в своем лице, кипенья желтых рек достоин, он, как поэт и офицер, был пулей друга успокоен» (Есенин).

Слабее всех в лермонтовской теме отметился Пастернак: «Памяти Демона» – стихи из гимназической тетради, вялые и вообще не по делу.

А дело было, лермонтовское дело, и было оно – «мокрое»: в бытность свою офицером действующей на Кавказе русской армии (по-

ручик Тенгинского казачьего полка) Лермонтов добровольно вместе с рядовыми казаками ходил в разведку в чеченские аулы.

Только «языка» в той разведке не брали – его вырезали вместе с носителем. Массово. Крупномасштабно. Поэт отличался хладнокровной храбростью и непомерной жестокостью.

Сегодня, по всем международным законам, он был бы судим за военные преступления.

Впрочем, не дождалась Гаагского трибунала, и без оглядки на собрание сочинений Михаила Юрьевича офицерское собрание его полка выразило поэту презрительное отвращение и потребовало от начальства, чтобы его от них убрали.

Так что строка строфы второй: «мадам да он мясник мадам», минус «мадам», – это, в сущности, возможная цитата из протоколно-штабных реляций*. Сей прискорбный факт истории русской литературы известен давно, но, так сказать, архивно, келейно, без «права выноса».

Из живой литературы (собрания сочинений, биографии, учебники, критика, комментарии) факт выведен, как выводят пятна. Еще бы! Такое пятно на серафических ризах русской поэзии!

Генделев впервые и первый осмелился восстановить пятно в его законных правах и тем развернул русское поэтическое сознание лицом к мрачной бездне наслаждения в бою.

Он сам ходил по ее краю еще со времен той, первой Ливанской войны, да и потом то и дело через край заглядывал: «Ну, а я у бездны на краю с краю на атасе постою...»

Открылась бездна: строфу первую «Памяти Демона» следовало бы не развернуть крыльями любимой Генделевым бабочки, а – свернуть на манер змеи: до того гремуча и ядовита:

Как
змея учат молоку
так
змеи любят молоко
но
в молоке перед грозой скисает жало
гюрзу тенгинского полка
вспоила смерть его строку
железным ржавым молоком
не отпускала от груди
не удержала.

Языковая прокладка строфы ясна: идиома «пригреть змею на своей груди», в смысле – кормящей груди, притом кормящей неосмотрительно: ведь ужалит.

* Или реплика Грушницкого в разговоре со столичной барыней, чтобы отвадить ее от Печорина.

Да вот только: чья грудь? Кто вспоил-вскормил? Конечно, Пушкин, кто ж еще? «...И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрыя змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой».

Этот классический дуэт так давно спелся, что звучит как соло: одна на двоих смертельная дуэль, на каждого – по «пророку», у каждого – по Демону, Пушкин, правда, уточняет: «Мой демон», а Лермонтову и уточнять не надо, и так все ясно: притяжательное местоимение «мой» переведено в личное: «я». Отныне для всех навсегда.

Дуэт, впрочем, изначально распадался на два голоса: ведь лермонтовский «Пророк» жалит пушкинского, а «Демон» во сто крат окрыленной «Моего демона».

Во всех мифологиях змеи хитры и мудры, но только в одной, библейской, змей еще и искуситель, погубитель, враг рода человеческого и его творца в ходе дальнейшей эволюции – Сатана. Падший ангел.

Пресмыкающемуся уготована судьба пернатого, рожденный ползать может и будет летать! (Занятно: мифологическая эволюция соответствует принятой сегодня научной теории эволюции: птицы родом из гадов.)

...Однажды встретил меня, приплясывая от возбуждения руками:

– Наконец-то! Разгадал загадку «Паруса», с детства зацепило...

Я (резонно):

– Какая загадка? «Парус» чист и свеж, как Евтушенко.

– Да?! А где расположился наблюдатель, распределяющий пространство? «Под ним», «над ним» и кто это – «ним»?

– «Ним», – отвечаю, – это и есть парус, под ним – «струя», то есть море, над ним «луч солнца», то есть – небо. Элементарно.

– Да нет же!.. Стих держится на пространственных оппозициях: «над» – «под» – это вертикаль, «страна далекая» – «край родной» – это горизонталь. В целом: конфигурация креста. В центре, где-то в эфире, парит некто, раскинувший по краям креста руки. Или крылья. Видел собственными глазами. Сегодня, во сне...

Соглашаюсь незамедлительно: сон поэта надежней и предпочтительней пророческого, пророческий – то ли будет, то ли нет, а стих не нуждается в будущем, он весь – здесь* навсегда, если, конечно, взят из запасников вечности. (См.: «Сон» Лермонтова, «Памяти демона» Генделева.)

...Под напором генделевской литературной злости – не тот это язык! и грамматика не та! – язык «раскалывается» и выдает секреты, о которых сам не подозревал. Например, переход орфоэпии на сторону семантики.

* Как на ладони, как смятая постель...

Строка строфы первой «гюрзу тенгинского полка» подготовлена виварием предыдущих строк, тем более что в змеином семействе гюрза славится своей смертельной и быстро действующей ядовитостью («...вспоила смерть его строку...»).

Если же вслушаться пристальней, «гюрза» образует внутреннюю ассонансную рифму со словом «гусар» (что естественней? «...гусар тенгинского полка»): на те же пять букв приходится по два слога, те же опорные звуки: «г», «у-ю», «р», «а» в запасе.

От Кисловодска кислых вод до Кисловодска кислых дев («шармер на водах кислых дев») всего две перестановки («вод» – «дов» – «дев»), но их хватило, чтобы к серному источнику строфы седьмой слетелись «пэри» со всей поэтической округи, от Пушкина до Мандельштама:

Не плачьте пэри!
молоком
не кормят змея на душе
не плачьте Мэри
нё о ком
уже не стоит петь рыдать стихи и плакать.

Героиня строфы «пэри Мэри» – не одна, ее вереница: княжна Мэри «Героя...», «задумчивая Мэри» «Пира», «милая Мэри» – «пью за здоровье Мэри, милой Мэри моей», до залихватской Мэри: «Пей коктейли, ангел Мэри, дуй вино!..»

Опять же: плач, слезы...

После жестокосердого лермонтовского пожелания: «...пускай она поплачет, ей ничего не значит», генделевское: «Не плачьте Мэри» – это не столько великодушное послабление, сколько постскриптум отсутствия в составе отрицательной частицы, предлога и местоимения: «нё о ком». Но в стихе эта грамматически обычная раздельность произносится как одно слово: «неоком». Местоимение, не имеющее места.

...Я бы хотела составить антологию избранных сравнений русской поэзии. Я бы открыла ее пушкинским «...Нева металась как больной в своей постели беспокойной», а завершила бы генделевским: «озноб как мальчикказачок бежал висеть на удилах его словесности».

Я хотела бы завидовать внукам и правнукам, если бы надеялась, что в средних классах ихних средних школ они, «проходя» Лермонтова, заучивали бы наизусть «Памяти Демона» наряду и наравне с «Парусом», «Сном» или «Выхожу один я на дорогу...». Чтобы у них в одной и той же клеточке еще не закосневшей памяти лермонтовский боевой клич: «Смирись, Кавказ! Идет Ермолов...» читался на одном дыхании с генделевской строкой о Лермонтове: «...вцепившийся как бультерьер в хребет Кавказу...»

Не знаю, были бы эти неосуществимые школьники в подвопросном будущем лучше или хуже своих предшественников, но они наверняка были бы сложнее. А значит – лучше, в наших постобществах чем сложнее становятся средства связи, тем элементарней те, кого они связывают... Нас губит простота, как будто эволюция личности дала задний ход*.

Последней книгой, которую Генделев читал, была «Краткая история времени» Стивена Хокинга. Увлёкся, жаловался, что тяжело, от всей души завидовал физикам и математикам. И не напрасно: именно в «Истории времени» припрятан ключ к поэтике Генделева, нет, даже не к поэтике, а к тем внесловесным, неречевым представлениям, к той императивной воле, что продиктовала мир его стихов: «...время не отделено от пространства, но вместе с тем образует единый объект» (Хокинг. «Краткая история времени»).

Что Михаил Генделев всецело принадлежит русской поэтической речи как ее законный со-владелец и со-участник – очевидно. Не спорить же с очевидностью.

Но: до последнего дня, до последнего вдоха без выдоха он именовал себя пишущим по-русски израильским поэтом, и его каменная усыпальница в Иерусалиме – лишь последний жест этого самоопределения вплоть до отделения.

...Давным-давно-предавно Генделев оставил и отставил не столько Россию Брежнева, сколько Ленинград Бродского. Чтобы не прохладиться в его неотступной тени, чем, собственно, и ублажалась ленинградская послебродская поэзия, – Генделев выбрал дикое необъезженное солнце Палестины.

Найти себе место под таким солнцем – значит остановить его. И Генделев это сделал.

Как поэт Генделев не обязан Израилю – государству, культуре, народу – абсолютно ничем, но: как поэт – обязан абсолютно всем самому факту его существования. Чистая феноменология, без стройматериала и строил языка, традиции, преданий.

Другого такого примера я не знаю ни в русской, ни в мировой поэзии.

Генделев не принадлежит Израилю – зато Израиль принадлежит ему по праву завоевателя.

Израиль с козырным тузом Иерусалима в руках стал первым пространством, распахнувшим перед Генделевым другое измерение времени.

Второе открыла война, первая Ливанская... По ее следам начали пасьянсом раскладываться территории, не колонизированные ни

* Как это было сказано еще до начала нашей эры? «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту». Вот именно: к концу, только не собственному – всеобщему.

русским штыком, ни русским пером: Междуречье с приложением штабной карты рая, Тигр, Сидон, Вавилон, Дамур...

Нет, не историческая и даже не доисторическая родина, вообще – не история, но: околплодные воды, в которых эмбрион истории вызревает, чтобы потом с ней умереть: «Отхлыньте каменные воды от ледяных берегов реки где бывшие сидят народы посмертно свесив языки».

Из похода на ту сторону реки (Литани, времени – все равно) в качестве боевого трофея, как добытую в бою полонянку, Генделев вывез главную достопримечательность и гордость здешних мест – Бога. Он же Элохим, он же Адонай, он же Аллах, короче: Господь.

И с Ним Генделев больше не расстается.

Что это? Вера? – прочерк. Атеизм? – дешевка. Богоборчество? Не в счет: XIX век, романтики – безграмотно. Уместней прочего формула Борхеса: «Я в Бога не верю, но очень им интересуюсь».

В пересчете на Генделева необходимо уточнение: «только им интересуюсь». Он – не лирический герой, не – Боже, упаси! – alter ego, не сотрапезник в диалоге, не божественное «ты», собеседующее с человеческим «я», не «мать всех метафор» или «отец всех тропов», как выразились бы арабы на своем щербетном поэтическом щебете. Нет, Он – оппонент, противник, соперник.

У Генделева такое же сопротивление поэтике Вседержителя, как поэтике Бродского, Пастернака, а напоследок – и Мандельштама. Только еще более неукротимое и жестоковыйное, пропорционально мощи и популярности творца.

«...И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог, что свет хорош».

Вот вам не «Бродский, хуй уродский» (всегда коробило), – тут такой фаллос, что похлеще всякого логоса.

Верно и обратное: «И отделил Бог свет от тьмы и увидел Бог, что это хорошо».

А Генделев в ответ: нет, не хорошо, потому что не получилось, потому что: «тьма это тьма а не где-то заблудший огонь повтори: не свет не отсутствие света и не ожиданье зари».

Или: «...есть война не мир обратный но мир в котором все как есть и будет далее и доколе...»

Или: «О! Не объяснится несчастье отсутствием счастья, ничуть...»

По генделевской подсказке ряд продолжается естественно и необходимо: зло – это зло, а не отсутствие добра и не его ожидание, а смерть – это не жизни мир обратный, а мир, в котором все как есть.

Мадам, да он бретер, мадам! Не упустит случая, чтобы не бросить боксерскую перчатку в каждое из первых трех лиц пресвятой монотеистической троицы – иудаизм, христианство, ислам... Смотри: «Спор Михаэля бен Шмуэля из Иерусалима с Господом Богом нашим...» в книге «Любовь война и смерть в воспоминаниях сов-

ременника», страницы со 126-й по 136-ю читаются справа налево...

И на общее всем трем лицам выражение тоже замахнулся: «Я верил бы в бессмертие души да две метафоры перегружают строчку...»

Генделевскими занятиями теологией еще предстоит заняться всерьез и подробно, они куда неотложней «Занятий философией» Пастернака, потому что актуальней. Как и вообще теология актуальней философии, и ходить ей у теологии в служанках.

...Можно ли представить себе, чтобы, скажем, Первая мировая война предшествовала Троянской?..

Можно, а в истории времени, по Генделеву, даже необходимо: ведь у него первая Ливанская случилась вначале, а лермонтовская чеченская – потом, а то и вследствие...

Из русской провинциальной глубинки XIX века, из исторического арьергарда чеченская война вырвалась на оперативный простор, в авангард XXI века. Потому что: джихад. Потому что: Аллах Акбар.

Время больше нельзя сверять ни по Гринвичу, ни по Гамлету – оно не вывернуло сустав. Что сустав? Вправить его обратно – пустяковая работа для полкового лекаря, каким и был на войне Генделев. Но в Ливане, в «садах Аллаха», он наступил на время, свернувшееся удавом: то кольца, близкие к хвосту, перемещаются к голове, то головные ползут обратно...

Многолетняя свара Генделева с Бродским наконец-то завершена, как и положено завершаться любой сваре, – смертью.

Только похоронены они в противоположных концах времени («коемуждо по времени его»): Бродский – в уютном XIX веке, на его самом престижном кладбище – в Венеции, Генделев – в XXI, в Иерусалиме, где время то ли дало течь, то ли начало обратный отсчет*.

...На тропу Ливанской войны Генделев вышел без огневого прикрытия русской поэзии, один, но не в одиночестве, а с Лермонтовым.

(Как, впрочем, один, но не одинок был и Лермонтов на своей дороге – пустыня внимала Богу, переговаривались звезды – уже трое.)

Лермонтов помог Генделеву спуститься с вершин Кавказа «в долины лунные Ливана» и перебраться из долины Афганистана на дно вади Бекаа: «...на дне вади Бекаа в полдневный жар во всю шахну Афганистана», и все для того, чтобы досмотреть тот же полдневный сон: «смерть это такой сон что снится себе сам».

Мне бы хотелось, чтобы сегодня Михаила Лермонтова читали в обратной перспективе, после Михаила Генделева, как в прямой чи-

* Это уже не «воздушная яма», а «черная дыра».

тают Пушкина после Державина, как, по генделевскому же слову, конец летальный предшествует зачатию.

Был период, когда Генделев и в Израиле, и в России увлеченно и успешно занимался политологией: печатали, платили, читали. Но я, признаться, его политологических штудий не люблю, его настоящая политология – это его поэзия, в ней, и только в ней, он открыл доставшееся нам время как век очнувшегося от смертной одури Бога и войн во славу его, религиозных боен.

Вообще же проза Генделева относится к его стихам примерно так, как стихи Набокова к его прозе: не то чтобы плохо, но можно и без них.

Впрочем, один прозаический шедевр у Генделева все же имеется – это его кулинария. Кто-то мне пожаловался, что попробовал воплотить в жизнь один из особо аппетитных рецептов Генделева, но – безрезультатно.

Еще чего!.. Все равно, что недоумевать, почему суп из хвоста русалки получается хуже, чем из плавников акулы.

...Генделев был человек застолья, хозяин радушный и хлебо-сольный, и дом был полная чаша, но: как поэт он в высшей степени негостеприимен. Чтобы до него достучаться, нужны усилия, и немалые. Здесь не то что не пушкинский дом, но даже не пастернаковское Переделкино, куда уже много десятилетий подряд гости, забыв былую недоступность владельца, съезжаются на дачу. Тем не менее нынешний русскоязычный стихолоб, искушенный золотым и серебряным веками русской поэзии – причем еще непонятно, какой из них какой, – и тем, что было в промежутке и после, к поэтике Генделева, если захочет, – пробьется. Не помешают ни причудливое строение тропа, ни подрыв грамматических устоев русского языка, ни визуальные капризы.

Загвоздка в другом: Генделев возмутительно, пугающе – как это говорится? – неполиткорректен, он – «древней неземной работы»: эпическое чувство войны и никакого чувства вины («...зубами выговорить в кислород желание Война...»), эпическое чувство врага, не трусливый «образ врага», как фанерная мишень в тире, – а врага настоящего, кровного, насмерть («...до отсохнет моя правая до курка»), неслыханный для нас этос эпоса – уважение к врагу как равному в смерти («...и мы и эти состоим из фосфора, души и меда железа и одной свободы, что так недосыта двоим»).

Кто еще, кроме Генделева, на каком угодно языке мог бы протрубить оду в честь военной победы («Ода на взятие Тира и Сидона») и обрыдать поражение израильской армии в «Церемониальном марше»?

И в русскоязычном Израиле, и в России читателей и почитателей Генделева достаточно, чтобы наполнить залы приличной вместимости. Плохо с акустикой: в современной русской поэзии он ни

с кем не перезванивается – не с кем. Об ивритоязычной и говорить не приходится: это настолько разные ветви культурной эволюции, что даже не оспаривают одно экологическое пространство.

Конечно, «Памяти Демона» – гениальные стихи. Но как быть с их адресатом теперь, когда жало в мешке уже не утаить? (И как быть с тем, кто это жало выпустил и, без тени смущения, продолжает любить не поэта-демона, а поэта-мясника с такой нежностью, как дай вам Бог?)

...В самую последнюю встречу, когда Миша чувствовал себя не плохо, а очень плохо, да и я была не подарок, мы успели переговорить об актуальном. Не о смерти – что было бы «противунравственно» и дурной тон, – да и что о ней скажешь?

Нет, обсуждали некролог. Является ли он литературным жанром? Согласились: да, является. А если жанр, у него должны быть свои вершины. И они есть. Припомнили плач Чуковского по Блоку – лучшее, что автор «Айболита» написал в прозе для взрослых. Я упомянула несравненный текст Андрея Платонова на смерть знаменитого пародиста Александра Архангельского: некролог-пародия. Кто б еще, кроме Платонова, на такое осмелился? Миша не читал, взялась раздобыть.

И все-таки сошлись на том, что лермонтовский некролог Пушкину – называется «Смерть поэта» – это пик жанра, через который еще никому не удалось перемахнуть. Не стихи – они поистерпались, да и изначально были не очень*.

На границах каждого жанра беспокойно: роману угрожает действительность, любовной лирике – любовь, некрологу угрожает дифирамб – из-за нашего низкопоклонства перед смертью, приторный запах притираний бюро ритуальных услуг.

Лермонтов вытеснил дифирамб инвективой, надавал оплеух власти за ее власть над смертью. Власть, впрочем, тоже повела себя достойно: не лицемерила в угоду христианскому добронравию, но отмазала грубо, прямо, по-солдатски: «Собаке собачья смерть».

Такой вот тронный некролог, как бывает тронная речь.

В неостывшей жажде мести за Лермонтова Михаила Михаил Генделев царскую речь смял и снял:

а смерть что смерть
она
его лицо лизала как собака.

Не Лермонтов – собака, это его смерть собакой приползла и припала к хозяину: «Над офицериком салют».

...До входной двери от силы один-два метра. Миша провожает меня, хватаясь за уходящий воздух и уступы мебели, как за пере-

* Позиция — вот что восхищает.

борки во время качки. На прощанье брюзгливо, шерстяным голосом – потому что заранее знает ответ – осведомляется, в каком состоянии моя рецензия на его последнюю книгу, – был такой уговор.

И я неосторожно, в высшей степени неосторожно – ведь нас подслушивают, – пообещала: «Даю слово: вы не умрете раньше, чем прочитаете мою статью».

Он умер раньше. Слово за мной.

МАЙЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС

Мама не мертва.

Я знаю, конечно, что она умерла. Я стояла у ее могилы на иссушенной Масличной горе, открытой обжигающим ветрам пустыни, видела вялого кладбищенского служку-араба. Не верю я и в жизнь после смерти. Как и мама, я атеистка.

И все же невозможно принять, что человека столь сильного, полного жизни, неистраченных слов и невысказанных мыслей, больше нет. В мире образовался разрыв, дыра с очертаниями Майи, видимая не только мне и моим сыновьям, но и всем, соприкасавшимся с ней. Идет время, но дыра эта не затягивается, только становится все больше и чернее.

Есть ли что-то на той, другой стороне? Подобно Алисе в Стране чудес, я останавливаюсь перед зловещей тьмой, опасаясь сделать шаг. Но, как известно любому поклоннику научной фантастики (а мама принадлежала к их числу), черная дыра может вывести к иным мирам и иным измерениям. Она бы поняла, почему я отправляюсь в путешествие в прошлое, сквозь зияющие врата ее отсутствия.

Говорят, прошлое – чужая страна. Как и всякая чужая страна, она требует от путешественника некоторого знания языка и соответствия местным нравам и обычаям. Мне придется припомнить отброшенный язык детства, русский, с трудом перевоплотиться в полузабытую Лену, майину дочку. Совершая это, я одновременно совершаю открытие, сделанное до меня бесчисленным множеством других: утрачивая родных, теряешь и уверенность в существовании собственного прошлого. Никто больше не сможет подтвердить, что воспоминания о детстве истинны. Никто и ничто, кроме памяти и воображения, а они, в сущности – одно и то же.

И я ныряю в черную дыру – и оказываюсь в прошлом, в Стране чудес, где годы слились в единый солнечный полдень. Я вижу нас обоих в саду, на даче. Мама молода и красива, на ней сшитое на заказ платье по моде шестидесятых годов; она читает мне вслух. Читает – что? кого? Льюиса Кэролла. Быть может, Диккенса. Страна чудес отдаляется, растворяясь в золотистом сиянии ностальгии и горя. Все расплывается, ее голос уходит. Но я уверена, что это не Пушкин. Израильские читатели видели в ней собственный идеализированный образ «русской культуры». Эту культуру она знала вдоль и поперек, но любимыми ее писателями были – французы. Ребенком я засыпала под колыбельные Пабло Неруды и росла на сказках Ханса Кристиана Андерсена и историях о волшебнике из страны Оз.

Миру были знакомы две Майи: литературовед, эссеистка, автор прекрасных и глубоких исследований, посвященных Марине Цветаевой, Михаилу Булгакову, Николаю Лескову и другим; и – пылкий критик израильской политики и культуры, заклятый враг постсионистской «левой». Но Майя, которую встречаю я в Стране чудес, совсем иная. Я вижу девушку, которая с горечью произносит: «Я могла бы стать второй Симоной де Бовуар, не родись я в этой проклятой стране». И она – могла бы. Она обладала достаточным умом, талантом и энергией, чтобы стать всемирно известным интеллектуалом наподобие Славоя Жижека, Жака Дерриды или Корнела Уэста. Но она жила в осаде, в тюрьме, за решетками тоталитаризма, культурной провинциальности и лингвистических барьеров. С падением Берлинской стены, распространением глобальных веяний и восходом интернета засовы стали открываться один за другим, но для нее уже было слишком поздно.

И все же она всегда боролась и билась, расшатывая стены своих многочисленных тюрем. Когда мы жили в бывшем и никак не оплакиваемом Советском Союзе, меня раздражало ее диссидентство. Мне не нравилось лгать одноклассникам, спрашивавшим, чем занимается моя мама – или приходиться домой и заставить на кухне гебешника, шумно прихлебывающего чай. И когда под давлением КГБ – сытого по горло ее связями с сионистами, украинскими националистами и полупомешанными «настоящими» коммунистами – ей пришлось уехать, я наконец-то вздохнула спокойно. Теперь я могла мирно закончить школу и поступить в университет, не думая о том, что мама сидит где-то в ГУЛАГе... Но не успел ее поезд отъехать от киевского вокзала, как я с пронзительной уверенностью осознала, что последую за ней. Зову свободы, воплотившемуся в ней, противиться было невозможно.

В этом зове была она вся. Она была из тех людей, что несводимы к одному определению, личности, образу. Она менялась, примеряла на себя и отбрасывала мнения, идеи и друзей. Даже в последние годы, придавленная грузом тяжелой болезни, она спасалась воображением и путешествовала по странам, которые никогда не увидит: Англия, Китай, Америка. Ее интересовало все, от ядерной физики до японских комиксов. Незадолго до своей последней, смертной больницы она сообщила мне, что намерена всерьез заняться экономикой: теперь ей стало казаться, что Маркс, вероятно, был прав и экономика влияет на историю.

Вот почему там, в Стране чудес, я вижу перед собой не престарелую и преисполненную мудрости женщину, а молоденькую девушку, какой она была в год моего рождения. Как Алиса, она растет и уменьшается, меняется ее лицо и голос, возраст и взгляды, она всегда разная и всегда равна сама себе. Свобода всегда юна.

Вот почему я знаю, что мама не мертва. Не в том дело, что слова, сказанные ею, пережили ее, обращаясь сейчас к новым поколениям читателей. Несмотря на избитые фразы, книги – горят, мнения – затираются, новые эпохи отрицают мудрость прежних. Но даже если мысли умирают, свобода мысли вечна, она всегда ищет новые формы и зовет нас «бороться и искать, найти и не сдаваться».

Мама любила называть себя дочерью офицера. Удивительно, казалось бы: мой дед, погибший в 26 лет в безнадежной битве с равшимися к Киеву нацистскими полчищами, был убежденным коммунистом. И все-таки они были очень похожи. Мама отреклась от дедовских убеждений, но не его боевого духа. А оружие у нее имелось помощнее, чем жалкая винтовка, которую выдали деду для борьбы с оккупантами. У нее были слова – и блистательный ораторский и писательский дар. Слова могут нанести рану более глубокую, поражение более безнадежное, чем любая пуля. Слова не ломают кости, но повергают в прах империи. Советский Союз победил вермахт, но исчез, как дурной сон, когда ложь его была разоблачена. Единая ивритская стена треснула под напором многих несогласных голосов русской алии – и Израиль отныне никогда не будет прежним. Мир, испытывая словесное наводнение интернета, переживает величайшую в человеческой истории революцию. Моя мать знала свою силу – и использовала ее без колебаний.

Но я далека от того, чтобы видеть в ней новую Жанну д'Арк, вдохновенную абсолютной верой, что так легко переходит в фанатизм. Она исповедовала не идеологии, но идеи. Ее ясный, живой разум рассекал спутанные клубки верований, смеялся над неоспоримыми мнениями и дразнил лицемерное самодовольство. Она была не мученицей догмата, но свободным мыслителем, четко видевшим уловки двое речи любой благочестивой ортодоксии. Очутившись в Стране чудес, Алиса бросает в лицо чванливым придворным Красной королевы: «Чепуха! Вы всего-навсего колода карт!». Как и она, Майя умела разглядеть в чехарде самозванных пророков, политиков и торговцев подержанным враньем карточную колоду. И не раз очередной самодур вопил: «Отрубить ей голову!». Но катились их головы, а она оставалась невредима и по-прежнему шла вперед, легко сбрасывая ношу прошлого. Она хранила верность лишь вольному духу интеллектуальной свободы, что вечно низвергает вчерашних идолов и устремляется к чудесным игрушкам будущего.

...Вот и снова мама в саду, и я бегу к ней – и понимаю, что теперь года наши сравнялись.

– Здравствуй, – говорит она. – Только что сообразила, как неправ был Мишель Фуко!

– Мам... – отвечаю я. – У меня домашнее задание по тригонометрии. Помоги!

– Обязательно!

– А ты знаешь, что такое синус и косинус? – подозрительно спрашиваю я.

– Нет, – говорит она. – Но обязательно узнаю!

Примечания

Тексты М. Каганской приводятся с исправлением очевидных опечаток, допущенных в первых публикациях; эти исправления, за некоторыми исключениями, не указываются. Также отдельно не оговариваются случаи искаженного цитирования. Все примечания в текстах принадлежат автору.

Русский бес

Ваш Чехов – Впервые в журн. «22» (Тель-Авив-Иерусалим), № 26, 1982.

С. 8. ... «Книги о Чехове» – Над книгой о Чехове М. Каганская начала работать еще в СССР, однако эта книга не была завершена.

Русский бес – Впервые в качестве послесловия к ивритскому изданию «Мелкого беса» (Тель-Авив, 1990); на русском яз. в журн. «22» (Тель-Авив-Иерусалим), № 78, август-сентябрь 1991.

Цветаева – Первая публ. на иврите в журн. *Nadarim*, № 9, 1990; также в журн. «22» (Тель-Авив-Иерусалим), № 71, май-июнь 1990.

С. 67. ...*white rose* – белая роза (англ.).

С. 70. ...*enjambement* (франц.). – буквально «перенос», анжамбман: поэтический прием, состоящий в переносе одного слова из фразы в конец предыдущей или начало следующей строки.

Осип Мандельштам – поэт иудейский – Впервые в журн. «Сион» (Тель-Авив), № 20, 1977.

С. 83. ...*земля* и т.д. – Так в первой публ. Правильней было бы *המלאכה, הלא* (без определенного артикля - ה) и *הלאה*.

Заговор равных

Заговор равных – Первая публ. в журн. «22» (Тель-Авив-Иерусалим), № 12, май 1980.

Осень патриарха – Впервые в журн. «22» (Тель-Авив-Иерусалим), № 75, февраль-март 1991. В связи с данной статьей любопытно привести позднейшую оценку личности и творчества Солженицына, а также его книги *Двести лет вместе*, изложенную М. Каганской на культурологическом семинаре журнала «Солнечное сплетение» (Иерусалим) в августе 2001 г. («Солнечное сплетение», № 18-19):

Не нужно быть историком, чтобы понимать, что это не историческое сочинение. Книга сама по себе ни черта не стоит. Но здесь есть одна подлинно историческая примета, и ее невозможно оспорить. Автор – человек гениальный, один из гениальнейших людей XX века. Он написал «Архипелаг ГУЛАГ», перевернул мир, уничтожил русский коммунизм. Отрицать его как грандиозное историчес-

кое явление я не могу и не собираюсь. Насчет «неуместности» и «невпопад» – я не знаю, как определять историю. Для меня история – это не хроника, не упорядоченность и совокупность событий, которые происходят во времени, для меня история есть некое решение по поводу. Я никогда не забуду, это одно из потрясающих воспоминаний, когда, лет десять-пятнадцать или даже больше тому назад, в Институт иудаики, который сейчас называется Центром Бауэра, был приглашен один французский еврей-историк. Он подарил этому Центру тридцать или сорок ящиков исторических исследований французских евреев по поводу французского антисемитизма. Невероятное количество этого материала он обнаружил в каких-то подвалах, подземельях на юге Франции и в Париже. Эта колоссальная собирательская работа проводилась с конца 20-х годов. Была составлена карта антисемитской Франции и Франции юдофильской. Были дотошно собраны никогда не использовавшиеся в науке документы о процессе Дрейфуса. Последнее заседание этого общества намечалось на тот самый день, когда немцы вошли в Париж. Кто-то из присутствующих спросил дарителя: как же так, занимались концом XIX века – а тут немцы, Катастрофа? Этот француз ответил гениально: Катастрофа не относится к историческим событиям. Она немислима, поэтому она не принадлежит истории. И в сегодняшней ситуации предъявлять Солженицыну обвинения в антисемитизме – это роскошь, которую я ни морально, ни психологически, ни интеллектуально не могу себе позволить. Я хочу только сказать о горестном положении евреев. В течение пятидесяти или даже уже шестидесяти лет после Катастрофы еврейство ничего подобного «ГУЛАГу» о Катастрофе сказать не сумело. Ни на интеллектуальном, ни на художественном, ни на каком угодно историческом уровне, оно не смогло предъявить миру книгу, которая бы так подействовала, как труд Солженицына. У меня вообще впечатление: либо после Катастрофы произошло что-то, отчего еврейский мозг сегодня работает, конечно, в четверть накала по сравнению с тем, как он работал до Второй мировой войны, либо, понимаете, какие-то моральные условия противопоставлены такой интеллектуальной работе. Как и почему это происходит, я даже не хочу углубляться. Понимаете, в течение всего XX века происходят такие ситуации, которые заставляют и на историю смотреть иначе. И дело не в том, что история должна быть переписанной...<...> Написана книжка отвратно. Но сам Солженицын есть грандиозная личность, которую никакими этими отвратностями, никакими обвинениями в антисемитизме не устранишь. Ни один из присутствующих здесь, включая меня, не отказывал себе в интеллектуальном удовольствии и творческой потребности высказаться по поводу русской истории и русской культуры. Мы считаем для себя это совершенно естественным по праву родившихся там, по праву людей, причастных бегу времени, накопивших значимый опыт. Но я не понимаю и даже не хочу углубляться, мне это неприятно, – почему мы реагируем на всякое движение с русской стороны. Сегодня, простите за то, что я скажу, но мы в Израиле уже живем в ситуации Катастрофы. Когда множество молодых людей из другого народа, здоровых, полных жизни, разрывают себя на части для того, чтобы уничтожать еврейских детей, то это ситуация Катастрофы. При таких условиях, если русское еврейство хочет для себя строить свою отдельную историю, оно может это делать. Если же члены израильского интеллектуального сообщества, какая-то профессура, сегодня будут цепляться за книгу Солженицына, то это потому, что им страшно плохо. Этот страх думанья чудовищной виной лежит на всем еврейском существовании. Есть какие-то моральные условия у полноценного интеллектуального процесса. Евреи поражены страхом, моральным страхом перед словом о себе. <...> Кстати, мотивы самого Солженицына мне не только очень понятны, но и глубоко мною разделяются. То есть, не знаю, почему он за это взялся, может, были личные причины, ведь антисемитизм теперь тема не самая горячая. Есть зато другая тема – тема России, которой угрожает пусть не физическая, но, возможно, историческая Катастрофа. Россия либо вернется в историю как какой-то мощный фактор, либо не вернется вообще. Сегодня русский народ, как и другие традиционные европейские нации,

находится под натиском обвинения, его заставляют просить прощения за грехи. Сегодня весь европейский, весь западный мир искупает грехи. И России тоже все время предъявляют счета. А я-то уверена, что никакие счета оплачиванию не подлежат, потому что их всегда предъявляют не те, у кого брали в долг, и не те их оплачивают. Как я понимаю Солженицына, ему нужно отмыться от Чечни, ему нужно отмыться от Запада, ему нужно отмыться за русских коммунистов, ему нужно отмыться и за антисемитизм. Я его понимаю и опять же говорю, мне он понятен и симпатичен. Но, честно говоря, мне неприятно, когда евреи в этой ситуации опять предъявляют те же старые счета, по которым платить более невозможно.

С. 120. ...*кнаанитов...Гуш-Эмуним* – Кнаанизм – влиятельное израильское культурно-идеологическое течение 1930-50-х гг., мечтавшее о возникновении на Ближнем Востоке новой иудео-арабской «ханаанской» общности; «Гуш-Эмуним» – религиозно-политическое поселенческое движение мессианского толка.

С. 121. ...«*последним докатом*» – выражение из манифеста А. Солженицына «Как нам обустроить Россию».

С. 124. ...«*Кол Израэл*» – чаще «Коль Израэль» («Голос Израиля»), государственная радиовещательная служба Израиля.

Апология жанра

Возвращение к себе – Впервые в журн. «22» (Тель-Авив-Иерусалим), № 2, июнь 1978.

С. 15. ...*Танаха* – Танах – принятый в иврите акроним для обозначения еврейского Священного писания, от слов «Тора» (Пятикнижие), «Невиим» (Пророки) и «Ктувим» (Писания).

Остановка в пустыне – Впервые в журн. «22» (Тель-Авив-Иерусалим), № 17, январь-февраль 1981.

С. 139. ...*Меа-Шеарим* – ультра-ортодоксальный район в Иерусалиме.

С. 150. ...*галутный* – изгнаннический, от «галут» – «изгнание», «рассеяние» (ивр.)

Апология жанра или рецензия на жизнь – Первая публ. в журн. «22» (Тель-Авив-Иерусалим), № 20, июль-август 1981.

С. 154. ...*алии* – иммиграция (букв. «восхождение», ивр.), также употребляется для обозначения иммигрантов из определенной страны или региона.

С. 155. ...*Виктора Перельмана* – В. Б. Перельман (1929-2003) – журналист, издатель, редактор журн. «Время и мы», выходящего в Израиле, затем в США (152 номера, 1975-2001).

С. 155. ...«*Эссе о времени*» – см. т. 1 настоящего собрания.

С. 157. ...*доктора Израэля Эльдада* – И. Эльдад (1910-1996) – видный деятель вооруженного еврейского подполья в подмандатной Палестине, публицист, радикальный сионист.

Свобода и слова

Встань и беги – Впервые на иврите в журн. *Eretz aheret*, № 19, 2003. Статья приводится в авторской русской версии по сетевой публикации.

С. 170. ...«?למה באת?», ...«פטר», ...«על רקע רומנטי» (ивр.) – «Лама бат?» («Зачем вы приехали?»), «патетика», «на романтической почве».

Страсти по музею – Первая публ. в журн. «22» (Тель-Авив-Иерусалим), № 10, декабрь 1979.

С. 188. *Яд-ва-Шем* – мемориальный музей Катастрофы в Иерусалиме.

Причастность и отщепенство – Впервые в журн. «Страницы» (Иерусалим), № 1, осень 1992.

Далеко от Москвы – Статья написана в 2006 г. для планировавшегося к выходу ивритского журнала. Первая публ. не выявлена. Печатается по машинописи.

С. 209. ...«*керув левавот, керув тарбуйт*»... (ивр.) – «сближение сердец», «сближение культур».

Свобода и слова. Дневник писателя – Впервые в «Окнах», литературно-худож. прил. к газ. «Вести» (Тель-Авив), 2 сентября, 16 сентября и 7 октября 1999.

С. 213. «*Гаарец*» (Haaretz) – старейшая ежедневная газета Израиля, традиционно считающаяся либеральной и интеллектуальной, публикуется также на англ. языке.

С. 215. ...*сабру* – «Сабра» – самоназвание уроженцев Израиля.

С. 217. ...*МЕРЕЦ*... – На момент написания статьи левая социал-демократическая партия в Израиле с 10 местами в парламенте.

С. 222. ...«*Шалом ахиав*» – букв. «Мир сейчас», израильское движение, выступающее за создание независимого палестинского государства и мир с арабскими странами за счет масштабных территориальных уступок.

С. 225. *Кнессет*... *Деди Цукер* – Кнессет – парламент Израиля. Деди Цукер (р. 1948) – левый политик, депутат парламента в 1984-1999 гг.

С. 241. ...*Авода* – сокращенное название социал-демократической Израильской трудовой партии или Партии труда.

С. 247. ...*Азми Бишару* – А. Бишара (р. 1956) – израильский арабский политик и интеллектуал, бывший депутат парламента; подозревался в передаче информации террористам, в 2007 г. бежал из Израиля и осел в Катаре.

Катастрофа

Катастрофа – Выступление М. Каганской на религиозно-философском семинаре, организованном центром «Маханаим» (июль 1996). В текст выступления, который

приводится по сетевой публикации, включены ответы докладчицы на вопросы слушателей, задававшиеся во время доклада; название дано нами.

Покров над бездной

Слово о милости и гордости. Краткий очерк души и творчества – Впервые как послесловие к книге М. Генделева *Легкая музыка* (М.-Иерусалим, 2004).

Поэма без героя – Статья печатается по публ. в сетевом журн. «Заметки по еврейской истории», № 7 (142), июль 2011.

Покров над бездной – Первая публ. в газ. «Вести» (июнь 2008).

Черновик прощанья

Смерть поэта – Первая публ. в качестве послесловия к посмертной кн. И. Рубина *Оглянись в слезах: Стихотворения. Статьи. Проза* (Тель-Авив, 1977).

С. 292. *Творящий мир...* – здесь и далее цитаты из кадиша, еврейской заупокойной молитвы.

С. 300. ...*пардес* – цитрусовая плантация (ивр.).

Памяти Анны – Впервые в журн. «Солнечное сплетение» (Иерусалим), № 6, 1999.

С. 305. ...*амидаровскую* – «Аמידар» – израильская государственная компания, предоставляющая субсидированное жилье иммигрантам, бедным слоям населения и т.д.

«**Я хочу рассказать вам...**» – Сетевая публ. в «Заметках по еврейской истории», № 17 (120), октябрь 2009; также в журн. «Лехаим» (Москва), № 7 (219), июль 2010.

С. 307. ...*Гиват-Шауль* – район в западной части Иерусалима, где расположено крупнейшее городское кладбище.

С. 309. ...*Неве-Яакове* – Неве-Яаков – «спальный» жилой массив на северо-восточной окраине Иерусалима.

Памяти «Памяти Демона». Черновик прощанья – Впервые в журн. «Новое литературное обозрение» (Москва), № 98, 2009.

С. 317. ...*лермонтовский...клич* – имеется в виду: лермонтовский по существу, в продолжение линии пушкинского «Кавказского пленника», откуда и взята цитата.

И. Гомель. Майя в Стране чудес – Впервые на иврите в газ. *Haaretz*, 28.09.2011. Статья печатается в переводе с авторской английской версии.

Об авторе

Майя Каганская родилась в Киеве в 1938 г. В 1962 г. закончила Киевский университет (русский язык и литература). Работала в газ. «Комсомольское знамя», откуда ушла по идеологическим причинам в 1967 г. после начала Шестидневной войны.

В 1960-х – начале 1970-х гг. М. Каганская вращалась в кругу киевских интеллектуалов и богемы. Среди ее московских друзей и собеседников – Н. Мандельштам, окружение М. Бахтина, критик В. Турбин.

Написанные в то время работы М. Каганской были посвящены А. Чехову, О. Мандельштаму, И. Ильфу и Е. Петрову.

В 1976 г. М. Каганская приехала в Израиль. Первая же большая публикация, цикл «Эссе о времени» в израильском (позднее – американском) литературно-публицистическом журн. «Время и мы», заставила говорить о ней как об одном из наиболее заметных авторов эмиграции.

В конце 1970-х гг. Каганская печаталась также в журн. «Синтаксис» (Париж) и в израильском литературном и общественно-политическом журн. «Сион».

М. Каганская стояла у истоков преемника «Сиона» – литературно-художественного и общественно-политического журн. «22» (Тель-Авив – Иерусалим), лучшего периодического издания «русского» Израиля, и была тесно связана с создателями и авторами «22» – главным редактором Р. Нудельманом, А. и Н. Воронелями, М. Хейфецем и др.

В эти годы вместе с поэтами А. Волохонским и М. Генделевым и рядом других литераторов М. Каганская выдвинула и отстаивала концепцию «израильской литературы на русском языке», не подчиненной эстетическому и смысловому диктату российской «метрополии».

Жизнь и взаимопроникновение литературных текстов, миф и культура, поэтика интертекста, культурная история и история в культуре, явление неонацизма и судьбы еврейства, Россия и Израиль – таков круг тем, постоянно занимавших М. Каганскую.

Многие ее тексты становились событиями культурной жизни «русского» Израиля и Запада, неизменно вызывали острые споры и даже литературные скандалы, восторженные отзывы («со времен Ахматовой мне не доводилось читать столь поэтичную русскую прозу» – сэр Исая Берлин) и столь же резкое неприятие.

В 1984 г. совместно со своим мужем, филологом и литературоведом З. Бар-Селлой, М. Каганская выпустила книгу «Мастер Гамбс и Маргарита», остроумное и подчас фантастическое сопоставление романов И. Ильфа, Е. Петрова и М. Булгакова.

В 1980-х -2000-х гг. эссе, статьи, проза и интервью М. Каганской печатаются в журн. «22», «Страницы», «Солнечное сплетение», в газ. «Вести» и ее литературно-художественном прилож. «Окна», в литературном альм. «Саламандра» и т.д..

С 1980-х гг. и особенно в 1990-х – 2000-х гг. эссе и статьи Каганской постоянно переводятся на иврит и публикуются в влиятельных израильских газ. *Haaretz*, *Yediot Ahronot*, *Maariv*, журн. *Moznaim*, *Eretz Aheret*, «77» и др.; с ее послесловиями выходят ивритские переводы «Белой гвар-

дии» и «Собачьего сердца» М. Булгакова, «Приглашения на казнь» В. Набокова.

В 2004 г. в пер. П. Криксунова на иврите вышла книга избранных эссе М. Каганской *Dimdumei elim* («Сумерки богов»). В том же году в Москве в изд. РГГУ был выпущен сб. «Вчерашнее завтра: Книга о русской и нерусской фантастике», в котором помимо Каганской участвовали ее дочь И. Гомель (в настоящее время профессор кафедры англо-американских исследований Тель-Авивского университета) и З. Бар-Селла. Но выхода собственной книги на русском языке М. Каганская, автор сотен статей и эссе, так и не дождалась.

Публикации Каганской на русском языке принесли ей в 1982 г. премию Р. Эттингер, статьи на иврите – премию Еврейского агентства; многие израильские критики называли ее «лучшей эссеисткой» страны. Однако скептическое отношение М. Каганской к перспективам «мирного процесса», ее нелюбимые оценки «ориентализма» израильской культуры, осуждение интеллектуальных компромиссов и западного мультикультурализма привели к глубокому расхождению между нею и израильским культурным истеблишментом.

«Пожалуй, главной стороной Майиной личности была весьма отчетливая политическая позиция, которую она, впрочем, всегда соединяла с культурологией, – и тут ее взгляды шокирующе расходились со всеми ритуальными ценностями и приоритетами левой касты» – замечает известный израильский литературовед д-р М. Вайскопф. «Майя никогда не была спонтанной в своих высказываниях. Ее эмоции управлялись интеллектом и всегда находились с ним в идеальном взаимодействии. Если угодно, она излучала сильное и холодное люминесцентное сияние, которое было таким же ее сущностным свойством, как замечательная красота, остроумие и чувство неколебимого самоуважения... Образ, облюбованный ею в последние полтора десятилетия, был образом израильской Кассандры, предрекающей нам стагнацию и гибель. Симптомы ее она находила повсюду, даже в собственной участи».

Почти всю свою израильскую жизнь М. Каганская прожила в маленькой квартирке на окраине Иерусалима, в месте, называемом Армон ха-Надив (оно же – Восточный Тальпиот). Она умерла в иерусалимской больнице «Хадасса» в Великую субботу 16 апреля 2011 г. после тяжелой болезни и была похоронена на Масличной горе.

"ОГЛАВЛЕНИЕ

РУССКИЙ БЕС

Ваш Чехов	8
Русский бес	21
Цветаева	43
Осип Мандельштам – поэт иудейский	72

ЗАГОВОР РАВНЫХ

Заговор равных	91
Осень патриарха	110
Платонов, Сталин и тьма	61

АПОЛОГИЯ ЖАНРА

Возвращение к себе	126
Остановка в пустыне	134
Апология жанра или рецензия на жизнь	154

СВОБОДА И СЛОВА

Встань и беги	170
Страсти по музею	175
Причастность и отщепенство	189
Далеко от Москвы	201
Свобода и слова	211

КАТАСТРОФА

Катастрофа	249
------------	-----

ПОКРОВ НАД БЕЗДНОЙ

Слово о милости и гордости	265
Поэма без героя	272
Покров над бездной	281

ЧЕРНОВИК ПРОЩАНИЯ

Смерть поэта	292
Памяти Анны	302
«Я хочу рассказать вам...»	307
Памяти «Памяти Демона»	314
<i>И. Гомель. Майя в Стране чудес</i>	324
Примечания	327
Об авторе	332